НЕВА



5·2026

Ценим прошлое.
Открываем новое

НЕВА 5
2026
ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ

Авторы журнала «Нева» — участники Великой Отечественной войны • 3

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ
Время оторванных половинок. *Повесть* • 5

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей СОЛОУХ
Еще шесть штук. *Стихи* • 81

Владимир ДЕЛБА
Оплакивание в Адзюбже. Хуапский джиппинг. *Рассказы* • 84

Евгений СТЕПАНОВ
Мы едины. *Стихи* • 100

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ
Заметки по пути. Товарищи по несчастью. Глория. Ворон. Улыбка. Протест. *Рассказы* • 104

Дмитрий ИВАНОВ
Старый друг. *Пьеса* • 111

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Александр РЫЖКОВ
Стихи • 139

Евгений КУЗНЕЦОВ
Сочинение. *Рассказ* • 145

Владимир КОЧНЕВ
Про черного кота. Первый и второй. *Рассказы* • 148

Станислав ГОЛЬДФАРБ
«Где-то в городе, над белой рекой...». *Беглые заметки об иркутском времени Юрия Левитанского* • 156

12+

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Татьяна ТИКУНОВА
Прогулка по Стрелке Васильевского острова • 174

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил КУРАЕВ
Прикольная трагедия. *Заметки свидетеля. Послесловие А. Мелихова* • 198

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

К 135-летию Михаила Булгакова
Павел РЫЖКОВ
«Очень образованный человек». *О некоторых реминисценциях в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»* • 227

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. *К 100-летию Бориса Егорова. Анатолий Собенников.* «Академик» и поэт (Б. Ф. Егоров о Б. Чичибабине). **Рецензии.** *Елена Печерская.* В жерновах истории • 236

ПИЛИГРИМ

К 800-летию со дня кончины Франциска Ассизского
Архимандрит Августин (НИКИТИН)
Святой Франциск Ассизский и Россия. *Часть 2* • 248

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Рукописи принимаются только в электронном формате по адресу nevaredaction@mail.ru
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих *(шеф-редактор гуманитарных проектов)*. **Ольга Малышкина** *(шеф-редактор молодежных проектов)*. **Наталия Ламонт** *(редактор-координатор)*. **Дмитрий Зенченко** *(контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта)*.

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2026

АВТОРЫ ЖУРНАЛА «НЕВА» – участники Великой Отечественной войны

Азаров Всеволод Борисович
(1913—1990),
военный корреспондент

Аль Даниил Натанович
(1919—2012),
участник войны

Берггольц Ольга Федоровна
(1910—1975),
житель блокадного Ленинграда

Ботвинник Семен Вульфович
(1922—2004),
военврач

Браун Николай Леопольдович
(1902—1975),
участник обороны Ленинграда

Вечтомова Елена Андреевна
(1908—1989),
военный корреспондент

Внуков Николай Андреевич
(1925—2011),
участник войны, радист

Воробьев Константин Дмитриевич
(1919—1975),
участник войны, партизан

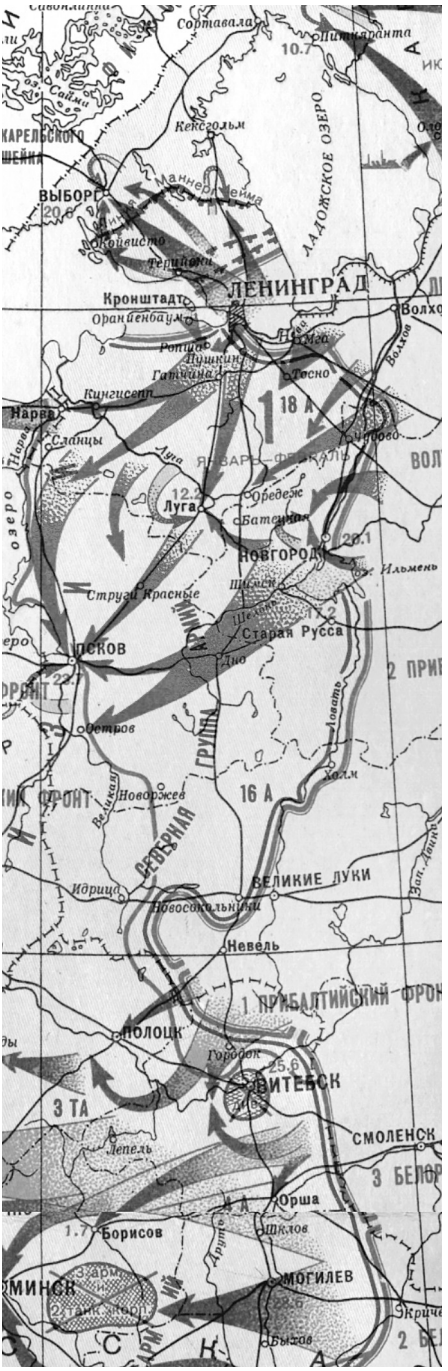
Володин Александр Моисеевич
(1919—2001),
фронтовик, связист

Герман Юрий Павлович
(1910—1967),
участник войны, военный корреспондент

Гинзбург Лидия Яковлевна
(1902—1990),
блокадный радиожурналист

Гитович Александр Ильич
(1909—1966),
фронтовик, военный корреспондент

Гоппе Герман Борисович
(1926—1999),
фронтовик



Гор Геннадий Самойлович
(1907—1981),
ополченец

Гранин Даниил Александрович
(1919—2017),
ополченец, фронтовик

Давыдов Сергей Давыдович
(1928—2001),
доброволец, фронтовик

Дудин Михаил Александрович
(1916—1993),
фронтовик, военный корреспондент

Кривцов Виктор Николаевич
(1914—1979),
фронтовик

Курочкин Виктор Алексеевич
(1925—1976),
фронтовик

Левоневский Дмитрий Александрович
(1907—1988),
участник войны

Миксон Илья Львович
(1923—1991),
участник войны

Мин Евгений Миронович
(1912—1983),
фронтовик

Минчковский Аркадий Миронович
(1916—1982),
фронтовик

Ойфа Петр Наумович
(1907—1987),
фронтовик, военный корреспондент

Пагирев Глеб Валентинович
(1914—1986),
фронтовик

Пановко Яков Михайлович
(1921—1993),
фронтовик

Петунин Павел Иванович
(1921—1987),
участник войны

Пикуль Валентин Саввич
(1928—1990),
участник войны

Погодин Радий Петрович
(1925—1993),
фронтовик

Полякова Надежда Михайловна
(1923—2007),
участник войны

Радищев Леонид Николаевич
(1904—1973),
фронтовик, военный корреспондент

Раковский Леонтий Иосифович
(1896—1979),
блокадный журналист

Рахманов Леонид Николаевич
(1908—1988),
участник войны, военный корреспондент

Семин Леонид Павлович
(1923—1980),
участник войны

Хаустов Леонид Иванович
(1920—1980),
участник войны

Цеханович Василий Петрович
(1922—2006),
фронтовик, военный корреспондент

Чепуров Анатолий Николаевич
(1922—1990),
фронтовик, военный корреспондент

Чивилихин Анатолий Тимофеевич
(1915—1957),
фронтовик, военный корреспондент

Чубакова Вера Сергеевна
(1922—1992),
участник войны

Чудакова Валентина Васильевна
(1925—1989),
участник войны

Шалимов Александр Иванович
(1917—1991),
фронтовик

Шефнер Вадим Сергеевич
(1915—2002),
участник войны, военный корреспондент

Щербаков Николай Александрович
(1903—1977),
участник войны

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ

ВРЕМЯ ОТОРВАННЫХ ПОЛОВИНОК

Повесть

1

Санитарный поезд, к которому цепляли вагоны-теплушки с эвакуированными, медленно полз на восток.

На подходе к станции паровоз надсадно выдохнул пар. Из перелеска на рельсы выбежали женщины, замахали руками, умоляя машиниста замедлить ход. В распахнутые двери теплушек они торопливо забрасывали детей, тех, кого не успели эвакуировать раньше. Крик, плач, отчаяние — все смешалось в едином вое, тонущем в отдаленной, но неумолимо приближающейся канонаде.

Самолеты с черными крестами на крыльях стали пикировать на землю. Взрывы разорвали тишину. Вечерний налет немцев был внезапным и жестоким.

Марго рухнула с верхней полки и забилась под нижнюю. Дикий страх застыл в ее глазах. Она зажала уши руками, пытаясь отгородиться от кошмара, творившегося вокруг.

Вагон трясло из стороны в сторону. А потом пришел он — удушливый запах дыма и гари, запах смерти. Гера не успела спрятаться. Обезумев от страха, она застыла посреди вагона и только в последний момент почувствовала, как кто-то заслонил ее собой.

Во время налета последний вагон, изрешеченный осколками и пулями, отбросило метров на сто от искореженных обломков основного состава.

Марго медленно оторвала руки от ушей. Тишина...

Почти такая же, как в палате ленинградского госпиталя, когда она очнулась после операции. Тогда из ее груди извлекли осколок авиабомбы — той, что разорвалась рядом, пока Марго стояла в очереди за хлебом. На соседней койке лежала девочка лет пяти-шести. Марго заметила, как малышка с любопытством разглядывает ее. Наконец, набравшись смелости, девочка, прихрамывая и опираясь на маленький деревянный костыль, перепрыгнула от своей койки к койке Марго.

— Меня зовут Октябрина! — бойко представилась непоседа и заливисто захихикала.

Анатолий Михайлович Валевский — учитель истории и обществознания в МАОУ «Лицей» в г. Усинске, Республика Коми. Учитель года Республики Коми (2025), член Союза писателей России, лауреат премии им. Ершова, финалист премии им. Маршака и премии «Дальний Восток». Печатался в журналах «Нева», «Москва», «Дружба народов», «Дальний Восток», «Петровский мост», «Арт». Автор романа «Горький вкус мандаринов».

Марго насторожилась, не понимая, что может быть смешного в больничной палате.

— Ты — королева Марго, — объяснила егоза, словно открыла великую тайну.

— Почему?

— У тебя была книга, — растолковала девочка. — Ты никак не хотела ее отдавать. Мой папа сказал, что именно она тебя спасла.

— Книга... — прошептала Марго, едва шевеля губами от слабости. В горле пересохло.

— Да! — Октябрина указала рукой на прикроватную тумбочку.

Марго с усилием повернула голову и увидела пробитую осколком книгу. Напрягая зрение, она прочитала на обложке: «Александр Дюма. Королева Марго».

— Видишь, какая толстая? — в голосе девочки звучало искреннее восхищение. — Доктор сказал, что это она не дала осколку дойти до сердца.

Шум в голове и беспрестанная болтовня девочки мешали Марго сосредоточиться. Она отчетливо помнила, что вышла из дома без «Королевы Марго». Как ни силилась вспомнить, где и при каких обстоятельствах у нее появилась книга, ничего не получалось.

Мысли текли вяло, неспешно. Марго закрыла глаза. Сознание путалось, ускользало.

— Возле меня Гера, но она не жилец, — с горечью вздохнула неугомонная Октябрина.

— Почему? — удивилась Марго.

— Не знаю, — малышка пожала плечами. — Медсестра Шура говорит, что у нее мертвые глаза.

— Давно она здесь? — поинтересовалась Марго.

— Неделю, — непринужденно ответила девочка, потом серьезно посмотрела на Марго. — У Геры во время бомбежки погибли сестренка и братишка.

Слабость после операции медленно отступала. Марго смотрела в потолок, и вдруг в памяти всплыл весь тот день, от самого рассвета.

Утренние налеты вражеской авиации были обманчивым затишьем — ад начинался ближе к полудню.

Марго проснулась от воя сирен, за которым последовали взрывы. Бежать в бомбоубежище означало почти верную гибель. Взрывы слышались все ближе, стекла в окнах звенели и дребезжали. Марго закрыла глаза и попыталась представить что-нибудь хорошее, что могло бы отвлечь от ужаса. Вспомнилась бабушка Люда, с которой она жила в этой комнате. «Страх — это всего лишь тень. Не дай ему поглотить тебя».

Марго попыталась успокоиться, дышать ровнее. Страх все еще был рядом, липкий и холодный, но она старалась оттолкнуть его.

Внезапно все стихло. Марго медленно поднялась и осторожно выглянула в окно. На улице клубилась пыль, в воздухе стоял запах гари.

Свет прожектора вырвал из темноты заклеенные крест-накрест окна. То ли бледный зимний свет, скупо пробивающийся сквозь щели, то ли причудливая игра теней, но в простом геометрическом узоре Марго вдруг увидела нечто прекрасное и строгое — словно готический витраж, рожденный войной. Она подошла ближе и провела пальцем по клейкой ленте — хрупкой преграде от бомбежек и зимы. Никогда прежде нехитрая защита не привлекала ее внимания. В памяти всплыло, как бабушка Люда, несмотря на свой возраст и слабость, с какой-то удивительной сосредоточенностью и даже торжественностью клеила эти полоски бумаги. «Мы должны верить, Риточка, — говорила она, ее голос был тихим, но твердым. — Вера — это то, что у нас никогда не отнять, — продолжала она. — Как сказано в Писании, „и свет

во тьме светит, и тьма не объяла его“». Голос бабушки звучал как молитва против надвигающейся беды.

Луч прожектора переместился, и узор на окне изменился, но готический витраж, рожденный войной, остался в сознании Марго.

Когда после налета Марго выбежала на улицу, ее охватил ужас. Чудовищный фугас обрушился на дом в Никольском переулке и, словно гигантским ножом, отсек его часть. Неподалеку от руин стояла женщина, прижимавшая к груди ребенка.

— Ваш дом?

— Владлен и мама... — прошептала женщина и зарыдала.

Со временем страх перед бомбежками притупился. Марго находила в себе силы пробираться сквозь руины, собирать щепки мебели для прожорливой буржуйки, отыскивать среди развалин хоть какую-то одежду. Декабрьская стужа сорок первого была беспощадной.

Возле дома Марго увидела бабку Мирониху из первого подъезда, лежащую на грязном снегу, укутанную в тряпье. Старуха всегда казалась немного не от мира сего. Ходили слухи, что она потеряла всю семью.

Марго подошла к ней.

— Что с вами, бабушка?

— Война — это не гром, это шепот смерти, — старуха кашлянула, и на ее потрескавшихся губах появился сгусток крови. — Война внутри нас, девонька. Она грызет кости, точит душу. Снаружи тишина, а внутри — ад кромешный.

Мирониха замолчала, тяжело дыша. Ее взгляд блуждал по заснеженному двору. Марго заметила, как дрожат ее руки, покрытые бугристыми венами.

— Я сейчас позову на помощь, — торопливо проговорила Марго.

Старуха слабо улыбнулась, обнажив беззубый рот.

— Господи... — простонала Мирониха, — спасибо, что забираешь... Только тишина... и молитва... — прошептала она, и слова ее растаяли в морозном воздухе.

Жизнь коммуналки, в которой обитала Марго, сводилась к одному: поискам пищи, борьбе за выживание, отсрочке голодного психоза, которым так любил пугать соседей Матвей Григорьевич. «Голодный человек, — вещал он, — страшнее зверя, ибо зверь сытый — уже не зверь».

Каждое утро соседи расходились «по делам», а на самом деле отправлялись в пригороды, еще не захваченные немцами, собирали картофель и овощи на полях, брошенных жителями.

Марго боялась покидать город. Соседи доверяли ей отоваривать хлебные карточки и присматривать за угасающей бабушкой Людой.

Однажды Марго возвращалась из школы и увидела разбомбленный книжный магазин. Люди входили в полуразрушенное здание, выносили охапками книги, грузили их на санки и увозили домой — на растопку. Марго вошла внутрь. На полу валялись обугленные томики Гоголя, Пушкина, Фурманова, Фадеева... На чудом уцелевшем столике возвышалась аккуратная стопка собрания сочинений Сталина, не тронутая огнем, словно символ несгораемой власти.

Ленинградское блокадное утро в их доме начиналось с тягостной, почти ритуальной неизбежности. Тетя Валя, консьержка, с обветренным лицом и взглядом, потухшим от пережитого, обходила квартиры. Двери уже давно не запирались. Стоило взвыть сиренам, как жильцы, способные передвигаться, волочили ноги на улицу, в надежде избежать участи быть погребенными под руинами.

Простуженный голос тети Вали разносился по этажу:

— Все живы?

— Живы, — отвечала за всех Марго.

С этого же вопроса начинался каждый урок в школе.

Учительница, едва держась на ногах, с поредевшим журналом в руках, начинала перекличку с тяжелым вздохом.

— Ваня Авдеев?

— Здесь, — раздался сиплый голос.

— Миша Вяткин?

Тишина.

— Миша Вяткин! — еще раз, громче, произнесла учительница и подняла глаза, надеясь увидеть ученика.

— Умер, — со всхлипом отозвалась его соседка по парте.

Учительница помолчала и продолжила перекличку. С каждым днем классы пустели. Дети гибли от бомбежек, от голода, от холода.

Первое время Марго твердила как заклинание: «Я не голодная, я не голодная, я не голодная», но с каждым днем слова ее звучали все тише и тише, превращаясь в еле слышный шепот.

Бабушка Люда, приютившая Марго, умерла в пятницу. Спустя считаные дни Марго услышала надрывный плач Варвары Ивановны из соседней комнаты и сразу поняла: пятилетней Сталины больше нет. Именно тогда Марго поймала себя на отчаянной мысли: «Я еще живая... Еще живая...»

Варвара Ивановна укутала умершую дочь в вязаную кофточку. Маленькое тельце лежало в углу комнаты. Трупы складывали прямо во дворе, как дрова, а под вечер приезжал грузовик и увозил их в крематорий кирпичного завода № 1, что на Московском шоссе.

Круг жизни для Варвары Ивановны после смерти дочери сомкнулся. Она лежала, безучастная ко всему, в пальто, на холодном полу.

Марго зашла и увидела двух крыс, шныряющих возле девочки. Она даже не попыталась их отогнать. Бесполезно. Крысы заполонили дом, чувствовали себя в нем по-хозяйски: покойники в каждой квартире — пир горой, так что на живых можно и не нападать. От большой коммуналки веяло тошнотворным запахом мертвечины.

Ожил большой четырехгранный раструб громкоговорителя напротив дома:

— Внимание, тревога! Внимание, тревога!

Второй за утро налет был неожиданным. Вдалеке слышались взрывы.

Марго приготовилась бежать в убежище в подвале соседнего дома. В прошлый раз там набилось слишком много народу, особенно детей. Они громко плакали, цеплялись за юбки матерей. Марго удивилась, увидев в толпе Клавдию Ивановну, учительницу истории, парторга школы, которая с искаженным от ужаса лицом судорожно крестилась, шепча что-то бессвязное себе под нос.

Марго — в заплатанном ватнике, бледная, с пугающей синевой под глазами — только собралась выйти из комнаты, как в дверях появилась тетя Света.

— Маргарита, — обратилась она, — мне надо на работу, просьба у меня к тебе: отведи Димочку на перевязку в поликлинику на Красной улице. Она чудом уцелела после вчерашней бомбежки.

— А тревога как же? — робко спросила Марго.

Тетя Света прислушалась к нарастающему гулу в небе и махнула рукой.

— До нас не дойдет.

Ее хладнокровие успокоительно подействовало на Марго.

— Тогда хорошо. У нас как раз сегодня отменили уроки.

— Почему? — насторожилась соседка.

— Учительницы математики и русского языка... — Марго замялась... Тетя Света поняла все без слов, по одному лишь взгляду. — Сказали, уроки у нас будут завтра.

— Ясно, — кивнула соседка, отводя глаза.

В поликлинике Марго наставляла пятилетнего Димку с ввалившимися от голода глазами и распухшими ногами: «Не надо плакать, медсестра снимет старую повязку. Стыдно плакать. Всем больно, не только тебе. Сожми кулачки и молчи».

После поликлиники Маргарита отвела Димку домой, взяла санки и пошла за водой на Неву.

По совету соседки бабы Нади воду вытапливали из снега, но чистого вокруг домов уже не осталось, везде он был грязным, черным от копоти и взрывов. Марго поставила на санки детскую ванночку, привязала ее веревкой, а чтобы не расплескалась вода, поверх бросила палки. Они плавали в посудине, как маленькие лодочки, и не давали разгуляться волнам от тряски.

Добыть воду было настоящим испытанием. Сначала нужно было наполнить ведро, а затем, преодолевая скользкий лед, подняться с ним от реки на набережную. И так раз за разом. Многие карабкались на четвереньках, цепляясь за обледеневшие камни. Этот изнурительный труд отнимал последние силы. Но и это было лишь началом. Наполненную ванну предстояло дотащить до дома. Гололедица превращала путь в муку: санки то и дело переворачивались. Хуже того, случалось, что более сильные отбирали у обессиленных горожан драгоценную ношу, отбрасывая их в сторону и увозя с собой санки с живительной водой.

В очередях за продуктами горожане томились долгими часами: ждали, когда распахнутся двери магазина, когда продавщица извлечет заветную учетную книжку и отметит карандашом выданное. Но дольше всего ждали хлеб на пайку. Можно было и не дождаться. На перевозчиков хлеба охотились. Грабежей было много. Особенно процветало детское блокадное воровство. Голодающие исхудавшие мальчишки набрасывались на женщин, вырывая заветный паек. Бросали его на грязный снег, ложились на него всем телом и ели, ели, ели, стремясь урвать как можно больше, пока не отняли.

У ослабевших отнимали последнее, вырывая вместе с продуктами, карточками и паспортами шанс обмануть голодную смерть. Блокада сорвала с людей маски, обнажив самые темные стороны душ.

Иногда в отчаянной схватке за выживание проявлялась и другая сторона человеческой натуры. Случалось, что мальчишки, обокравшие женщину, делили добычу с такими же голодными товарищами. Встречались и те, кто отдавал свой хлеб старикам или детям не в силах смотреть на их страдания.

Одна женщина в очереди запомнилась Марго — все люди либо молча коченели, переминаясь с ноги на ногу, либо перешептывались испуганно, — а эта стояла с раскрытой книгой в руках.

«Странная», — подумала Марго. Женщина словно прочла ее мысли и, болезненно улыбнувшись, обронила: так, мол, легче убить время. Марго удивилась: убивать время, погружаясь в книжные страницы... Отчим (отца Марго почти не помнила) вечно жаловался на нехватку времени, проклиная короткие сутки.

Внезапно женщине стало плохо. Она не упала, а тихо сползла на снег. Две сердобольные старушки из очереди подхватили ее, усадили на заснеженный бордюр, что-то негромко спросили и тут же отошли. «Устала, посидит, отойдет», — успокоили любопытных.

Марго стояла рядом и услышала едва различимый шепот: «Подойди...» Она приблизилась. «Возьми книгу... Там карточки... Тебе пригодятся...» Марго наклонилась, взяла книгу, и тут ее оглушил истошный вопль: «Самолеты! В укрытие!»

Марго машинально прижала книгу к груди, и в тот же миг взрывная волна швырнула ее на дорогу. В грудь словно вонзилось раскаленное шило, но боли не было. Лежа на асфальте, Марго видела, как в небе кружат самолеты, роняя черные смертоносные капли. Они неслись к земле, стремительно разрастаясь.

Кто-то, споткнувшись, рухнул на Марго, придавив ее. «Хорошо, что не на голову», — успела подумать она. Звуки вокруг становились все глуше, прерывистей, а потом растворились в тишине...

Глаза Марго открыла в больничной палате. Несколько дней ее жизнь висела на волоске, но он оказался удивительно прочным — не оборвался. Вошла медсестра. Улыбнулась устало.

— Ну, как тут наши девочки? — пропела медсестра.

— Хорошо, — отозвалась Марго.

— А вторая?

— Все так же, — ответила за нее Октябрина.

Лицо медсестры тронула тень разочарования, но она ничего не сказала, лишь тихо прикрыла за собой белую дверь.

— Это медсестра Женя, — защебетала Октябрина. — Она здесь живет. В подвале.

Марго слушала девочку, но мысли были далеко. В памяти всплыли слова отчима после похорон матери: «Я же сказал — не приходи. Это для твоей же безопасности». От болезненных воспоминаний Марго отвлек звонкий голосок Октябрины:

— Тебя с Герой и других скоро отправят на Большую землю.

— Тебя тоже на Большую землю отправят? — поинтересовалась Марго.

— Нет, — Октябрина энергично мотнула головой и похвасталась: — Я помогаю доктору. Он мой отец!

Через три недели на борту самолета командующего, улетавшего с докладом в Москву, Марго, Геру и еще четверых девочек и двоих мальчиков вывезли из блокадного Ленинграда.

Людей эвакуировали по ледяной трассе Ладоги, которую называли Дорогой жизни. Сколько людей и машин поглотило озеро — никто не считал. Дорога была страшна и мучительна, особенно для детей, изможденных голодом и страхом. Ехали стоя, тесно прижавшись друг к другу — не только чтобы вместилось больше людей, но и чтобы успеть спрыгнуть, если машина начнет проваливаться под лед во время бомбежки. Кто не успевал — уходил в ледяную воду навсегда. В больнице пересказывали жуткую историю о матери, потерявшей своих детей. Она ехала во второй машине, а в первой — ее кровиночки. И на ее глазах грузовик с детьми ушел под лед. Машина с матерью, не останавливаясь, обогнула полынью, где гибли ее дети, и помчалась дальше...

В Ленинграде люди привыкали к бесконечной череде смертей. Каждый день, каждый час умирали чьи-то сыновья, дочери, родители, друзья, знакомые. Смерть стала обыденностью.

Перед выпиской из госпиталя Марго пригласил в маленький белый кабинет хирург, оперировавший ее. В свете электрической лампы серебрился клок седых волос над его высоким лбом.

— Маргарита, — врач улыбнулся, и его глаза сощурились. Стриженые усы забавно топорщились. — У меня к тебе важная просьба. Хочу поговорить о твоей подруге.

— О какой? — насторожилась Марго.

— О той, что лежит в твоей палате.

Марго поняла, о ком речь.

— Мы не подруги.

— Надо, чтобы стали, — убежденно произнес он.

Доктор облокотился на ручку кресла.

— Моя бабушка до последнего дня держала цветы, — начал он. — Даже в преклонном возрасте ходила с лейкой, поливала настурции с бархатцами и вела с ними задушевные беседы. Зимой сидела у печки и сортировала семена, перечитывала брошюры о выращивании петуний.

— Я не люблю цветы, — произнесла Марго.

Она не понимала, чего от нее хочет доктор, но заметила, как сразу помрачнело его лицо, а глаза за стеклами очков стали непроницаемыми, без искры. Врач помолчал и продолжил:

— Ты, наверное, не знаешь, что первыми в городе умирают не от голода, а те, кто лег в постель, чтобы сохранить силы. Они хотели продлить себе жизнь, но лишь укоротили ее. Выкарабкивается тот, кто из последних сил вяжет носки, колет дрова, ежедневно таскает воду из Невы, учит наизусть стихи, — объяснял доктор. — Чтобы выжить, чтобы привыкнуть к постоянным трудностям, людям нужно внутренне мобилизоваться.

Марго внимательно слушала.

— Я все поняла, — произнесла тихо. — И постараюсь стать Гере лучшей подругой.

— Молодец. Сейчас мы все должны стать друг другу близкими. Моя покойная матушка всегда говорила: «Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая птица».

Марго не знала, что такой же разговор врач провел и с Герой: «Она горда, упряма, но душа ее жаждет тепла. Понимаешь?»

— Понимаю.

Доктор повеселел. Впервые за долгое время улыбнулась и Гера.

Москвы девчонки почти не увидели. Ночью всех эвакуированных детей подняли и на грузовике повезли на Ярославский вокзал. Посадили в последний вагон, где ехали музыканты, и поезд тронулся на восток...

Марго жалела лишь об одном — об оставленном дневнике. Она начала его вести с первых дней блокады, ощутив потребность записывать все, чему стала свидетельницей.

Дневник был не просто записями. Он был частью ее, частью пережитого, частью тех, кого она потеряла.

«Тетя Ира родила девочку. Она умерла вечером. Тетя Ира плакала от горя. Это был ее первый ребенок!»

«Вчера съели кошку Мусю. Ели и плакали».

«Тетя Лида отоварила карточки и в одиночку все съела. Соседи стыдили ее за то, что она не подумала о детях, а тетя Лида рычала и бросалась на них».

«Я украла у соседей, когда они ушли и не закрыли комнату, кусок хлебной пайки и съела. Вечером тетя Аня принесла пайку и поделилась ею со мной. Она и словом не обмолвилась, что я воровка».

Марго предчувствовала: когда она вернется в Ленинград, блокадный дневник исчезнет. И это было ее самым горьким сожалением.

...Гнетущая тишина пугала, давила пустотой. Первой пришла в себя Гера. С трудом скинула с себя чье-то тело и, увидев, чье именно, закричала. Из-под нижней полки выползла Марго. Увидев Колю, мальчика-скрипача, заикаясь, спросила:

— Он мертвый?

Девчонки хорошо запомнили Колю, им даже показалось, что они подружились. Длинный, худой мальчишка в поношенной солдатской шинели ходил по вагону и растирал свои тонкие, закоченевшие пальцы, приговаривая: «Вы не имеете права замерзнуть. Вы меня кормите».

Гера, сжалившись, отдала ему варежки, подаренные медсестрой Женей перед отправкой на Большую землю. «Возьми, — сказала та. — Пусть они тебя греют. Вязала с душой».

Музыкант обрадовался подарку. Через минуту он вернулся к девчонкам со скрипкой. Чуткий инструмент послушно отозвался на прикосновения нежным, почти человеческим шепотом, а потом скрипка запела и застонала голосом, полным боли и страдания, заставив слушателей прослезиться. В руках мальчика скрипка оживала: то засыпая, то вновь просыпаясь. Седые волосы юного музыканта притягивали взгляд. Он не ждал похвал. Удивился, когда Гера негромко произнесла:

— «Сентиментальный вальс» Петра Ильича Чайковского.

— Откуда знаешь?

— Знаю, — уклончиво ответила Гера.

Она не хотела признаваться, что училась на «отлично» в музыкальной школе на улице Некрасова, где открыли детское отделение, и что Чайковский — ее любимый композитор, и, главное, что она не раз видела скрипача в коридорах школы. Их пути не пересекались лишь потому, что учились они на разных отделениях.

— Это моя любимая мелодия, — мечтательно произнес парень. — Ее очень любил и папа. Когда он признавался маме в любви, он сыграл «Сентиментальный вальс».

Гера обратила внимание на скрипку, гриф которой венчала мужская голова. Ее она удивила потому, что похожую завитушку, только в форме женской головки, Гера видела на скрипке своего учителя. Тем же вечером она рассказала отцу о скрипке.

— Видишь ли, доченька, голос скрипке всегда дарит ее хозяин. Скрипка, как женщина, полюбит далеко не каждого. Этого надо добиваться неустанно, и только тогда она ответит взаимностью, — отец, часовых дел мастер, задумался. — Головка женщины... значит, мастер создал инструмент в память о той, что сделала его жизнь счастливее. Эту скрипку творили с большой любовью, о которой часто молчат. И только встреча с отменным музыкантом способна раскрыть таящийся в ней секрет. Такие скрипки бережно передают из поколения в поколение как самую ценную семейную реликвию.

— Какая необычная у тебя скрипка, — не удержалась Гера. — Почему у нее такой завиток?

Коля улыбнулся:

— Семейная легенда гласит, что прабабушка, заказывая скрипку, попросила мастера украсить ее изображением головы прадедушки. Так сильно она его любила!

— Романтично! — восхитилась Гера.

Коля весь вечер не отходил от девчонок: рассказывал что-то веселое, иногда брался за скрипку, вежливо спрашивая соседей, не помешает ли он им своей игрой.

Когда он ушел к себе, Марго шепнула подруге: «Красивый». Гера покраснела и промолчала.

Гера коснулась лица Коли — холодного, белого, будто окаменевшего. На нее навалился липкий, леденящий страх. Еще несколько часов назад в вагоне бурлила жизнь, звучала музыка, незнакомые люди вмиг становились родными, а теперь в каждом отсеке — убитые...

Марго опустилась на деревянную лавку напротив Геры. С минуту девчонки крепились, а потом, словно по команде, разрыдались.

— Не плачьте, я этого не люблю, — через силу произнес Коля.

Сердца девчонок забились с бешеной силой.

— Живой! — радостно крикнула Гера на весь вагон.

— Пока еще живой, — медленно поправил Коля.

От его слов Геру пробрала дрожь.

— Нас в вагоне трое, — воскликнула Марго, — ты, я и...

— Твоя странная подружка, — с трудом произнес Коля.

Марго промолчала: она еще не считала Геру подругой — скорее, попутчицей в несчастье.

Мальчик-музыкант застонал. Гера аккуратно расстегнула его старую шинель и замерла, увидев скрипку, простреленную в двух местах. Коля бережно прижимал ее к груди.

— Она тебе настолько дорога? — спросила Гера.

— Да, — Коля посмотрел в испуганные глаза девочки. — Сохрани скрипку, — попросил он. — Ее нельзя взять с собой в могилу. — По его бледному лицу потекла слеза. — Мой дед был первой скрипкой, отец был первой скрипкой, — слова давались Коле с трудом. — Я мечтал тоже стать первой скрипкой в оркестре. Скрипка не должна остаться сиротой, — глаза Коли светились неестественным блеском.

В изрешеченном пулями и осколками вагоне гулял ледяной ветер.

— Холодно... — простонал Коля.

Девчонки быстро собрали раскиданную по вагону одежду, укрыли парня.

— Скрипку надо чем-то обмотать, — забеспокоился Коля. — Если она замерзнет, то не сможет звучать так, как прежде.

— Самим бы не околеть, — пробурчала Марго, но поднялась, нашла еще какое-то тряпье и укутала драгоценный инструмент.

В кромешной тьме, в продырявленном, словно дуршлаг, вагоне теплились три жизни. Коля то и дело отключался.

— Как же холодно, — просипела Гера.

— Не замерзли в Ленинграде, не замерзнем и здесь, — разозлилась Марго. — Надо ходить по вагону, — приказала она себе и, растолкав Геру, тоже заставила ее двигаться.

— А Коля?

— Сначала самим надо согреться, потом займемся им. Главное, чтобы он не уснул.

— Почему?

— Потому что больше не проснется.

Немного согревшись, девчонки по очереди принялись дышать на лицо мальчика, растирать ему руки. Гера несколько раз украдкой погладила Колю по волосам.

— У меня там внутри, — с трудом произнес мальчик, — все хлюпает. И сердце то стучит, то не стучит. — Речь его становилась отрывистой, бессвязной. Коля на минуту-другую терял сознание, умолкал, потом снова приходил в себя и вдруг неожиданно отчетливым голосом произнес: — Девчонки, спасибо, что были рядом...

Через час Гера со страхом выдавила:

— Кажется, он не дышит...

Марго пощупала ледяную руку мальчика.

Не плакали, только Гера крепко прижалась к Марго.

— Скрипку надо сохранить, — шепнула Гера. — Он так ее любил.

— Сохраним!

Это была вторая клятва Марго. Первая — там, в больнице, когда она сказала Гере, что всегда будет с ней.

— Какая же долгая ночь! — вырвалось у Марго.

— Утро всегда медленно приходит, — согласилась Гера. — Но мы его обязательно дождемся. И пойдем искать наших, и обязательно их найдем.

— Главное, не замерзнуть до утра, но мы не замерзнем, — уверенно заявила Марго.

— Мама всегда мне говорила, что я живучая, — поддержала Гера.

Потом они провалились в сон...

Наступило утро. Марго первой открыла глаза и сразу принялась тормошить Геру.

— Ты ведь живая, — скулила она, — жива-а-я...

Гера молчала. Марго, плача, принялась растирать подруге ледяные пальцы, и та тихо застонала.

— Живая! — радостно вскрикнула Марго и услышала голоса — родные, русские.

Сил подняться не было, но их хватило, чтобы забарабанить кулачками по деревянной стенке вагона...

2

Уцелевших после налета фашистской авиации на санитарный поезд временно разместили в школе. На следующее утро детей собрали в одном из классов. За школьной партой сидела женщина. Тихим, надтреснутым голосом она сообщила, что скоро их всех отправят далеко за Урал, в детский дом, который станет для них домом до конца войны.

— Лучше скажите, когда нас домой вернут? — раздался хриплый голос парнишки, прильнувшего к запыленному окну.

— Когда война закончится, вы обязательно вернетесь домой, — твердо заверила женщина, стараясь придать словам уверенность.

— А когда она закончится? — прозвучал слабый, простуженный голосок худенькой девочки, казавшейся не старше семи лет.

В классе поднялся ропот.

— Правда, когда? — послышались требовательные выкрики из разных углов класса.

— Этого я не могу вам сказать, — повысила голос женщина.

Честный ответ ненадолго заглушил нарастающий шум, но это было обманчивое затишье.

— Я не хочу в детский дом! — К столу вышел коренастый пацан лет четырнадцати-пятнадцати. Его взгляд был упрямым, в нем читалась недетская решимость, а обветренные губы плотно сжаты. — Хочу на фронт или в партизаны.

— Мы не хотим никуда ехать! — раздалось с задних рядов. — Хотим домой!

— А дом у вас есть?

Вопрос повис в душном классе без ответа. Женщина отдышалась, почувствовав, что переломила ситуацию.

— Сейчас все выходите, а затем ко мне по одному. На каждого заведу карточку. Будете шуметь в коридоре — вызову милицию. Церемониться не буду. Внятно все объяснила?

— Сама бы представилась! — крикнул кто-то из толпы.

— Меня зовут Мария Дмитриевна Орлова.

Никелированная оправа очков придавала ее облику холодную неприступность, скрывая за стеклами усталые, но полные решимости глаза.

— У меня кошку дома звали Марусей, — робкий детский голосок пробился сквозь толпу. — Немцы ее расстреляли. Немец хотел ее погладить, а она его оцарапала. Он автомат схватил... и по ней, — мальчик с трудом переводил дыхание, словно заново переживая случившееся. — И сестренку с братишкой тоже... Они с кошкой играли рядом. А немцу не понравилось.

Класс замер в оцепенении, опустив глаза.

Орлова глубоко вздохнула и, стараясь говорить ровно, произнесла:

— Ребята, тихо выходим. Ждем в коридоре, а затем по одному заходим ко мне. Нужно заполнить формуляр на каждого.

Гера с Марго зашли в кабинет последними. Орлова сидела за щербатой партой, утонув в ворохе бумаг и клубах сигаретного дыма.

— Имя? — спросила она, положив перед собой чистый бланк.

— Марго.

— Еще скажи, что ты королева Марго.

— Именно так.

Орлова пристально посмотрела на нее.

— Обойдешься Маргаритой, — раздраженно бросила она и глубоко затянулась. — Фамилия?

— Полякова.

— Откуда?

— Из Ленинграда.

— Господи! — лицо женщины исказила гримаса боли, словно она сама прошла блокадный ад.

Орлова поднялась, сделала два шага к девчонкам и обняла их крепко-крепко, прижала к себе, как родных. Потом отстранилась, с трудом взяла себя в руки и вернулась за парту.

— Как, Марго, зовут твою... подружку? Смотрю, вы не разлей вода.

— Это не подружка, это моя сестра.

Орлова устало обвела взглядом сначала Геру, потом Марго, словно пытаясь отыскать хоть какое-то сходство. Ничего общего, но общая беда.

— Мы двоюродные сестры, — Гера пришла на выручку Марго.

— Понятно! — Орлова потянулась за сигаретой, но в последний момент передумала, с лукавой улыбкой посмотрела на Геру, словно оценивая ее находчивость. — Сестры — значит сестры. Так и запишем, только знайте, со временем все перепроверят. Поэтому, девоньки, между собой будьте сестрами, а в документах не надо мудрить, может боком выйти.

Внушение было сделано мягко и доброжелательно, так что девчонки даже смутились, словно их поймали на чем-то нехорошем.

— Да, — после короткой паузы первой сдалась Марго, признавая правоту Орловой.

— Вот и умницы. Сколько полных лет?

— Двенадцать, — ответила Марго.

— И мне двенадцать, — тихо произнесла Гера.

— Родители, родственники есть?

— Нет, — ответила за двоих Марго.

Взгляд Орловой упал на скрипку в руках Геры.

— Играешь?

— Да, но это скрипка Коли.

— Кто он? Как его фамилия?

— Мы не знаем, — Гера едва сдерживала слезы.

— Завтра всех, кто погиб в санитарном поезде, похоронят в братской могиле. Личность вашего Коли установят, это я вам обещаю, — заверила Орлова.

— Спасибо! — в один голос прошептали Марго и Гера.

На следующий день после обеда детей погрузили в старые автобусы с выбитыми стеклами.

Поезд стоял на запасных путях и ждал сигнала к отправлению. Детей пересадили в товарные вагоны, пропахшие углем. Затопили печку-буржуйку, и по холодному вагону поползло долгожданное тепло.

Ночные сумерки обняли измученную землю, тишина опустилась на нее, как благословение; даже звезды, которые до этого беспокойно мерцали, словно переговаривались между собой, теперь излучали ровный, спокойный свет, вселяя надежду на лучшее.

В полночь поезд тронулся, увозя уставших, сонных детей в глубокий тыл, подальше от грохота войны, от ужасов и страданий, в мирную жизнь, полную надежд и ожиданий.

* * *

На двадцать седьмой день добрались до Читы. В привокзальной столовой детей наскоро покормили теплой, безвкусной кашей, а затем — изнурительная тряска в жестких, дощатых кузовах по ухабистым проселкам. Наконец — глухая, неизвестная деревня!

— Приехали! — объявила Дмитриевна, и в голосе ее звучало скорее облегчение, чем радость.

Детвора посыпалась из машин, жадно вдыхая свежий деревенский воздух.

— Куда передать детей? — первым делом спросила Орлова, войдя в покосившееся здание сельсовета.

Сто семь измученных ребят, словно цыплята, сбились в кучу у порога, испуганно озираясь по сторонам.

— Никому, — равнодушно ответили Орловой.

— Как это понимать?

— Так и понимайте, — пробурчал председатель, небритый мужик в заношенном, выцветшем от времени военном кителе. — Директора детского дома пока не назначили. Сами побудете за старшую. Временно.

— Ладно, — не стала спорить Орлова, предчувствуя недоброе. — Покажите, где детдом. Дети с ног валятся. Отдохнуть бы им.

— Никакого детдома нет! — отрезал председатель.

— Как это нет?!

— Только неделю назад известили, что вы к нам едете. Не ждали вас, значит.

— Мне что, с детьми на улице перед вашим сельсоветом ночевать прикажете? — Орлова не собиралась отступать.

— Не надо на меня голос повышать, — недовольно буркнул председатель, исподлобья глядя на нежданную гостью. — Освободили мы вам пару бараков да старую конюшню. Как могли, подремонтировали.

— Как конюшню?! — голос Орловой крепчал с каждой фразой.

— Простите, дворец не успели построить, — председатель сельсовета развел руками в притворном раскаянии.

Это переполнило чашу терпения Орловой.

— Если через час дети не будут накормлены и размещены в теплом помещении, — Орлова прожигала взглядом председателя, — партийный билет на стол положишь, небритая власть!

В сельсовете повисла неприятная тишина. Никто и никогда не перечил Федоровичу, доблестному кавалеристу Гражданской войны, а тут какая-то приезжая фифа прилюдно отчитывает его!

— Только приехала и уже угрожает, — процедил председатель, сплюнув под ноги, не привыкший, чтобы ему перечили.

— Зажравшаяся тыловая сволочь! — выкрикнула Орлова, не стесняясь в выражениях. Ее слова донеслись до ребятни, прильнувшей к двери сельсовета.

Председатель побагровел. Он с трудом сдерживал гнев, однако понимал, что перегнул палку. Нельзя было так встречать детей, тем более эвакуированных. Пробилось запоздалое чувство вины.

— Ладно, чего уж там, — проворчал Федорович, смягчаясь. — Сейчас организуем. Сейчас все будет.

— Дмитриевна и в самом деле орел! — восхищенно прошептал Вовка Миненко с неподдельным уважением.

— Орлица! — подхватила Марго.

— Заметано, — согласился пацан.

* * *

Воскресенское привольно раскинулось на правом берегу реки Хилки. Дорога длинной змеей вилась от пристани к самому селу, теряясь среди покосившихся изб и сараев, лепившихся друг к другу. Заборы, кривые, косые, торчали вдоль пыльной улицы. «По одну сторону — черт, по другую — Бог», — кольнуло Орлову, когда взгляд ее зацепился за полуразрушенную церковь, маячившую на пригорке.

На самом краю села, там, где когда-то шумело хозяйство кулака Нефедова, теперь ютился колхозный двор.

Спешно сколоченные деревянные бараки, бывшая конюшня, переоборудованная под столовую, да величавые сосны, окутанные вечерними сумерками. Вдали виднелись сопки.

В холодной, пахнувшей лошадьми конюшне Орлова собрала детей.

— Это теперь наш дом, — объявила она, стараясь придать голосу твердость. — Другого у нас нет!

— Не царские палаты, — съехидничал Вовка. — Председатель не соврал.

Детвора прыснула со смеху. Орлова не удержалась и тоже рассмеялась.

— Главное, здесь нет войны, — тихо выдохнула Гера.

Ребята мгновенно смолкли.

— Ты права. Будем обживаться!

* * *

Отношения между детдомовскими и сельскими не заладились с самого начала. Вовка Миненко с пацанами без спроса отправились гулять в село. Вернулись с синяками и ссадинами, но довольные, возбужденно пересказывая подробности драки. Они и не поняли, почему Орлова обрушилась на них.

— Тоже мне, боевой котяра нашелся, приехал территорию метить! — гремела она.

Вовка вытер распухшую губу рукавом.

— Они же первые начали...

— Разрешения ты у меня спросил, прежде чем в село идти? Здесь работы невпроворот, а они сельских пугать...

— Вы еще не директриса, чтобы спрашивать, — буркнул он, обиженно насупившись.

— Тебе напомнить, кто я? — Орлова вплотную подошла к Миненко и взглянула ему прямо в глаза.

— Че я? — промямлил тот, кусая нижнюю губу и хлопая глазами.

— Голова дана для того, чтобы ею сначала думать! — Дмитриевна медленно успокаивалась.

— Гадство, — процедил сквозь зубы притихший Миненко. — Нас будут оскорблять, а сдачи дать нельзя? — Вовка искал поддержки у товарищей, но те словно воды в рот набрали.

Марго хотела вмешаться, но Гера остановила ее.

— Не лезь, мама дело говорит, — тихо произнесла она.

— Мама?! — переспросила Марго, не веря своим ушам.

— Да! Сейчас она наша мама! — Гера выдержала недоуменный взгляд подруги.

— Предупреждаю всех, — строго сказала Орлова. — В село только с моего разрешения. В школу — только со мной, после школы ждете дежурного воспитателя. Понятно всем?!

Но мир не наступил. Кто-то пустил по селу слух, будто привезли детей врагов народа и что детский дом вскоре превратят в исправительную колонию.

— Только беспризорников нам не хватало! — запричитали воскресенцы.

В субботу пацаны с Вовкой снова без спроса ушли в село. Через час в маленький кабинет Орловой, где она и жила, ворвались взъерошенные Марго и Гера.

— На речке сейчас наших будут убивать! — завопили обе.

Растрепанная Орлова побежала туда, куда показывали девочки. Успела. Выбежала на середину небольшой промерзшей речушки, где уже сходились для схватки две ватаги пацанов.

— Стойте! — хрипло крикнула Дмитриевна. Ее слова эхом разнеслись по обе стороны реки. — Что мы вам плохого сделали? — сердце ее бешено колотилось, руки дрожали. — Посмотрите на моих детей: голодные, худые, изможденные. Немцы на их глазах расстреливали родителей, сестер и братишек. Они никакие не враги. У многих родители погибли на фронте. Санитарный поезд, на котором мы ехали, разбомбили. Если вы звери — убейте нас, но первой меня! — кричала она, дрожа от холода. — Я этих детей привезла. Я в обиду их не дам!

Слова Орловой остудили сельские головы, собравшиеся устроить приезжим кровавую баню.

Вечером на подводе к детдому подъехал председатель колхоза.

— Чем можем — поможем, — коротко заверил он.

На следующий день Орлову срочно вызвали в райисполком.

— Мария Дмитриевна, мы назначаем вас директором детского дома, — сухо и отрывисто произнес мужчина в военном френче. — Молодцом, что не допустили конфликта на речке, наслышан, — продолжил председатель райисполкома уже более дружелюбным тоном. — Костяк детского дома составят ребята, которых вы привезли с собой, но дети будут еще прибывать.

Двадцать пятого апреля сорок второго года началась история Воскресенского детского дома.

* * *

Первой напастью, обрушившейся на детский дом, стал педикулез. Вши, словно оголодавшие волки, впились в детские головы, оставляя багровые следы укусов и зудящую коросту. Пожилая воспитательница Надежда Васильевна авторитетно заявила: «Лучше местной самогонки от этой беды средства не сыскать».

— Для начала нашей новой жизни вот только самогона не хватало, — отмахнулась Орлова, поморщившись от сомнительного рецепта.

— Керосин хорошо помогает, — подсказала тетя Вера из столовой.

Орлова вздохнула. Керосин звучал еще хуже.

— Не пойдет, — обдумав ситуацию, категорично заявила Орлова. Она вспомнила рассказы своей бабушки, пережившей Первую мировую, о том, как боролись с тифом в окопах: брили налысо, чтобы остановить распространение заразы. — Будем стричь всех наголо. Первой начну с себя!

— Вы-то с какого перепугу? — воскликнула Надежда Васильевна.

— Потому что я директор! Я должна быть для них примером! — уверенно произнесла Орлова.

Воцарилось молчание, прерываемое лишь тихим тиканьем часов в углу кабинета. Предложение Орловой повисло в воздухе, словно тяжелая гиря. Никто не ожидал такого радикального решения.

Дмитриевна встала из-за стола, подошла к зеркалу, висевшему в углу кабинета, и решительным движением сдернула с головы платок. Взяв со стола ножницы, она без колебаний отрезала прядь за прядью, бросая их на пол. Воспитательница ахнула, тетя Вера зашептала молитву. Через несколько минут на полу лежал ворох темных волос, а Орлова, с ежиком на голове, повернулась к своим подчиненным.

— Вот так, — сказала она, проведя рукой по голове. — А теперь за дело. И никаких возражений.

* * *

Осенью Орлова сумела выпросить на каких-то складах ватные одеяла защитного цвета. Их должны были давным-давно отправить на фронт, но что-то напутали в накладных. Время и сырость оставили на ткани предательские отметины: кое-где проступила землистая плесень.

«Мы из них такие пальто всем пошьем, сельские обзавидуются», — пообещала Орлова районному начальству. Усилиями кладовщицы тети Клавы и поварихи тети Веры, ночами корпевших на стареньких швейных машинках «Зингер», где-то раздобытых Дмитриевной, ребята получили добротные, хоть и неказистые пальто. Строчки не всегда отличались безупречной ровностью, пуговицы порою смотрели в разные стороны. Но главное — они были теплые, надежные, способные защитить от лютых морозов. Пальто берегли, латали дыры, перешивали пуговицы, передавая потом младшим.

* * *

Всех рассмешил Валька Чумов из младшей группы. Прибежал в кабинет директора и, захлебываясь слезами, лепетал о краже одеяла. На поиски подняли весь детдом, но пропажа как сквозь землю провалилась.

— Ты его подписал? — участливо расспрашивала Орлова, стараясь сохранить серьезность.

— Ага, — Валька кивнул, полный уверенности.

— И что же ты написал на бирке?

— «Мое», — гордо выпалил Чумов.

Волна хохота прокатилась по кабинету, но маленький Валька, нахмурив брови, никак не мог понять, в чем причина всеобщего веселья.

— А что я не так написал? — слезы снова навернулись на глаза. — Оно же мое!

— Твое, твое, — утешала Орлова, с трудом сдерживая улыбку.

Одеяло нашлось в сушилке. Ночная нянечка, тихонько вздыхая, повесила его туда после ночного конфуза: Валька еще не расстался с детской привычкой.

* * *

Печки в детдоме топили по строгому графику, с шести вечера, чтобы к отбою хлипкие деревянные бараки успели хоть немного прогреться.

Орлова организовала несколько мальчишеских бригад. Вовка Миненко, один из самых рослых и ответственных, стал бригадиром дровосеков.

— От тебя зависит тепло в доме, — напутствовала Орлова строго, глядя прямо в глаза. — Подбери себе надежных парней.

Вовку словно подменили. Он не ожидал, что ему доверят такой важный участок работы. Каждый день единственная колхозная подвода, выпрошенная с трудом, отправлялась под его руководством в лес на промысел. Ребята возвращались с добычей — спиленными деревьями. Другая бригада пилила бревна на чурки и колола их на поленья. Сырые дрова разгорались неохотно, капризно дымили, поэтому их смешивали с сухими.

Однажды Вовка и Пашка Кузнецов не вернулись вовремя, хотя обещали Дмитриевне быть к отбою.

Орлова испугалась. Ночь надвигалась, а детей нет. Лес — место опасное, всякое могло случиться.

Дмитриевна, не теряя ни секунды, побежала к председателю сельсовета. Тот, выслушав ее с нахмуренными бровями, тут же созвал мужиков, снарядил две лошади.

Через два часа поисковая группа нашла пропавших. На подводе, укрытый грязными тряпками, лежал Вовка. Лицо его было белым, как полотно. Оказалось, на мальчишек напал волк. Да не простой, а матерый, оголодавший от зимней бескормицы. Лошадь зверь не тронул, а Вовку схватил зубами за ногу. Еле отбились ребята, отпугнув зверя криками и палками. Подвода, конечно, нуждалась в починке, да и лошадь порядком перепугалась, но главное — парни были живы.

Весть о спасении ребят облетела Воскресенское мгновенно. Орлова, обессилевшая, но счастливая, прижимала к себе Вовку и Пашку. «Живы», — без устали твердила она. Председатель, обычно суровый и немногословный, участливо хлопал парней по плечам: «Молодцы!»

На следующий день воскресенцы добровольно привезли дрова, кто сколько мог.

Первую зиму детский дом пережил.

* * *

Случались и кражи. Воров в доме презрительно называли «крысами».

Когда со склада исчезли сахар и крупа, Орлова, побледнев от гнева, собрала всех в столовой.

— Мне тяжело говорить об этом, но среди нас завелись крысы, — в голосе директора звучали гнев и боль. — Ваши родители героически погибли или сражаются на фронтах. Не позорьте их память своими гнусными поступками. Даю вам срок — до вечера вернуть украденное на склад. Иначе... — Орлова обвела всех взглядом, в котором не было и намека на пощаду, — никого не пожалею! Сдам в милицию! — властный голос с напористыми интонациями не оставлял сомнений: ворам не место в детском доме. — Вот увидите, закончится война, и наступит мир, будет сытно и хорошо. Надо перетерпеть!

Но сахар и крупу так и не вернули.

— Мария Дмитриевна, — Вовка в сопровождении нескольких пацанов и решительной Марго вошел в кабинет директора, — не вызывайте милицию. Мы сами найдем крыс. Не надо, чтобы о нашем доме плохо думали.

— Володя, только без самосуда, — согласилась Орлова, взглянув на их серьезные лица.

Лицо Миненко недовольно вытянулось.

— Я знаю, как мы накажем крыс, — вмешалась Марго. — Дайте только слово, что не помешаете нам. Я однажды видела, как наказывали мародеров в блокадном Ленинграде, обворовавших продуктовый магазин.

Директор задумалась.

— Хорошо, — произнесла она наконец.

Через три часа в кабинет постучался Вовка с Марго.

— Мы вычислили крыс, — заявил Миненко. — Это Крылов и Ворона, — и, выйдя на минуту из кабинета, втолкнул внутрь перепуганных воришек. — Вот они...

Орлова окинула взглядом дрожащих пацанят. Крылов, обычно наглый и самоуверенный, сейчас съежился, стараясь спрятаться за спину Воронина.

— Крылов, Воронин, — голос Орловой стал жестче, — у вас есть объяснения?

— Мы очень хотели есть, — честно признался Петька Воронин, которого все звали Вороной.

— А остальные не хотят есть...

Орлова вздохнула и посмотрела на Миненко и Марго.

— Ну что, какое у вас наказание?

— Мария Дмитриевна, мы ждем вас в столовой, — нахмурившись, произнесла Марго. — Вы обещали не мешать, если мы вычислим крыс, — напомнила Марго.

Когда Орлова вместе с воришками вошла в столовую, их ждали, выстроившись вдоль стен, все воспитанники дома. Все столы, кроме одного, были сдвинуты в угол.

— Вы хотели есть, — Марго указала виновникам на место у стола, стоявшего в центре. — Мы вас накормим, — она показала на огромную кастрюлю с ячменной кашей, щедро заправленной тушенкой.

— Ешьте! — скомандовал Вовка.

— Я не хочу! — заупрямился маленький, щупленький Борька Крылов, его квадратная, коротко стриженная голова была покрыта шрамами.

— Хватит придуриваться! — Миненко повысил голос, и воришки мгновенно сникли. — Сказали вам жрать, значит, жрите! Вы же у нас самые голодные. Вот мы и решили вас накормить до отвала, чтобы навсегда отбить охоту быть крысами.

Пацанята взяли ложки и принялись за кашу. Через четверть часа Петька заскулил:

— Я больше не могу!

— Можешь! — рыкнула Марго. — Ты еще голодный, ты еще не наелся.

— Жри, крыса! — Вовка подвинул кастрюлю ближе к Петьке Воронину.

— Я больше не буду!

— И я не буду, — заплакал Борька Крылов.

Веснушки на его лице выделялись резко, словно капли разбрызганной оранжевой краски.

Марго с Вовкой пристально посмотрели на директора, молча наблюдавшую за экзекуцией.

— Достаточно с них, — произнесла она, выйдя в центр столовой. — Неприятная история. Я приняла решение: вы больше не будете воспитанниками нашего дома. Вас переведут в другой детский дом, — жестко объявила она.

— Нет! — взмолился Борька. — Не отправляйте, я не хочу уезжать из дома. Даю вам всем слово пацана, — он с надеждой посмотрел на всех. — Я больше не буду крысой!

Орлова, помедлив, спросила:

— Воронин, а ты чего молчишь?

— Потому что я такого слова дать не могу, — честно признался лопоухий мальчишка.

На минуту все опешили.

— Почему?

— Не знаю, — Петька пожал тощими плечиками. — У меня все сидят за воровство: батя, брательники. — Он почесал затылок. — Когда-нибудь сяду и я или, как мамка говорила, буду воровать, пока не прибьют.

Искренность Воронина поразила и развеселила всех в столовой.

— Ну, это ты зря, Ворона, — сказал Вовка, хлопнув того по плечу. — Воровать — не выход. Можно и по-другому жить.

— Что будем с ними делать? — обратилась к ребятам Орлова.

— Не отправляйте их, — за всех попросил Вовка. — Я их возьму в свою бригаду, может, труд их перевоспитает.

— На том и порешили, — согласилась Орлова.

* * *

Детдом курил. Где доставали табак, оставалось тайной. Запах махорки пропитывал стены, въедался в одежду. Однажды Дмитриевна застала Витьку, самого маленького и худого из всех, за курением. Он испуганно выронил окурок и заплакал. Орлова присела рядом, обняла его. Он пах табаком и несчастьем.

— Зачем ты куришь, Витя? — спросила она тихо.

Он шмыгнул носом и прошептал:

— Чтобы не так страшно было.

Орлова почувствовала, как комок подступил к горлу. Страшно. Вот что чувствовали дети. Страх, одиночество, безнадежность. И табак был их единственным спасением, иллюзией тепла и уюта. Табак — это не причина, а следствие.

Орлова пробовала бороться с пагубной детдомовской привычкой, но ее рвение пресек Миненко.

— Бросьте сами, и мы тоже бросим, — заявил он.

Орлова понимала, что этого она сделать не сможет.

— Хорошо, — смягчилась она, — курить только в строго отведенном месте. Миненко, составь сегодня мне список всех курящих. Поймаю на том, что смолите в неположенном месте, — накажу, — жестко предупредила директор. — И еще, — она обвела всех взглядом. — Малышей не приучать к этому!

Миненко кивнул головой.

* * *

Воронин не удержался и залез в лабаз одного из сельчан. Хозяин, дед Матвей, заколол вилами воришку, после чего пришел к директору: «Забери шкодника».

Приехали с разборками энкавэдэшники. Деда забрали. Петьку Воронина тихо похоронили за детским домом.

Вечером к Марии Дмитриевне с докладом о том, что все дети спят, зашла Гера, дежурная по корпусу малышей.

— Я все не нахожу себе места из-за Воронина, — поделилась директор. — Не уберегла парня, а должна была.

Гера досадливо поморщилась.

— Не горюйте, — рассудительно и спокойно произнесла она. — Трудно не украсть, когда голоден, трудно не обмануть, когда нечестен, если ты существуешь словно на сквозняке. Сейчас время такое...

— Какое? — поинтересовалась Орлова.

— В нашем подъезде на втором этаже жила одна неприятная пожилая женщина. Высокая, сухощавая, напоминающая кузнечика. Весь дом от нее страдал, катком могла проехаться по любому. Она умерла от голода. Когда вошли в ее комнату, она была пуста. Женщина все распродала, а говорили, что она из богатых. Потом выяснили, что большую часть своего пайка она относила в детский дом. Говорила моей маме, что те дети как маленькие деревья без корней, поэтому они нуждаются в том, чтобы их поливали и заботились о них. Чем больше озверели немцы, обстреливая нас, закидывая Ленинград бомбами, фугасами, тем человечнее делались люди, — голос Геры зазвенел. — Мы старались не умереть!

— Время сильных, — со значением тихо произнесла Орлова.

3

Обугленная церковь возвышалась на небольшом пригорке, который жители Воскресенска называли Ефросиньиной могилой.

Задолго до первой революции во время сильнейшей грозы молния ударила в деревянный храм. Он вспыхнул, будто облитый керосином. Крестьяне безмолвно смотрели на бушующее пламя.

Приковыляла старуха Ефросинья, что жила на самой окраине села, в покосившейся избушке. Маленькой девочкой приходила она сюда с матерью, вдыхая пьянящий аромат ладана и трепетное мерцание свечей. Здесь она крестилась, здесь венчалась, здесь отпевала мужа и детей. От матери Ефросинье передался дар знахарства. Бабы тайком, украдкой пробирались к ней, шепча о своих недугах. Она выслушивала их жалобы, а потом давала травки, корешки, отвары — и хворь отступала. Приходили и мужики, хоть и с неохотой, скрываясь от посторонних глаз. Стыдились признаться, что ищут помощи у бабки-знахарки.

Старуха ведала, какая трава в какой час дня набирает силу, какую луна питает серебром. Перед тем как сорвать листок или корень, всегда шептала слова благодарности земле-матушке и духам леса. Верила, что все живое дышит, имеет душу и требует уважения.

Не помня себя от страха, Ефросинья осенила себя крестным знамением и бросилась в объятую пламенем церковь. Когда кровля с оглушительным треском рухнула и огненный вихрь взметнулся к самому небу, двое смельчаков, презрев опасность,

вынесли из пылающего ада бездыханное тело старухи. От церкви остались обугленные остовы бревен, торчащие к небу, словно скрюченные пальцы мертвеца.

В покосившейся избушке, пропахшей травами и ладаном, Епистимья, младшая сестра, выхаживала Ефросинью: поила ее травяными отварами, прикладывала к ожогам прохладные примочки, нашептывала молитвы над ее израненным телом. Говорили, земля на месте сгоревшей церкви стала мертвой, бесплодной, и лишь на огороде Ефросиньи всегда зрел щедрый урожай, словно благословленный свыше.

В Первую мировую из Воскресенска много мужиков ушло на фронт, да вернулись единицы, искалеченные войной. Те двое, что вынесли Ефросинью из горящего ада, вернулись с георгиевскими бантами и без единой царапины, хотя, по их рассказам, побывали в таких передрягах, что уцелеть казалось немыслимым. «Ефросинья нас оберегала, — шептали бородатые мужики, крестясь. — Мы это чувствовали».

В восемнадцатом году Ефросинья померла. Ее похоронили на том самом пригорке, где когда-то стояла церковь, и с тех пор стали называть его Ефросиньиной могилой. А на могиле вырос дуб, раскинув ветви, словно в благословляющем жесте. Говорили еще, что, если прикоснуться к его шершавому стволу, можно почувствовать тепло, исходящее изнутри, словно Ефросинья обнимает тебя, защищая от надвигающихся невзгод.

В тридцать третьем году случилась засуха. Земля иссохла и потрескалась, реки обмелели до едва заметных ручейков, поля превратились в безжизненную пустыню, скот погибал от нестерпимой жажды, и смерть витала в раскаленном воздухе.

В полном отчаянии жители собрались у Ефросиньиной могилы, вознося мольбы о спасении. Особенно истово молились те двое мужиков, что когда-то вынесли Ефросинью из пламени.

— Заступница наша, не отринь! — хрипели они в один голос. — Ты нас оберегла, спаси и деревню нашу!

Небо, до этого безжалостно-голубое, вмиг потемнело, затянувшись тучами, и на измученную землю хлынул долгожданный дождь.

— Услышала нас Ефросиньюшка, — шептали воскресенцы, осеняя себя крестом.

Орлова застыла в изумлении, когда в кабинет вошла Епистимья. Привстав, она почувствовала неловкость перед старухой.

— Не надо, девонька, — проскрипела Епистимья, облаченная во все черное, будто монахиня, и, опираясь на палку, приблизилась к столу. Орлову поразил ее пристальный, немигающий взгляд, напоминающий совиный. — Деток малых, вижу, у тебя на подворье много, это хорошо. Скоро праздник, и хоть ты безбожница, но это ничего не значит, — от этих слов очки Орловой сползли по переносице, но Епистимья, не обращая внимания, продолжала говорить, словно полноправная хозяйка в этом кабинете. — Всякий видит себя изнутри, но не всякий — со стороны.

Орлова замерла в недоумении, пытаясь осмыслить услышанное.

— Гостинцы женщины приготовили детишкам. Собрали кто яичек, кто хлебушком поделился, кто молочком. Пришли-ка толкового парня мне в избу, чтобы унес.

Орлова с облегчением выдохнула. Почему-то ей казалось, что старуха сейчас обрушит на нее поток религиозных наставлений. Поблагодарив Епистимью, она пообещала немедленно прислать кого-нибудь из мальчишек.

* * *

Детвора любила рисовать, но в доме не было учителя. И вдруг из района прислали пожилого мужчину, почти дедушку — Иннокентия Павловича. Перед Орловой

стоял осколок ушедшей эпохи — благообразный старик со статной фигурой, увенчанный серебряной сединой, с умным, запоминающимся лицом и глубокими синими глазами. Даже при видимой неухоженности он изо всех сил старался держаться с достоинством.

В хаосе войны трудно сохранить себя — Дмитриевна знала это не понаслышке. Еще Орлову поразила его фраза о семье.

— Как таковой ее никогда и не было, — старик откашлялся. — Был лишь ничем не связанный коллектив, который со временем распался, — с ироничной усмешкой прокомментировал он свое семейное положение.

— Дети хотят рисовать, но у нас ничего нет для этого. Живем скудно!

Иннокентий Павлович понимающе улыбнулся одними глазами.

— Комфорт — не русское изобретение. Мне удалось привезти с собой немного красок.

Художник достал несколько своих работ. Дмитриевна изучала их с особым вниманием: пейзажи, пропитанные тихой грустью, натюрморт, дышащий теплом домашнего очага.

— Наверное, сейчас нужно рисовать более резкими линиями, такими, знаете, мужественными, — аккуратно предположила Орлова, возвращая рисунки художнику.

Старик опешил, уставившись на директора с нескрываемым изумлением.

— Мужественные линии? — переспросил он задумчиво, словно пробуя вкус незнакомого слова на языке. — Возможно. Но разве в тихой грусти нет силы? Разве тепло домашнего очага не способно согреть замерзшую душу? А история, затаенная в глазах, — разве она не достойна быть рассказанной? Мне поздно менять свой стиль. Мой мир — он другой, — тихо произнес художник, словно извиняясь за свою непохожесть. — Я не умею рисовать войну.

— Вы думаете, я мечтала стать директором детского дома и отвечать за двести десять чужих судеб? Это все война. Она приучает к такой ответственности.

Старик неодобрительно взглянул на Орлову, но промолчал.

* * *

Из оконных щелей дуло, тонкое старое одеяльце не спасало. Гера съежилась на панцирной кровати, свернувшись калачиком, подтыкав под себя куцый лоскут одеяла и обнимая руками острые коленки.

Вспомнила, как в блокадном Ленинграде с младшим братишкой собирала дрова для домашней печки-буржуйки.

— Вы с Максимкой спасаете семью от лютого холода, — голос матери звучал приглушенно, ее руки, уставшие и натруженные, ловко перебирали крупу, отмеряя скудные порции на день.

Гера помнила, как под самый Новый год совсем недалеко от дома они с братишкой нашли срубленную голубую ель. Рядом, припорошенный снегом, лежал замерзший подросток. Гера с братом приволокли ель в дом. Мать, увидев ее, обрадовалась: «Будет на Новый год полезный витаминный хвойный отвар! Как же он сейчас всем нужен, чтобы не заболеть цингой! А наш кормилец рыжий кот Васька притащил в зубах снегиря. И суп у нас будет наваристый!» — радовалась мать.

Через день елка ушла в печку, но Гера сохранила несколько голубоватых веточек, вдыхая их волшебный, новогодний аромат. В доме бережно хранился пустой флакон духов «Красная Москва». Отец, когда был жив, рассказывал, как однажды запустил часы одной странной, но элегантной даме:

— Принесла часы: дорогие, дореволюционные, знаменитой фирмы «Павел Буре». Вот это был механизм! Недели две я с ними возился, но сделал. Заплатила и спросила: «У вас есть жена, дети?» — «Да, есть. Жена, две дочки и сын». И тогда она достала из сумки красивый флакон. Это вашим дамам от меня на память. Так и сказала, — повторил отец. — Вашим дамам...

Флакончик, граненое стекло, тонкая этикетка с золотым тиснением, давно опустел, аромат выветрился, остался лишь слабый, едва уловимый отголосок былого шика, но Гера перед сном всегда бережно доставала стеклянный пузырек, открывала и жадно вдыхала. Ей казалось, что аромат никуда не исчез, просто затаился, ждет своего часа. Она со всей силой втягивала воздух, и ей чудилось, что перед ней проносится Москва — шумная, с легким цветочным облаком, витающим повсюду: на площадях и бульварах, на широких улицах и в узких переулках. Везде, где смеются люди, везде, где есть жизнь.

Пустой фигурный флакон «Красной Москвы» с крышечкой-луковкой, так похожей на купола собора Василия Блаженного, был для Геры самой большой драгоценностью, осколком мирной жизни, которую она так отчаянно пыталась удержать в памяти.

— Гера, не спишь? — шепотом спросила Марго, ворочаясь рядом и стуча зубами от пронизывающего холода.

— Нет.

— Я к тебе залезу, — тихо попросила Марго. — Вместе и теплее будет, и укроемся двумя одеялами, а не одним. Все в нашей комнате давно спят по двое.

— Давай.

Марго схватила свое одеяло, одним прыжком оказалась на кровати подруги и аккуратно постелила одно поверх другого, веря, что тепла станет больше. Они легли лицом к лицу, чтобы можно было тихонько переговариваться.

— У тебя руки — ледышки, — Марго взяла ладони подруги в свои и принялась на них дышать, пытаясь хоть немного согреть.

В дальнем углу большой комнаты во сне громко закричала девочка, соседки тут же ее одернули: «Ленка, кончай орать!», и снова воцарилась тягучая тишина, нарушаемая лишь чьим-то громким сопением.

— Я с детства мерзлячка и жуткая трусиха, — тихо призналась Гера. — Страшно, особенно когда начинались ночные бомбежки.

— Не дрожи, — мягко, с материнской заботой произнесла Марго. — Сейчас нет бомбежек. Мы далеко от войны, фашисты сюда никогда не дойдут, — после некоторого молчания продолжила: — Мы жили недалеко от Сытного рынка. Немцы его специально бомбили каждое воскресенье. Люди даже знали, во сколько прилетят стервятники.

Подружки немного согрелись.

— Нас спасали резиновые галоши. Мы с братом собирали их по пустым квартирам, их везде было много. Они плавились в буржуйке, образуя на дне толстый слой резины, — Гера замолчала, вновь проваливаясь в воспоминания. — Так и было. Собирали по квартирам книги, выдалбливали деревянный паркет, приносили остатки мебели, но все быстро прогорало, и в комнате опять становилось холодно. Маме кто-то на хлебозаводе посоветовал топить галошами. Попробовали. Первое время буржуйка сильно чадила. Мать принесла с завода глину, обмазала ею буржуйку и трубу — дыма стало значительно меньше, а потом к нему совсем привыкли, перестали замечать. — Резина медленно горела, — продолжила Гера, — долго отдавала тепло.

— Мы мерзли, — Марго крепче прижала к себе Геру. — Все, что могло гореть, сожгли. Жалко было книг...

В январе сорок второго года морозы в Ленинграде доходили до минус тридцати пяти, спали лишь в феврале — до минус двадцати. Город жил без электричества, на многих проспектах застыли брошенные троллейбусы.

— В нашем доме тоже все книги ушли в печку. Если бы не галоши, — Гера печально вздохнула, — замерзли бы.

Какое-то время девочки молчали.

— Так часто хочется плакать, — вырвалось у Геры.

Марго, чтобы утешить подругу, крепко сжала ее руку.

— Нельзя! — твердо произнесла она. — Плакать будешь, когда война закончится.

Решительный тон подруги немного успокоил Геру.

— Папа говорил, что память человека изгоняет со временем все плохое, чтобы освободить место для хорошего.

— Он правильно говорил, — Марго кивнула. — Чаще вспоминай довоенные радости. Расскажи что-нибудь о них, потому что в моей памяти для них места почти не осталось.

— Почему?

— Горевать — это непозволительная роскошь, так утверждала моя мама. Поэтому я такая выросла.

— Холодная? — аккуратно, чтобы не обидеть, уточнила Гера.

— Морозоустойчивая, — поправила Марго, негромко хихикнув.

Ей понравилось это сравнение. Гера улыбнулась, будто вспомнила что-то приятное.

— Зимой я обожала, когда папа отвозил меня на санках в садик, — поделилась довоенной радостью Гера. — Папа торопился, бежал, и часто бывало, что я вываливалась из санок. Он не сразу замечал это. А я любила лежать на снегу и смотреть на красивое звездное, предутреннее небо. Оно было таким прекрасным...

Марго слушала внимательно и вдруг резко скинула одеяла. В серой длинной майке и синих сатиновых мальчишеских трусах она залезла на подоконник, внимательно осматривая территорию.

— Вставай! — решительно скомандовала она. — Одевайся, и пошли...

— Куда? Зачем?

— Много лишних вопросов.

Через десять минут девчонки вышли во двор. Небо светлело, приобретая опаловый оттенок, воздух наполнился колючей свежестью.

Подружки свернули за угол корпуса и сразу же оказались в лесу. По узкой тропинке они спустились к речке, скованной прочным ледяным панцирем. За ними, радостно повиливая хвостом, увязался детдомовский пес Бандит, счастливо подставляя черный загривок под легкие касания Геры.

Марго с Герой присели на сколоченную кем-то деревянную скамейку. От недалеких бревенчатых сараев доносились лай собак, полусонное квохтанье кур. Легкий ветерок играл с незапертыми калитками, заставляя их жалобно скрипеть.

Склонившиеся под тяжестью снега деревья, со стволами бледными, будто сигарный пепел, устало смотрели в ледяное зеркало реки. Ветер ласково касался их ветвей, наполняя лес тихим шепотом.

— Посмотри, какие звезды, — Марго указала пальцем на алеющее небо.

— Под их сиянием уснуть бы и долго-долго не просыпаться...

Гера запрокинула голову. Где-то там, за сопкой, которую в Воскресенске прозвали Бесстыжей, занимался рассвет, солнце делилось с миром первыми робкими лучами. Гера завороженно смотрела на небо и не могла поверить, что оно может быть таким красивым, таким мирным...

— Знаешь, Марго, мне ночами снится Ленинград, — призналась Гера, и голос ее дрогнул.

— И мне. — Марго достала из кармана мальчиковых брюк папиросы. Чиркнула спичкой о коробок. Огонь не вспыхнул. Марго с досадой поняла, что закурить не получится: спички отсырели. Она сунула папиросы обратно в карман. — Нас эвакуировали, а сколько еще там осталось людей, детей... С этим трудно жить.

— Трудно, — согласилась Гера, — но нужно.

Неожиданно лицо Геры озарила улыбка.

— Ты чего? — напряглась Марго.

— Вспомнила... Однажды утром была абсолютная тишина, и в ней неожиданно раздалось: «Ку-ка-ре-ку!» Откуда в блокадном городе взялся петух, никто не мог объяснить, но его звонкое «кукареку» всех несказанно обрадовало. Значит, жизнь продолжается...

— Спасибо, — прошептала Марго, — за то, что ты рядом.

Гера в ответ лишь крепче сжала ее руку.

Подруги обнялись. Ночь и луна — сближают. Гера увидела слезы, застывшие на бледном лице Марго. Когда двое впервые вместе плачут, они понимают, насколько близки.

* * *

Илья и сам не знал, что заставило его вызваться пойти к старухе Епистимье. Быть может, она напоминала ему бабушку. Образ ее, стертый временем, всплывал в памяти лишь туманными обрывками.

В первый раз, переступив порог избы Епистимьи, Илья представился:

— Меня зовут Илья Лобов. Директор детского дома прислала к вам.

Епистимья, не мигая, вглядывалась в лицо незнакомого юнца.

— Откуда родом будешь? — глухо спросила она.

— Из Ленинграда, — ответил Илья с гордостью.

— Богохульный город, — проворчала старуха себе под нос.

— Ленинград — город Ленина, и люди там красивые.

— Чем же они красивые?

— Духом, — твердо ответил Илья.

Епистимья попросила его подойти ближе.

— Не бойся, — предупредила она, когда ее сухие, узловатые пальцы коснулись его лица, изучая каждый изгиб.

— Вы слепая, — догадался Илья.

Старуха промолчала. Долгая тишина опустилась на комнату, и в этом безмолвии обоим было как-то странно уютно.

Старший сын Епистимьи Поликарп сгинул в Гражданскую, совсем еще юный, не успев обзавестись семьей. За Васей пришли в тридцать восьмом. Забрали, и как в воду канул. Что с ним сталось, где он — мать не ведала. Ездила в район, обивала пороги, молила о весточке — отовсюду гнали, словно прокаженную. А в том доме, откуда приезжали комиссары, над ее горем лишь потешались. Упитанный майор с жующими, словно челюсти у коровы, губами пригрозил отправить ее вслед за сыном в Магадан. Назад в деревню старуха возвращалась пешком. Три дня и три ночи брела, изможденная горем. Война добила — забрала последнего, Мишутку. Похоронка пришла аккурат на большевистский праздник. Приковылял председатель,

сел на лавку, опустив голову. Ни слова не проронил, но Епистимья и так все поняла, без лишних слов.

— Ленинградцы — герои! — с юношеским пылом воскликнул Илья.

— Мученики они, — глухо отозвалась Епистимья. — Мученики...

Илья не совсем понимал значение этого слова, поэтому переспросил:

— И я что, тоже мученик? — вырвалось у него неожиданно.

Епистимья покачала головой.

— Придет время, сам поймешь, — она поднялась, неверными шагами подошла к иконам, перекрестилась истово. — Теперь иди, — приказала она. — Умаялась я...

С тех пор Илья навещал Епистимью регулярно. Помогал по хозяйству, читал ей газеты. Старуха постепенно оттаяла, стала более разговорчивой.

* * *

Орлова остановила Илью, когда тот направлялся на занятия к художнику. Глаза директора были настороженно прищурены.

— Илья, зайди ко мне после ужина. Нужно поговорить, — произнесла она тихо, но в голосе ее чувствовалась стальная нотка.

Илья кивнул, ощущая, как по спине пробегает холодок. Орлова никогда не говорила с ним таким тоном.

Вечером Илья, робея, постучал в дверь кабинета директора. Мария Дмитриевна сидела за столом, поджав губы.

— Садись, Илья, — указала на стул.

Он послушно сел, потупив взгляд.

— Что ты так часто делаешь у художника? — строго поинтересовалась директор.

Илья молчал. Он не мог открыть директору всю правду: о том, как Иннокентий Павлович учит его по-новому, совсем не так, как преподавали в ленинградской художественной школе, смешивать краски, видеть мир другими глазами; о том, как за каждой картиной скрывается целая история, которую художник рассказывает одними лишь мазками; и, главное, о том, как они вместе часами молчат, глядя в окно, и в этой тишине Илья чувствует больше тепла и понимания, чем во всех разговорах с остальными ребятами из детского дома.

— Я помогаю ему холсты натягивать, — запинаясь, начал Илья. — У него руки совсем слабые стали.

Орлова пристально наблюдала за парнем, словно пытаясь прочитать его мысли.

— Илья, я не слепая, — наконец произнесла она. — Я вижу, как ты меняешься, когда возвращаешься от Иннокентия Павловича. Глаза горят, на лице появляется улыбка. Что с тобой происходит?

За окном завывал осенний ветер, срывая последние багряные листья с голых, продрогших веток.

— Я... рисую, — признался Илья, опустив глаза. — Я давно не брал в руки кисти.

— Ты рисуешь? — директор озадаченно уставилась на Илью.

— В Ленинграде я учился в художественной школе, — тихо ответил Илья.

— И ты ни разу мне об этом не сказал? — еще больше удивилась Мария Дмитриевна.

— Вы никогда не спрашивали, — вежливо, но с еле заметной укоризной ответил Илья.

Орлова пропустила упрек мимо ушей, задумавшись.

— Почему перестал? — наконец спросила она, нарушив затянувшееся молчание.

Илья пожал плечами.

— Так война же... не до рисунков было... Я... боялся прикасаться к кистям, но Иннокентий Павлович сказал, что бояться — это нормально. Но бояться и ничего не делать — это глупо. Еще он говорит, что каждый мазок — это шаг навстречу самому себе.

Илья вспомнил, насколько первые его мазки после долгого времени были неуверенными, дрожащими, как осенний лист на ветру. Но постепенно рука обретала уверенность, а в движениях появилась забытая легкость.

* * *

Драки в доме случались редко. Славка Заварзин случайно стал свидетелем необычной сцены: хилый Вадька Кондратьев замахнулся на сильного Илью Лобова.

— Кондратьев, — усмехнулся Славка, презрительно кривя губы, — Лобов же тебя в землю вколотит, как гвоздь. Забыл правило? — отрезал Заварзин. — В доме мы руки не распускаем.

— Я просто... — Вадька попытался оправдаться, но Славка оборвал его:

— Объясняться будешь на детсовете.

Вадька съежился. Детсовет был для него хуже любой драки: там разбирали все проступки, снимали баллы за дисциплину и заставляли публично извиняться перед отрядом. Вадька ушел. На дворе смеркалось.

Славка с Ильей направились к корпусу.

— Ты что, трус? — с вызовом бросил Заварзин.

— Нет, — Илья отрицательно мотнул головой.

— Тогда почему не вмазал этому шпендику? — не унимался Славка, его голос звучал резко и неприязненно.

— Я... я не могу ударить человека, — пробормотал Илья, опустив голову, словно ожидая насмешек.

— Это как? — непонимающе нахмурился Заварзин.

— Ну, просто не могу. Рука не поднимается, — Илья пожал плечами, словно извиняясь за эту слабость.

Славка фыркнул, демонстративно закатив глаза.

— А если это будет немец?

Теперь задумался Илья. Тяжелая пауза повисла в сгущающемся сумраке, нарушаемая лишь завыванием ветра. В его молчании чувствовалась внутренняя борьба.

— Его — смогу, — в коротком ответе сквозила не мягкость, а ледяная, беспощадная решимость. — Он враг, которого надо уничтожать! — с внезапной ненавистью произнес Илья. Он сжал кулаки до побелевших костяшек. Нет, Илья не забыл. Не забыл ни одного дня, ни одной ночи, проведенных в страхе и голоде. — Я бы им там, на фронте, показал! — в его голосе зазвучала непримиримая злоба, подобная холодному блеску штыка в лунном свете.

* * *

Орлова объединила детей в разновозрастные группы. «Многие из вас потеряли родных из-за войны, но вы можете стать опорой друг для друга», — объяснила она свое решение.

И со временем дом пропитался братским духом. Малышня с гордостью тянула: «Я сейчас Васю позову, он мой старший брат!» или «Спрошу у сестры, она у нас глав-

ная по всем вопросам». Особенно остро это чувство единения проступало, когда детдомовцы сталкивались с сельскими ребятами. До драк дело доходило редко, но искры порой летели, и тогда какой-нибудь Кирюшка грозно басил, вызывая на подмогу своего названого брата.

— Да я тут всем брат! — не удержался Вовка Миненко, расплывшись в довольной улыбке.

— Быть кому-то братом, — Орлова смотрела на Миненко в упор, — это звание нужно заслужить преданностью. А она сейчас дороже золота.

— Вы сомневаетесь в моей преданности? — спросил уязвленный Вовка.

Орлова помедлила с ответом, словно искала слова, которые не ранили бы Миненко еще сильнее.

— Сейчас преданность — это не только броситься в бой за друга. Это еще и тяжелая работа над собой, Володя!

Миненко молчал, переваривая каждое слово.

— Я понял, — тихо произнес он. — Я постараюсь.

Орлова улыбнулась, и эта улыбка показалась Вовке самой искренней и теплой из всех, что он видел за последнее время.

* * *

Весна сорок третьего года запомнилась поздним вскрытием реки. Она вздулась, раздалась вширь, затопила низины, но старый дом Епистиньи лишь облизала, забирая все, что лежало на подворье, дальше не посмела.

В половодье по реке пошел молевой сплав. Председатель сельсовета сам обратился к Орловой с предложением помочь в заготовке дров на зиму.

— Дмитриевна, отправь пару молодцов с баграми на лодках, пусть бревна к берегу подгоняют.

— А можно? — с опаской спросила Орлова.

Председатель, поняв намек, лишь усмехнулся в усы.

— Да все так делают, — развел он руками.

Через несколько дней Вовка с пацанами приступили к операции «Бревно», как они, смеясь, окрестили свою затею. Работали в три смены: две на берегу вытаскивали бревна на сушу, а третья во главе с Вовкой на двух лодках, цепляя плывущие бревна самодельными баграми, направляла их к берегу.

Вовка управлялся с Иваном Петровичем на одной лодке, дядя Яша — на другой. Дело спорилось.

— Еще дня три, и будет будя, — весомо заключил дядя Яша.

Вечер выдался слякотным, но дышал теплом. Рваные клочья облаков низко ползли над рекой. Дмитриевна позвала Марго и Геру к себе в кабинет.

— Не хотите ли отнести ужин мальчишкам на реку? — предложила Орлова.

До нее давно дошли слухи о чувствах между Вовкой и Марго. Да и он сам, не таясь, признался Дмитриевне:

— Она мне нравится... очень.

— А зачем ты мне это говоришь? — удивилась Орлова.

— Не хочу, чтобы за спиной шушукались.

В отблесках вечернего света серебрился клок седых волос над высоким лбом Дмитриевны.

— Что, уже шушукаются?

— Да малышня бегает, кричит, что мы жених и невеста, — смущенно признался Вовка.

Дмитриевна ничего не сказала, лишь слегка усмехнулась.

— Так сходите? — повторила Орлова, глядя на девушек.

— Конечно, с радостью! — выпалила Марго.

Парни, трудившиеся на берегу, обрадовались девчонкам, принесшим еду.

— Надо Вовке с ребятами, что на лодках, ужин доставить, — решительно сказала Марго, взглянув на Геру. — Ты со мной или здесь подождешь?

— С тобой.

Девчонки подхватили солдатский котелок с перловой кашей и направились к мосткам, где покачивалась лодка.

— Марго! — крикнули парни с берега. — Там течение сильное!

— Справимся!

Гера прыгнула в лодку, уселась на заднюю скамейку. Марго ловким движением оттолкнулась веслом от мостков. Гера, завороженная, следила за уверенными движениями подруги.

— Где ты так научилась?

— С Вовкой по вечерам катаемся, — Марго счастливо улыбнулась.

Гера промолчала. Минут через десять Марго перестала грести, опустила весла.

— Хочешь попробовать? — спросила она у подруги.

— Устала?

— Немного есть, — призналась Марго.

— Из меня гребец никакой, — смутилась Гера.

— Тогда просто немного отдохнем.

Когда до Вовкиной лодки было рукой подать, Марго встала и крикнула:

— Парни, мы к вам с ужином!

Огромное бревно с силой ударило в борт. Марго, потеряв равновесие, упала в ледяную воду, и течение стремительно понесло ее вниз по реке. Гера вскочила, перепрыгнула на середину лодки, схватила весло, пытаясь дотянуться до подруги, но промахнулась.

— Вова! — закричала Гера. — Марго в воде!

И, не раздумывая ни секунды, сбросив обувь и старую шерстяную кофту, прыгнула в реку.

— Девчонки! — заорал Вовка. — Хватайтесь за любое бревно!

Затем скомандовал Ивану Петровичу:

— Прыгайте и держитесь за бревна и ждите! Я за девчонками, а потом к вам!

Иван Петрович понял намерение Вовки: хилый «Октябренок», двухтактный комарик, захлебнется в потугах, если потащит двоих. «Одна голова хорошо, а две — обуза», — мелькнуло в голове фронтовика. «Разумно парень решил», — и Иван Петрович спрыгнул в реку, подплыл к бревнам, вцепился в скользкую древесину. А Вовка помчался на помощь девчонкам.

Через полчаса спасательная операция завершилась. Все дрожали у костра, суша одежду. Мальчишки жадно ели, девчонки с благодарностью смотрели на Вовку.

— Герка, ты чего в воду прыгнула? Ты же плавать совсем не умеешь! — спросила Марго.

— Будто ты умеешь... — пробурчала Гера.

— Только топором, — засмеялась Марго.

— Гера — настоящая подруга, — с чувством произнес Вовка.

Из-за горизонта, словно нехотя, выползла полная луна. Федька сбегал и предупредил Дмитриевну, чтобы не волновалась: с бригадой все в порядке, скоро закончат работу и вернутся домой. О том, что случилось на реке, он не обмолвился ни словом, потому что Марго сразу предупредила всех: «Маме ни слова! Ей нервотрепки и так хватает». Все ее поддержали.

Мальчишки вернулись к бревнам, вытаскивая их на берег. Гера прислонилась к стволу дерева и смотрела на звезды. Подошла Марго, присела рядом. Долго молчала, потом взяла руки Геры в свои и, сжимая их, произнесла:

— Спасибо, сестренка.

* * *

Гера застыла, увидев Славку Заварзина со спицами в руках. Здоровый парень и вязание — сочетание немыслимое, но именно это и разбудило в ней любопытство.

— Себе вяжешь? — небрежно бросила Гера, стараясь скрыть интерес.

— Отцу, — Славка не отрывался от работы, но в голосе звучала гордость. После короткой паузы добавил: — И его фронтовым друзьям.

Гера залюбовалась сосредоточенным лицом Славки: грубо вылепленные скулы, волевой нос, упрямые надбровные дуги, короткий ежик волос. Ничего особенного, но ее взгляд словно магнитом притягивали его ловкие руки, виртуозно управляющиеся с деревянными спицами.

— Кто научил?

— Тетя Тася, ночная, — по голосу Славки чувствовалось, как он доволен собой, своим умением и, главное, тем, что скоро сможет отправить отцу и его товарищам теплые, связанные своими руками носки.

Когда отец Славки прислал ему в детский дом письмо с фронта, Заварзин долго не решался открыть сложенный треугольником листок. Вечером пришел в кабинет к Марии Дмитриевне и попросил ее прочитать письмо вслух. Отец писал, что ранен, лежит в госпитале, но скоро поправится и снова вернется в строй, чтобы гнать фрицев.

Письмо Заварзин оставил на хранение у директора, а ночью, во время дежурства у малышей, спросил у ночной воспитательницы тети Таси:

— Что полезного можно отправить отцу на фронт?

— Скоро зима, теплые носки и рукавицы бы не помешали, — охотно ответила женщина. — Я своему сыну недавно отправила.

— Я не умею вязать, — Славка сокрушенно покачал головой.

— Тю, — рассмеялась тетя Тася, озорно взглянув на парня. — Я тебя мигом научу, было бы желание.

Желание у Славки было огромное, и тетя Тася научила его быстро.

Славка, увлеченный своим занятием, не замечал, как Гера наблюдает за ним. Его пальцы ловко орудовали спицами. Мысль о том, что носки согреют отца и его товарищей, придавала сил. Славка представлял, как отец, уставший после боя, снимет старые, промокшие носки и наденет связанные сыном. Это было его маленькое, но такое важное участие в войне.

Геру осенило. Не говоря ни слова, она сорвалась с места и побежала в кабинет директора. Там как раз были Марго и Ленка Пантелеймонова.

— Мария Дмитриевна! — выпалила Гера, запыхавшись. — Я знаю, как мы можем помочь фронту!

— Как?

— Мы можем вязать носки и варежки солдатам! Зима ведь! Зима, холодно...

Мария Дмитриевна на мгновение задумалась.

— Очень толковое предложение, — похвалила она Геру. — У нас сорок девчонок, — тут же начала прикидывать Орлова. — Если каждая свяжет хотя бы по одной паре — это уже сорок пар носков и варежек. А если по пять...

— Чего по пять, давайте по десять! — оживилась Гера. — Это четыреста пар! Еще мальчишек можно привлечь...

— От них толку не будет, — категорично отмахнулась Орлова.

— Зря вы так! — разгорячилась Гера. — Славка Заварзин научился у тети Таси и вяжет носки отцу и его фронтовым друзьям.

— Что ты говоришь? — директор искренне удивилась. — Молодец!

— Твое мнение, председатель детсовета? — Орлова обратилась к Марго.

— Поддерживаю, — коротко ответила та.

* * *

Любовь как весенний цветок: распускается, опьяняя и одурманивая все вокруг.

Гера в последнее время жила в предчувствии особенного, радостного и тревожного счастья. Мир вокруг казался раскрашенным в новые, яркие цвета, а юность ощущалась как неудержимый, головокружительный полет.

4

Война спутала судьбы детей и превратила их в бесприютных скитальцев.

Гера и Марго не заметили, как Воскресенский детский дом стал для них родным. Так происходило со всеми, кто попадал в эти казенные стены.

Лучшим лекарством для израненной детской души были воспоминания.

— Войну ведь ждали, — вдруг произнесла Гера, словно сделала открытие. — Каждую весну Ленинград жил в тревоге, все чего-то ждали... Помню, отец сказал нам, когда объявили о войне: «Сейчас у народа появится острая потребность в действии». Мама тихонько всхлипывала. Она уже знала, что отец пойдет добровольцем, невзирая на инвалидность.

Марго внимательно слушала, нахмурив брови. Гера давно подметила, что подруга умеет молчать по-особенному: красиво и выразительно. Ее молчание говорило больше, чем любые слова.

— Главное, что немцы Ленинград так и не смогли взять.

— Вот именно, — с облегчением выдохнула Гера, словно сбросила тяжелый груз с плеч. — Помню, когда над городом выла воздушная тревога, я выбегала на улицу и слушала взрывы. Мне казалось, что город стонет от боли.

— Я их не боялась, — голос Марго звучал спокойно.

— А мне было страшно, — призналась Гера.

— Всем было страшно, — Марго не сдержалась и крепко выругалась.

Гера рассмеялась.

— Дмитриевна не любит, когда матерятся, — напомнила она.

— Я при ней никогда этого не делаю, — на лице Марго появилась лукавая улыбка. — Ты зачем ночью из корпуса выходишь, подруга? — спросила Марго.

Гера смутилась.

— На звезды смотреть, — созналась она. — Они дают мне силы.

— Неисправимая, — рассмеялась Марго. — Я всегда мечтала о сестре, но мама твердила одно: «Хватит с меня и тебя одной», — Марго перевела дыхание. — Я боялась, что всю жизнь буду одна.

— Теперь ты не одна.

Гера задумалась.

— Папа всегда хотел, чтобы наша семья была большой. Ему так нравилось, когда мы все вместе садились вечером за стол ужинать. Мама папу обожала. Она говорила нам, что папа — это Человек с большой буквы, так его любила. Мы спрашивали: «Мама, а ты с какой буквы?» Она смеялась и отвечала: «С маленькой». Мы никогда не спрашивали, почему она считает себя маленькой, а не большой. Для нас и так все было понятно: Папа — это Папа. Он большой. Мама — она, конечно, не маленькая, но папа все же больше. Мама рассказывала, что влюбилась в папу так, что готова была бежать за ним босиком по снегу — только позови. И он позвал. Папа говорил, что любовь очеловечивает людей.

Марго хотела улыбнуться, но улыбка не вышла.

— Завидую таким отношениям, — тихо произнесла она.

Гера пристально посмотрела в лицо подруге:

— Мне иногда кажется, что кто-то собирает все наши слезы в огромный кувшин, чтобы потом ими полить землю.

— Ничего там не вырастет, потому что слезы — это соль, — категорично заявила Марго.

— И не надо, чтобы что-то выросло, — запротестовала Гера. — Надо просто опорожнить этот кувшин.

— Чтобы в него набирались новые слезы?

— Нет, — Гера серьезно взглянула на подругу. — Его после этого нужно навечно закупорить.

— Найдутся другие кувшины, всех не закупоришь.

Марго вспомнила отчима, который обидел ее ни за что. Она расплакалась и побежала жаловаться матери, искать у нее не столько сочувствия, сколько поддержки. Мать вытерла слезы и поучительно произнесла: «Ты уже не маленькая и должна знать, что главное — держать сердце, чтобы оно всегда было зажато в кулак. Тогда оно становится маленьким, каменным, не пытается выскочить из груди — такое жуткое ощущение, если сердце вдруг заполняет всю грудь... Очень тяжело его сдерживать». Сначала Марго не умела этого делать, а потом научилась. Незаметно глотать слезы, улыбаться матери, когда грудь разрывало от рыданий, принимать спокойный вид, когда от тревоги стыла кровь.

— Я бы из слез делала звезды, — продолжила Гера, — чтобы они ярко светили всем, а когда исчезает причина печали, звезда падала, и люди на земле загадывали желание.

— Сказочница ты, — рассмеялась Марго и обняла подругу.

Гера ничего не ответила, по ее щекам потекли слезы. Это были слезы, от которых становится легко на душе: смывают всю душевную грязь, после них радостно дышать и жить.

* * *

Илья никому не рассказывал о своем прошлом. Его отец был арестован из-за того, что не смог присутствовать на похоронах С. М. Кирова, не явился на траурное мероприятие вместе с делегацией завода. Причина была не в политике: отец слег с жестоким кашлем, боялся осложнений. Он боялся ухудшения здоровья, ведь был

единственным кормильцем в семье. Опрометчивый поступок обернулся роковым доносом. И вот уже через три дня за отцом пришли, увели больного из дома.

Не делился Илья ни с кем воспоминаниями о той нищете, что навалилась на них потом, о том, как мать из последних сил пыталась свести концы с концами. Не рассказывал, как младший брат ходил в школу во вторую смену в его ботинках, набитых скомканными газетами, чтобы хоть как-то согреть ноги.

Молчание стало для Ильи щитом, единственной защитой для себя и своей семьи.

Его пристроили в поезд, когда тот застрял на некоторое время в Котласе, и все думали, что это конец пути, но эвакуационные вагоны покатили дальше на восток. Перед самым отправлением к Орловой подошел начальник вокзала.

— Забери парня с собой, — попросил он, обнажая редкие, прокуренные зубы.

— Какого парня? — удивилась та.

— Пригрел я тут парнишку. Жалко мне его стало.

— Не могу, — честно ответила Орлова. — У меня все на учете.

— Возьми через «не могу».

Встретились взгляды, и первым не выдержал начальник вокзала.

— У себя бы оставил, да вокзал — стратегический объект. Я тут почти живу, квартиру отдал беженцам. Их тут тьма, и все с детьми...

— Откуда парень? — деловито поинтересовалась Дмитриевна, и мужчина понял, что лед тронулся.

— Из какого-то ленинградского детского дома. Их так же поездом везли. На станции побежал за водой... В общем, отстал от своего состава. Пытался я его посадить на другие поезда — не берут. — Начальник набрался храбрости. — Вижу, тетка ты хоть и строгая, но добрая. Пожалей парня, возьми с собой! Парень хороший, работящий.

В его просьбе звучала такая искренняя человечность, что Орлова не смогла отказать.

— Документы у него какие-то есть? — спросила она.

— Сам он ходячий документ, — с горечью ответил начальник вокзала. — Намаялся парень страшно. Остался он в войну с матерью и двумя малолетними братьями. Младший у них умер от голода. Мать его куда только ни обращалась за помощью, везде отказ. Не выдержала, наложила на себя руки.

— Ужас! — вырвалось у Орловой. — А брат-то его где?

— Когда их грузили на баржу, одно место оставалось. Пацан и посадил младшего. Сказал, чтобы тот его ждал, что приплывет на следующей барже. Приплыл через два дня, да ту баржу с братом немцы утопили. Вот такие дела.

— Где он сейчас? — решительно спросила Дмитриевна.

— В депо с мужиками.

— Живо веди его в мой вагон — возьму парня.

Так Илья Лобов обрел дом — Воскресенский детский дом.

Илья в нерешительности стоял у кабинета директора и ждал... Ему надо было серьезно поговорить с Дмитриевной, но в кабинете шло заседание детсовета. Илья ждал, когда же оно закончится. Больше часа ждал. Наконец все ушли.

— Что ты здесь делаешь? — поинтересовалась Гера, вышедшая последней из кабинета.

— Дмитриевну жду!

— Так иди, чего ждешь!

— Не решаюсь, — признался Илья.

Геру ответ развеселил. Она распахнула дверь кабинета и крикнула:

— Мария Дмитриевна, к вам Илюха Лобов, только он стесняется!

Лобов неуверенно переступил порог и замялся. Орлова смотрела на него с участием.

— На фронт хочу, — выпалил Лобов. — За братьев хочу отомстить, за мамку. Не держите меня здесь. Попросите военкомат, дайте справку, что мне уже восемнадцать. Вас послушают. Вы авторитетная.

— Подделка документов — это уголовная статья, — сухо отрезала Орлова. — Подожди год.

— Не могу! — отчаянно ответил Илья, нахмурившись и облизав пересохшие губы. — Вдруг война закончится... Как мне тогда жить?

Директор молчала, подбирая слова, чтобы объяснить воспитаннику, как он нужен здесь, в детском доме.

— На войну невозможно опоздать, — с горечью ответила Орлова. — Она сама пришла в наши дома. Думаешь, только ты один хочешь отомстить фашистам? Думаешь, только тебя одного война коснулась? Возьми личное дело каждого — и поймешь.

— Я хочу на фронт, — упрямо твердил Илья.

Он никому не рассказывал, что мать решилась на отчаянный шаг не просто так. Она надеялась, что дети попадут в детский дом, где их накормят и не дадут умереть от голода. Она верила, что старший Илья заменит младшему отца. Так и написала в предсмертной записке: «Не осуждай, главное, чтобы вы выжили». В детский дом их определили, а потом началась эвакуация. Но Мишка погиб со всеми остальными детьми на той злополучной барже. Илья остался один.

В мирные времена Илья часто наведывался к соседу — пожилому врачу Марку Соломоновичу. Тот относился к мальчишке по-отечески, делился историями из своей врачебной практики.

— Как вам удается спасти человека во время операции? — спросил однажды Илья.

Старик улыбнулся.

— Как врач, конечно, я делаю все возможное, чтобы не дать больному умереть, но все зависит еще и от того, насколько в нем развита анатомия силы.

— Анатомия чего? — не понял Илья.

— Анатомия силы, — терпеливо повторил сосед. — Она есть у каждого: у кого-то больше, у кого-то меньше, но есть. Ее надо в себе развивать.

Илья понял, что анатомия силы — это человеческая жажда жизни. Марк Соломонович тихо угасал в своей комнате, а Илья сидел рядом и держал его за руку.

— Не умирайте, — со слезами просил мальчик. — Как же ваша анатомия силы? Не сдавайтесь!

Врач слабой рукой дотянулся до руки Ильи и из последних сил пожал ее.

— Хочешь стать врачом? — едва слышно спросил умирающий.

— Да.

Лицо старика разгладилось, словно ему сообщили радостную весть.

— Обязательно станешь хорошим врачом, — он еще раз пожал руку Илье. — Это и будет твоей анатомией силы.

— Я не хочу, чтобы вы умирали! — закричал Илья.

Старик с сожалением посмотрел на мальчика, хотел было погладить его, но не мог...

Когда на ленинградском пирсе Илья узнал о гибели брата, он разрыдался от отчаяния. Никогда прежде он не испытывал такой болезненной безнадежности, когда

горький спазм подступает к горлу и глаза застилает пелена. Анатомия его силы, казалось, иссякла.

Небо нахмурилось, рваные серые тучи клубились над головой, нагоняя тоску. Илья чувствовал, как проваливается в страшную, душную бездну.

Когда Илья очнулся, ветер гнал по небу клочья разорванных туч, а местами сияла такая голубизна, что в ней тонул взгляд. Железная стена пирса окрасилась теплым золотом, и Илья понял: всходит солнце.

При первой же возможности парня эвакуировали из Ленинграда вместе с другим детским домом. О пережитом Лобов никому не рассказывал, даже своему новому другу Славке Заварзину.

— Я хочу на фронт, — настойчиво повторил свою просьбу.

Его упорство заставило Орлову сменить тактику и перейти от уговоров к наступлению.

— Если все уйдут на фронт: ты, Миненко, Урюпин, Захаров, Пашин, Кулешов, Заварзин, с кем я останусь? Вы же здесь моя опора и сила! Кто дрова будет заготавливать, печки топить? Что, сам не видишь, сколько взрослой работы в доме?! Кто это будет делать? Девчонок или малышей в лес пошлем? — уголки губ Орловой поползли вниз.

Растерянный Илья не знал, что ответить. Он никак не ожидал такого напора от директора.

— Илья, — Дмитриевна вздохнула. — Здесь такой же фронт, только трудовой, пойми это. Я вами горжусь и всем говорю, что наш дом без вас, пацанов, не выстоял бы. Прошу тебя не как директор — как мать: перестань думать о побеге на фронт! Война еще долго будет длиться, а если и закончится, сколько дел будет после нее! И везде нужны будут рабочие руки. Мужские руки, понимаешь?

Лобов стоял и молчал. Он вспомнил маму. Она ему как-то вечером сказала, что война — это еще и проверка людей на заботу друг о друге. Что только так можно преодолеть блокаду. Хотя Илья часто видел вокруг и другое, в их доме всегда помогали друг другу, вместе радовались и горевали.

— Я вправду нужен детскому дому? — переспросил Илья.

— Очень!!!

— Хорошо.

Лицо Орловой просветлело. Она встала из-за стола и, подойдя к Илье, обняла его.

Несколько дней спустя Илья застал Славку Заварзина в слезах. Тот сидел на поваленном дереве в лесу и тихо всхлипывал.

— Ты чего? — спросил Илья, присаживаясь рядом.

— На фронт хочу, — сквозь слезы проговорил Славка. — Надоело дрова пилить, печки топить.

Илья молча обнял друга за плечи.

— Потерпи немного, Славка. Здесь тоже война. Надо помочь другим выжить.

* * *

Выставку рисунков в доме открыли накануне майских праздников.

Комната самоподготовки преобразилась в небольшую художественную галерею. Акварельные рисунки, развешанные на натянутых веревках, словно белье на ветру, делились по жанрам: портреты, натюрморты и рисунки на тему «Красная армия всех сильней».

Появление Епистиньи Орловой встревожило. Ее никто не приглашал, но Дмитриевна знала, что Илья помогает старухе: то дров наколоть, то воды принести, то забор подправить, то огород вскопать.

В центре импровизированной галереи, на скромной деревянной подставке, стояла большая картина, накрытая выцветшей серой простыней. Она-то и притягивала все взгляды.

— Разрешите представить вам, — торжественно произнес Иннокентий Павлович, — произведение моего талантливого ученика Ильи Лобова. Картина необычна, возможно, не все сразу ее поймут, — и старик сдернул простыню.

И все увидели темные, искореженные войной ленинградские дома. Безжизненная улица, усыпанная трупами, брошенные санки с ведром воды...

Первое впечатление — леденящий ужас.

Но приглядевшись, можно было заметить, что в окнах робко мерцают огоньки коптилок. Жизнь еще не умерла. Вдали виден купол Исаакиевского собора, от которого лился сияющий свет. А над ним — скорбящая Мать с воздетыми в отчаянии руками, словно молящая о милосердии.

— Что это? — растерянно спросила Орлова, обращаясь к Илье.

Она прекрасно поняла, что изобразил Лобов, и картина не вызвала бы у нее вопросов, если бы не эта женщина, скорбно взирающая на мертвый город.

— Мой город, — тихо ответил Илья.

Орлова почувствовала, как ее захлестывает раздражение.

— Я, вообще-то, поняла, что на картине Ленинград, — повысила она голос, — меня интересует, кто изображен над ним?

— Это блокадная Богоматерь, — с достоинством ответил Илья.

Орлова никому не рассказывала о том, как после долгих лет лагерей, когда ее жизнь, казалось, обрела некую стабильность, однажды она забрела в маленькую деревянную церковь. Она часто проходила мимо нее, на дверях висел амбарный замок, но в тот день дверь была приоткрыта. Она остановилась, огляделась и вошла. У алтаря стоял пожилой священник. Женщина несмело подошла к нему, поздоровалась. Батюшка добродушно отозвался.

— Вот уж удивительно, — произнес он, — разрешили попрощаться с храмом.

— Уезжаете?

Священник не сразу ответил.

— Если так можно сказать.

В голосе звучала горечь. Батюшку ждал лагерь пострашнее любого острога.

— Не боитесь? — спросила она.

Священник посмотрел на моложавую женщину.

— Устал бояться.

И, стоя у алтаря, перед ликами святых, они разговорились, словно две родственные души, нашедшие друг друга в преддверии вечной разлуки. Чем дольше длилась исповедь, тем глубже заглядывала Орлова в себя, словно в темный колодец, и ощущала тот неизбывный страх, которого не находила в глазах человека, которому предстояло взойти на Голгофу, закрыв на замок двери храма, но не закрыв свою душу.

Когда люди сильно взволнованы, они говорят удивительные вещи. Даже для самих себя.

— Батюшка, — с надрывом произнесла Орлова, — я так долго иду одна по темной дороге, что порой мне кажется, будто я окончательно заблудилась и мне уже не выйти к свету.

— Придет время, и вы найдете свой рай, — утешил священник.

— Где? Когда?

— Сестра, — он перекрестил Орлову. — Рай — это терпение души, ее сила и вера!

От этих слов к лицу Орловой прилила горячая кровь, а в глазах появился свет. Она вышла из храма словно заново рожденной, очищенной от всей грязи, что, казалось, навсегда прилипла к ней.

Она вновь ощутила вкус к жизни, ей захотелось будущего.

И сейчас, вглядываясь в картину, Орлова почувствовала всю силу обреченности и отчаяния, всю боль художника, словно свою собственную.

— Тебе удалось запечатлеть редчайшее явление, не всем великим мастерам это удавалось, — произнесла негромко.

— О чем вы говорите? — растерялся Илья.

— О душе, — тихо ответил старый художник вместо директора. — Из парня вырастет большой мастер. Я в этом кое-что понимаю.

— Это не картина, — прошептала Епистинья. Опираясь на палку, она подошла, провела рукой по полотну. — От нее исходит тепло. Это икона Богоматери-страдалицы. Сохрани ее — она убережет тебя и детский дом.

Епистинья еще раз коснулась полотна, перекрестила его и поцеловала сухими губами. Прошептала слова молитвы, но даже те, кто находился рядом, ее не услышали.

— Сохрани икону.

Орлова некоторое время стояла у картины, потом подошла к Илье, обняла его.

— Сохраню обязательно.

* * *

После четвертого урока в седьмой класс вошла завуч Антонина Васильевна. Ее строгий взгляд скользнул по притихшим ученикам. Сердце Геры невольно сжалось от непонятного волнения.

— Дети, будьте осторожны со Сталиной Никитиной, ее отец — враг народа, — отчеканила она.

— Мой отец никакой не враг народа! — захлебываясь, выкрикнула девочка.

— Нам лучше знать, — отрезала завуч. — Доблестные органы НКВД никогда не ошибаются.

Антонина Васильевна уже потянулась к дверной ручке, когда услышала голос Марго:

— Что такого сделал отец Сталины, что теперь он для всех нас враг народа?

Завуч резко обернулась, застыв в негодовании. Она готова была наброситься на Полякову, которую не особо жаловала, но вспомнила предупреждение директора школы: «Эту детдомовскую не трогать. Есть команда». — «Откуда команда?» — удивилась тогда Алдонина. «Оттуда, — старый директор показал пальцем в потолок. — Она не простая девочка». Антонина Васильевна поняла: лишние вопросы ни к чему. Есть команда — нужно выполнять.

— Ее отец украл в колхозе лошадь и продал в городе!

— Он не крал лошадь! — рыдая, отчаянно твердила Сталина.

Класс замер.

— Я тебе, Никитина, слова не давала, — оборвала завуч. — Полнейшее бесстыдство... В родном колхозе... Ума не приложу! Позор школы! — ее голос сорвался на визг. — Завтра состоится заседание пионерской дружины. Тебе, Никитина, не место среди пионеров, но твое искреннее раскаяние дружина может рассмотреть, если

откажешься открыто, принародно от такого отца, — завуч сделала многозначительную паузу. — Возможно, дружина поверит, что ты честная пионерка.

— Как отказаться? Это же мой родной отец, — девочка в отчаянии смотрела на класс, но встретила лишь испуганное молчание.

— Товарищ Сталин, — железным тоном, как на заседании парткома, отчитывала ученицу завуч, — поставил четкую задачу славным нашим органам НКВД по борьбе с воровством. Быть вором — означает быть пособником фашизма.

Алдонина торжествующе оглядела класс, считая свою воспитательную беседу блестящей. Главное — еще раз довела до всех линию партии и лично товарища Сталина.

— Совет класса со мной согласен? — завуч, хищно прищурившись, нацелила взгляд на Марго. — Полякова, — Антонина Васильевна следила за каждым движением ученицы, — выскажись, имеет ли право Никитина быть пионеркой после такого?

У Марго не раз случались стычки с завучем, и она понимала, что просто так Антонина Васильевна от нее не отвяжется. Завуч недовольно приподняла бровь, приготовившись отчитать Марго, но та ее опередила:

— Я полностью согласна с товарищем Сталиным, что воры — это пособники фашизма.

Лицо Алдониной засияло, но случилось непредвиденное: Гера вдруг разрыдалась и без разрешения выбежала из класса.

— Полякова, — завуч нахмурила брови, сделала серьезное лицо и громко произнесла: — Что это было? Объясни мне и классу.

Марго и сама растерялась от внезапного поведения подруги.

— Это эмоции, Антонина Васильевна. Гера очень эмоциональная. Все через себя пропускает.

Марго была настолько убедительна, что Алдонина ей поверила.

— Все же передайте подружке, что есть правила поведения в школе: нельзя вот так вот взять и выбежать, когда вздумается.

— Антонина Васильевна, обязательно, даю слово, — заверила Марго.

— Хорошо, — одобрительно кивнула завуч.

Она еще раз оглядела класс и, удовлетворенная, отправилась в учительскую писать докладную директору.

* * *

По воскресеньям в сельский клуб привозили кино, и Вовка долго уговаривал Дмитриевну отпустить его с Марго.

— А ребята что скажут? — Орлова, прищурив глаза, смотрела на Миненко.

— Один раз! — умолял Вовка. — Я обещал Марго!

Дмитриевна смягчилась.

— Ладно, иди, — проворчала добродушно, — только смотри мне, чтоб до темноты дома были!

Фильм ребят захватил с первых кадров. Они невольно касались головами, обмениваясь шепотом впечатлениями от особенно понравившихся сцен.

Внезапно Марго почувствовала робкое прикосновение. Она замерла, как и пальцы Вовки, сидящего рядом. Время будто остановилось. Экран мерцал, но Марго видела только размытые силуэты. Оба сделали вид, что ничего не произошло, уставившись на экран с преувеличенным вниманием.

Вовка бережно переложил пальцы Марго в свою руку, сжал их, чувствуя ее смятение.

Фильм закончился. Они вышли из клуба.

— Погуляем еще? — голос Вовки слегка дрожал от волнения.

Марго кивнула.

Расставаться не хотелось. Над ними нависло серое, беззвездное ночное небо. Они остановились, переминаясь с ноги на ногу, не зная, как начать говорить о том, что переполняло сердца.

— Отвернись, я кое-что напишу для тебя на снегу, — попросил Вовка.

Марго послушно отвернулась. Вовка поднял с земли ветку и написал на снегу несколько слов.

— Теперь можешь повернуться, — произнес он.

Марго прочитала написанное, и улыбка озарила ее лицо. Вовка схватил Марго в охапку, крепко прижал к себе. Он несмело протянул руку и коснулся ее щеки. Они взволнованно смотрели друг другу в глаза, читая в них то, о чем говорить было не нужно, то, что было важнее слов. Марго почувствовала, как земля уходит из-под ног, словно она стояла на краю пропасти. Закрыв глаза, она ощутила на своих губах прикосновение Вовкиных губ — неумелое, робкое, но от этого еще более волнующее.

Они целовались, не замечая, как с березы на них обрушилась целая снежная туча. Ее подняла серая белка, не понимая, что делают здесь эти двое.

Вовка засмеялся, и этот смех наполнил тишину ночи. А потом Вовка говорил что-то, говорил, а Марго слушала, улыбаясь, зараженная его весельем.

Счастливые, они и не заметили, как пришли к детскому дому. Долго стояли у деревянного барака, в котором жила Марго.

— Иди, — нежно смахивая снег с Вовкиных волос, улыбаясь, произнесла Марго, — а то тревогу поднимут.

— Не поднимут, — заверил Вовка.

— Все равно иди, поздно.

— Хорошо!

Марго скрылась за дверью. Вовка немного постоял и не спеша направился к себе, чувствуя, что в сердце поселилась радость, от которой хотелось летать...

* * *

Из маленького домика, где располагался кабинет директора, вышла покурить Орлова. Заметив Марго, подошла.

— Не спишь?

— Неспокойно как-то мне, — честно призналась девушка.

— С чего это вдруг?

— Не знаю, Мария Дмитриевна. Так же было, когда не стало мамы...

Орловой вдруг остро захотелось курить, но при воспитаннице она этого делать не стала. Когда детский дом был сформирован, тогда и пошли запросы в блокадный Ленинград по линии НКВД для того, чтобы на каждого ребенка завести личное дело. Пришли бумаги и на Маргариту Полякову, и Орлова знала, что случилось с ее матерью, знала, но молчала.

— Ах, Марго, — тихо проговорила Орлова, присаживаясь рядом и обнимая девочку за плечи. — Предчувствия, говоришь? — Ее голос был низким, с хрипотцой от никотина. — Сердце — то еще зеркало кривое. Оно отражает не то, что есть, а то, чего боится. — Дмитриевна пристально посмотрела на Марго. — Так чего боишься ты?

— Не знаю, но мне неспокойно, — растерянно ответила Марго.

Орлова чуть сильнее сжала ее плечо. «Не знает или не говорит?» — подумала она. Она заметила, что у детей, переживших кошмар блокады, развилась интуиция, обостренная войной.

— Марго, наш дом — это дом сирот, а у сирот жизнь редко бывает простой.

— Но это другое, — прошептала Марго, глядя в темные окна корпуса. — Как будто... как будто кто-то наблюдает за нами.

Орлова горько усмехнулась, стараясь скрыть тревогу за маской безразличия.

— Глупости. Не нагнетай, — постаралась успокоить девушку. — Ты просто нервничаешь, — директор старалась придать голосу уверенность. — Иди спать.

Вернувшись в кабинет, Орлова подошла к окну. Детский дом, окруженный голыми деревьями, казался одиноким островом в предрассветной тишине. Она вспомнила слова Марго о наблюдении. Глупости, конечно, но... что-то тревожное висело в воздухе.

Орлова достала из сейфа папку с личными делами воспитанников. Нашла дело Маргариты Поляковой. Открыла его. Всего несколько бумажек, но она понимала, почему майор госбезопасности предупредил ее: «Будьте с Поляковой осторожны. Она представляет социальную опасность, но мы ее пока не трогаем». Орлова тогда почувствовала, как холодная волна пробежала по спине.

* * *

В спальне было душно, спертый воздух давил на грудь. Славка поднялся, распахнул форточку, впуская прохладный ночной ветер, и снова прилег. На соседней кровати беспокойно заворочался пятилетний Максимка. Малыш искренне считал Славку родным братом. Он быстро привязался к Заварзину и однажды, набравшись храбрости, выпалил:

— Будешь мне братом? Больше у меня никого нет...

— Буду, — уверенно ответил Славка.

— Не бросишь меня? — переспросил Максимка, исподлобья глядя на Славку.

— Нет!

В доме такие трогательные отношения между старшими и малышами стали обычным делом. Когда Славка сдружился с Ильей, Максимка, не теряя времени, подошел к Лобову, первым протянул крохотную ладошку для приветствия и серьезно провозгласил:

— Ты тоже станешь моим братом!

Илья не возражал, тронутый детской непосредственностью. Так у Максимки появилось два брата, два защитника, которые заботились о нем с неподдельной теплотой.

— Слав, можно я к тебе? — заканючил Максимка, всхлипывая. — Мне страшно...

— Залазь, — пробормотал Славка, уступая.

Максимка юркнул под одеяло, прижался к Славке, и Заварзин почувствовал теплое дыхание названого братишки на своем плече. Он крепче прижал к себе малыша, заботливо укрыл одеялом, стараясь оградить от ночных кошмаров.

— Слав, ты меня любишь? — Максимка еще крепче прильнул к брату, ища защиты и утешения.

— Конечно, — шепотом, немного смущенно выдавил из себя Славка, чувствуя, как теплеет на сердце.

Сон как рукой сняло. В голове у Заварзина все смешалось в причудливый калейдоскоп: трепетные воспоминания о вечере с Герой и тут еще это признание Максимки...

«Наверное, — подумал Славка, — когда человеку хорошо, он способен лучше понимать других, чувствовать чужую боль, чем когда ему самому плохо». Славке стало совестно за то, что несколько дней назад, когда Максимка приставал к нему с просьбой поиграть, он грубо отмахнулся: «Отстань!» Заварзин поймал себя на мысли: как здорово, что в его жизни появился сначала верный друг Илья, потом маленький братишка Максимка, а теперь и Гера!

Славка не раз слышал, как Гера играла на скрипке проникновенную, щемящую сердце мелодию.

— «Сентиментальный вальс» Петра Ильича Чайковского. Он тебе нравится? — спросила Гера однажды, заметив его задумчивый взгляд.

— Очень, — честно признался Славка. — Словно в темной комнате вдруг включили свет, и стало спокойно и хорошо.

Гере понравился искренний ответ.

Максимка счастливо обнял Славку за шею маленькими ручонками.

— Хорошо, что вы с Ильей мои братья! — прошептал он, прижимаясь щекой к его плечу.

Максимка от радости не закрывал рта, его голос звенел волнением, и он так торопился высказать все, что у него на душе, что проглатывал слова. Славка уже засыпал, а неугомонный Максимка все что-то тихонько журчал и журчал, пока наконец не уснул, убаюканный теплом и любовью.

5

— Представляешь, у меня нет ни одной фотографии с родителями, — тихо призналась Марго, когда Гера показала ей старый снимок своей семьи.

— Это все, что у меня осталось, — прошептала Гера, и слезы навернулись на глаза. — Единственная наша семейная фотография, — голос ее дрогнул. — Я помню, как отец пришел и сказал, что в воскресенье мы нарядно оденемся и пойдем в фотоателье Буллы на Невском.

Марго внимательно рассматривала пожелтевшее от времени изображение.

— Как ты ее сохранила?

— Всегда носила с собой, — с готовностью ответила Гера. — Боялась потерять, ведь на ней — вся моя семья.

Марго вздохнула.

— У меня нет фотографий с родителями. Я нашла несколько, но на них нет отца... Оторванная половинка, — с грустью констатировала Марго.

— Кто это сделал? — с недоумением спросила Гера.

— Это неважно. Важно, что его больше нет. Мама сделала так, чтобы его не было нигде: ни в доме, ни в моей памяти, ни на фотографиях. Она хотела, чтобы я забыла.

— И ты забыла?

— Нет! — Марго пристально посмотрела на подругу. — Большинство из нас живут с оторванными половинками.

— Почему? — не унималась Гера.

Воцарилась тишина, густая, как смола.

— Потому что время такое, когда теряешь свои половинки. К этому привыкаешь. — Бабушка моя говорила, — тихо проговорила Марго, — самое страшное — осознать, что больше некого терять.

Гера крепко сжала руку Марго.

— Ты сильная.

— Возможно, — согласилась Марго и посмотрела на подругу. — Мама учила меня никогда и никому не показывать свою боль, потому что это делает человека слабым и уязвимым. Мама говорила: больно — смейся, громко, нахально, и тебя будут бояться и уважать. Многие думают, что сила в кулаке, — Марго покачала головой. — Сила в другом, — она показала пальцем на висок. — Сила здесь, и сила здесь, — Марго прижала ладонь к груди, к сердцу.

Гера улыбнулась — ее улыбка была такой искренней и подкупающей, что вызывала ответную улыбку.

* * *

Славка Заварзин гордился своим отцом, хотя тот ушел из семьи еще до войны. Партия направила Ивана Семеновича работать в далекую деревню, а мать не захотела ехать с детьми в глухомань. Старший Заварзин, несмотря на бронь, положенную ему как директору сельской школы, добровольцем ушел на фронт. Славка помнил отца смутно — широкую спину в поношенном пиджаке, запах табака и короткие, но крепкие объятия.

В газете «Правда» вышел очерк о подвиге политрука И. С. Заварзина. Он поднял свое подразделение в атаку и не позволил врагу захватить важную стратегическую позицию. За решительные и смелые действия, как сообщала газета, политрук Заварзин И. С. был награжден орденом Красной Звезды.

Славка зачитал очерк до дыр, впитывая каждое слово. В мечтах он видел себя рядом с отцом, плечом к плечу, в самом пекле битвы.

* * *

Каждый раз, когда в кабинет входил майор госбезопасности Белов, Орлову бил озноб. Их знакомство состоялось сразу после ее назначения директором. В отделе образования ее настойчиво предупредили: перед отъездом в детский дом — обязательный визит в управление НКГБ.

— Да-да, — покорно согласилась Орлова.

Управление НКГБ располагалось в сером двухэтажном здании. В кабинете номер четыре, куда робко вошла Мария Дмитриевна, плотный мужчина за письменным столом даже не удостоил ее взглядом. Она стояла, словно просительница, не зная, как себя вести. Свинцовая тяжесть разлилась по телу, когда майор наконец оторвался от бумаг и пробуравил ее взглядом. «Господи, — пронеслось в ее голове. — Они что, все на одно лицо?»

Похожий бугай пытал ее в тридцать седьмом в кабинете с прикрученным к полу столом на улице Урицкого.

— Твой брат организовал троцкистское гнездо в городе. Не смей лгать, будто ничего не знала, — и взгляд упитанного борова, в котором плескалось садистское предвкушение: сделаю с тобой все, что пожелаю. Бесконечные ночные допросы, счет которым Мария потеряла. — Все равно заговоришь! — самодовольно ухмылялся хмырь в капитанской форме.

Когда Орлову арестовали, она ждала первенца. Ему не суждено было родиться. Во время первого же допроса — сокрушительный удар в живот... и тьма. Ломали ее долго и мучительно. Потом на допрос приволокли ее любимого восьмилетнего племянника.

— В твоих руках жизнь этого малолетнего выродка.

Мальчишку начали избивать, и его отчаянный крик навсегда врезался в память:

— Тетя Мария... тетя Мария...

Она подписала все. Отреклась от всех. Ей дали десять лет. В лагере она продержалась чуть больше двух лет. Спасением стал Сандро — ее любимый Сандро. Именно его ребенка она так и не родила.

Сандро после окончания архитектурного института работал в мастерской академика Щусева, был одним из его самых талантливых учеников. В тридцать девятом году он вместе со своим учителем, возглавившим «Академпроект», на одном из рабочих совещаний представлял план строительства зданий Наркомата внутренних дел. Хотя Лаврентию Павловичу предложенный проект пришелся не по душе (он высказал множество замечаний, и в конечном итоге проект заменили на другой), Берия покровительствовал Щусеву. Алексей Викторович в приватной беседе рассказал ему историю Сандро. Великодушно просил разобраться, вникнуть. Берия выслушал и самого Сандро, земляка из Кутаиси. Эта встреча решила все. Тридцатипятилетняя Мария Орлова вышла из Дмитровлага сломленной старухой. Сандро сумел выхлопотать ей комнатку, помог с работой. Потом посоветовал выйти замуж, чтобы сменить фамилию, но главное — нашел ее любимого племянника, томившегося в спецдетдоме Иркутской области, и перевел его в Кировский детский дом.

— Ни в коем случае не усыновляй — навредишь и себе, и парнишке. Просто будь рядом с ним.

Мария переехала в Киров, устроилась воспитательницей в детский дом, где жил ее племянник. Он, конечно, узнал тетю, бросился к ней, но она его остановила: «Никто не должен знать о нашей тайне!»

— Надеюсь, вы понимаете, насколько важно сотрудничество с нами, — Белов исподлобья взглянул на посеревшее лицо Орловой и самодовольно ухмыльнулся: «Боится — уже хорошо».

Полоса света из дверного проема делила комнату на две половины, погружая ее в полумрак. Мария Дмитриевна вскинула глаза, полные решимости.

— Конечно, — она постаралась, чтобы ее голос прозвучал непринужденно.

Майор разглядывал Орлову, словно насекомое, приколотое булавкой к стеклу.

— Дети, которых вы привезли, нуждаются в тщательной проверке, — Белов продолжал буравить директора детдома взглядом, который Орлова выдержала. — Среди них могут быть элементы, представляющие социальную опасность, — майор привстал. — Мы обязаны их изолировать, чтобы перевоспитать.

— Понимаю, — коротко ответила Орлова.

Майор Белов приезжал в детский дом почти каждый месяц и уезжал, увозя с собой кого-то из воспитанников.

* * *

По понедельникам, сразу после уроков, столовая превращалась в зал политинформаций, где собирались все группы. У стенда, похожего на передовую линию фронта, ежедневно вывешивались сухие сводки Информбюро. Война, невидимая, но всепроникающая, жила в осиротевших глазах детей, в обрывках воспоминаний о мирных днях, в затаенных рассказах о родителях, ушедших на фронт. Каждое собрание было пропитано надеждой на скорую, долгожданную победу.

Когда подошла очередь Марго готовить политинформацию, она со всей ответственностью погрузилась в газетные полосы «Правды» и «Известий». Взгляд зацепился за заметку о заседании Президиума Верховного Совета СССР, принявшего ряд

указов, призванных укрепить оборону страны. Там же сообщалось о восстановлении в членстве партии товарища А. М. Воронова. Краткая биография: рабочий, пламенный участник Октябрьской революции, член Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В тридцать седьмом по доносу однопартийца Полякова Н. Г. Воронов А. М. был незаконно осужден по обвинению в зиновьевском заговоре. Но советская справедливость восторжествовала. Газета сообщала, что Поляков Н. Г. исключен из партии, его шпионская сущность разоблачена бдительными органами НКВД, и он понес заслуженное наказание.

В памяти Марго всплыл разговор с матерью, много лет назад, когда семилетняя девочка осмелилась спросить об отце.

— Ты никогда не говоришь о моем настоящем отце, — Марго, не мигая, смотрела матери в глаза. — Расскажи, я умею хранить тайны, — заверила она.

— Ты помнишь отца?

— Смутно, — призналась Марго.

— Запомни: ты — не Полякова, ты — Воронова. У тебя был очень хороший отец, но плохие люди его оболгали.

Марго навсегда запомнила слезы матери.

* * *

Бессонница преследовала Геру с ленинградских времен. В первые месяцы блокады горожане цепенели, заслышав вой немецких самолетов. Но со временем страх притупился. «Полюбите свои страхи, и они потеряют свою власть», — часто повторяла школьникам учительница математики. Ленинградцы научились по реву моторов угадывать, какие районы города окажутся под ударом и когда, стараясь обходить их стороной.

Днем же Ленинград жил вопреки всему. Дети спешили в школы, заводы не останавливали работу, даже в музеях теплилась жизнь. С рассветом изможденные вереницы людей тянулись к продовольственным магазинам, чтобы занять очередь и отоварить карточки. На рынках кипела своя лихорадочная жизнь — отчаянная попытка обменять последние ценности на крохи еды. Ленинградцы усвоили жестокий урок: жизнь — это преодоление. Сдашься — и больше не поднимешься.

Ночью город преображался, сбрасывая бремя дневной суеты. Опустевший, безмолвный, он погружался в тревожный сон, наслаждаясь тишиной и гордым, величественным одиночеством. Серебряная луна, подобно небесному стражу, поднималась над спящим городом Петра. Ее мерцающее сияние, дробясь в темных водах Невы, отражалось в потускневших окнах старых зданий и величественных дворцов, придавая сумрачному пейзажу непостижимую, трагическую красоту.

Орлова неизменно обходила корпуса детского дома после отбоя, проверяя, все ли в порядке. Гера вздрогнула от неожиданности, услышав тихий, участливый голос Дмитриевны.

— Чего не спишь?

— Ленинград вспоминаю, Мария Дмитриевна.

— Я тоже часто ночами вспоминаю наш город, — доверительно произнесла Дмитриевна, присаживаясь рядом. — Пойдем в дежурку, попьем чайку? Я тетю Наташу на час отпустила домой, к семье.

Гера с благодарностью приняла предложение. Директор давно стала для нее близким человеком.

— Как-то я стояла в очереди в магазине, и к нам подошла совсем юная девчонка в военной форме, с автоматом наперевес. — Гера посмотрела на директора. — Я еще подумала: какая она молоденькая, а уже воюет, защищает нас...

— Сама захотела на фронт?

— Нет, — Гера покачала головой. — У меня младшие были, я не могла их оставить.

— Думала как взрослая, — похвалила Орлова.

— В блокаду мы все взрослели, — спокойно произнесла Гера.

Директор понимающе кивнула.

— И вот эта девочка с автоматом, — продолжила Гера, — зашла в магазин и попросила продавщицу продать ей хлеб. Та спросила: «Талоны есть?» Девушка ответила, что талонов нет, что она с передовой по важному делу и через час возвращается назад. Продавщица ей грубо: «Вот когда будут талоны, тогда и будет хлеб!» И вдруг вся очередь как накинулась на эту продавщицу, а та отбиваться, что не положено без талонов что-то выдавать. И бабулька, которая ближе всех к продавщице стояла, протянула этой девчонке свои талоны дрожащей рукой: «Возьми, доченька. Я потерплю!» И к продавщице требовательно: «Дайте ей хлеба! Вырежьте у меня талон». И вся очередь загудела, поддержала бабушку: «Дайте ей хлеба! С нас возьмите талоны!»

— Дала продавщица той девочке хлеб?

— Да, — кивнула Гера. — Видать, стыдно ей стало.

Орлова вздохнула и медленно покачала головой.

— Война, — директор задумалась, подбирая слова, — она ведь несет не только горе и смерть, она еще проверяет людей.

— Да, — спокойно подтвердила Гера. — Война — это проверка на стойкость, на человечность, на способность сострадать.

Дмитриевна обняла Геру, чувствуя, как девчонка сейчас нуждается в материнской ласке, в простом человеческом тепле. И от осознания того, что всех не обнимешь, всех не утешишь, стало невыносимо горько на душе.

— Мария Дмитриевна, — заговорила Гера, — когда папа ушел на фронт, он попросил меня, чтобы я за него молилась. А я же не знала никаких молитв, я же атеистка, пионерка. Какие молитвы, какой Бог... А папа мне: «Доченька, молись, мне будет легче там, если я буду знать, что кто-то за меня молится, ждет меня дома».

— Молилась? — тихо спросила Орлова, зная ответ заранее.

— Да, — призналась Гера, покраснев. — Каждую ночь говорила какие-то самые простые слова... Очень простые, от сердца: чтобы папа вернулся живым, чтобы никакая пуля его не тронула. А потом стала просить за всех: за маму, чтобы вернулась с работы, за братика и сестру, чтобы голод отступил. Никто не видел, как я молилась. Я тайно, украдкой молилась, осторожно, чтобы никто не узнал. Меня, наверное, за это не возьмут в комсомол...

— Возьмут, обязательно возьмут, — успокоила Дмитриевна. — Ты просто об этом никому не говори. Поверь мне, Гера, многие вот так же, как ты, молятся за своих близких.

— И вы молитесь? — спросила Гера, заглядывая в глаза директора.

— И я, — ответила Орлова, чуть помедлив.

— Спасибо, Мария Дмитриевна, — произнесла Гера, сжав теплую руку директора.

— И тебе спасибо.

* * *

Мария Станиславовна, учительница литературы, задержала Геру после уроков, чтобы повторить стихотворение к конкурсу чтецов.

— Лермонтова нельзя выкрикивать, Гера, — голос учительницы, обычно колкий, смягчился. — Он требует тишины и... надлома, — почти прошептала она.

— Я постараюсь, — пробормотала Гера.

— Ах, как хорошо это стихотворение читал Витя Михеев, — всплеснула руками Мария Станиславовна. — Одаренный был ученик. Стихи писал. Он не должен был погибнуть под Москвой. Ему бы книги писать, мир преображать...

Чем дольше Гера слушала, тем сильнее крепла в ней уверенность, что ей никогда не достичь вершин неведомого Вити Михеева.

— А если у меня не получится? — почти неслышно спросила Гера.

Мария Станиславовна взяла похолодевшие руки ученицы в свои сухие ладони и легонько погладила.

— Получится, Гера, получится, — уверила она, вкладывая в эти слова всю свою душу. — Читай, как Генриетта Филиппова, а не как Витя Михеев. Не копируй никого. Вложи в стихи свою боль и радость, — на губах учительницы мелькнула редкая, трогательная улыбка.

Репетировали больше часа. Когда Гера вышла из класса, она подошла к окну в коридоре. Славка должен был ждать ее, они так договорились, но вместо него она увидела его и Ленку Истомину.

— Милуются, голубки, — проскрипела за спиной тетя Тоня, уборщица. — И не стыдятся... Сейчас еще и целоваться полезут.

И словно в подтверждение ее слов, Истомина обвила шею Славки руками, прильнув к нему.

Внутри у Геры все сжалось. Сердце бешено колотилось, отчаяние рвало на части. Гера впервые ощутила острую, обжигающую ревность. Это было похоже на удар под дых, лишающий воздуха и воли.

— Что, деваха отбила у тебя парня? Али любовь пришла, да не к тебе?

Гера резко обернулась, зло сверкнув глазами на тетю Тоню. Та, казалось, наслаждалась ее мукой, наблюдая за ней с каким-то нездоровым, голодным любопытством. Гера почувствовала, как к глазам подступают предательские слезы, но усилием воли сдержала их. Она гордо выпрямилась и расправила плечи. Вышла Гера из школы через другой выход.

* * *

Орлова разгневалась, когда дежурная доложила, что Миненко явился к отбою пьяным.

— Убью! — вырвалось у нее.

— Вы сейчас от него ничего не добьетесь, — глухо предупредила дежурная. — Он спит.

Орлова ощутила новый прилив гнева. Пьянство было для нее непростительным. Ее отец часто приходил домой выпившим, дебоширил и распускал руки. Испуганный взгляд матери и ее слезы Мария запомнила на всю жизнь.

— Храпит, — повторила дежурная. — Громко храпит.

«Завтра, — пронеслось в голове Орловой, — утром я ему покажу, как приходить пьяным домой...»

— Пусть спит, — бесстрастно сказала директор дежурной. — Позовите ко мне Полякову.

Через двадцать минут Марго постучалась в кабинет директора.

— У нас ЧП, — сразу заявила Орлова. — Миненко...

Марго почувствовала, как что-то внутри напряглось и оборвалось.

— Что Миненко? — еле шевеля губами, спросила она. — Что с ним?

— Пьяный он, — презрительно фыркнула Орлова.

— Уф... — облегченно вырвалось у Марго.

— Ты чего ждала?

— Думала, что с ним случилось что-то.

— Пьянство — это более чем серьезно, — возразила директор.

— Это недопустимо, — поддакнула Марго, взяв себя в руки. Главное, что с Вовкой ничего страшного не произошло. А за пьянку она его отчитает так, что мало не покажется.

— Что предлагаешь?

Марго подошла к столу, собранная и сосредоточенная, как человек, принявший важное решение.

— Рассмотреть его поведение на детсовете, чтобы ему было неповадно, — отчеканила Марго.

— Хорошо, — согласилась, немного остыв, Мария Дмитриевна. — Никак не ожидала от Миненко! — вырвалось у директора.

— С парнями такое бывает, — житейски мудро отозвалась Марго.

Орлова устало откинулась на спинку кресла. Марго была права: с парнями такое случается, хотя от Миненко она подобного не ожидала.

6

Ночная дежурная Серафима Павловна попросила Марго и Геру подменить ее на часок. Ей нужно было домой, чтобы уложить спать свою неугомонную ватагу. Девчонки, переглянувшись, согласились. Малышня, утомленная за день, крепко спала. В группе царил порядок, в печке потрескивали дрова, согревая бревенчатые стены старенького барака.

Подруги, устроившись в тесной каптерке дежурной, пили чай. Гера молчала, и Марго, заметив еще с обеда, что подруга избегает ее взгляда, почувствовала неладное.

— Что случилось? — не выдержала Марго, отставив кружку. — Выкладывай!

— Сегодня снова приезжал тот майор, — тихо проговорила Гера.

Марго нахмурилась, прекрасно зная, о ком речь.

— Расспрашивал меня о матери.

— Ты никогда не рассказывала о ней.

— Как и ты о своей.

— Сегодня говорим о твоей.

Гера замялась, не в силах выдавить из себя правду. Дело было не в страхе, а в обжигающем стыде.

— Говори, мы же сестры, — подбодрила Марго, чувствуя смятение подруги.

— Я тогда на уроке не зря сбежала, когда Алдонина позорила Сталину.

Марго нахмурилась.

— Мою маму также считают воровкой, — прошептала Гера.

Марго вытаращила глаза от изумления.

Гера снова замолчала. Марго не торопила.

— Мама работала на хлебозаводе, все в доме считали, что она там ворует хлеб, — с трудом начала Гера, запинаясь на каждом слове. — А мы голодали, как все. Мама ни разу не принесла с работы даже маленькой корочки хлеба, — взахлеб рассказывала

Гера. — Иногда, чтобы прокормить нас, детей, она приносила чуть-чуть теста в фартуке. Однажды на проходной ее поймали... и посадили в тюрьму. — Гера вновь зарыдала, не в силах остановить поток слез.

Марго, молчавшая до этого, положила руку на плечо Геры.

— Значит, твоя мама осталась одна с тремя детьми, а отец ушел на фронт? — деловито уточнила Марго, отбросив захлестнувшие ее эмоции.

Пальцы Геры судорожно комкали подол старенького платья. Она, утирая слезы грязным платком, кивнула.

— После ее ареста пришел следователь, — Гера сглотнула комок в горле. — Перевернул все в доме. Искал улики. Ничего не нашел. Только две горсти муки. Сказал, этого достаточно. «На продажу копили небось?» — ухмылялся он.

Тишина повисла в каптерке, тяжелая и давящая.

— Успокойся! — Марго вскочила с места, полная внезапной решимости. — Надо писать! — в ее голосе звучала непреклонная уверенность.

— Кому, куда? — Гера с недоумением смотрела на подругу.

— Товарищу Сталину! — уверенно заявила Марго.

Гера смотрела на Марго, как на безумную. Написать самому Сталину?

— Твоя мать не воровка. Она просто хотела прокормить семью. Надо писать, и точка!

— Что писать?

— Все, что ты мне рассказала, только в мельчайших подробностях.

— Прямо товарищу Сталину есть дело до моей мамы? — недоверчиво спросила Гера, но в сердце ее уже зажглась слабая искорка надежды.

— Не смей так говорить! — возмутилась Марго, сверкнув глазами. — Товарищу Сталину до всего есть дело, на то он и Сталин! — Она перевела дыхание и добавила более мягким тоном: — Он большой друг детей. Вот, пиши, — Марго сходила в комнату самоподготовки и протянула Гере карандаш и лист бумаги. — Пиши: «Дорогой товарищ Сталин! Пишет вам Гера...» И дальше все, как было. Не бойся, пиши от души, как будто говоришь с ним лично.

И Гера начала писать. Сначала неуверенно, корявым почерком, а потом слова полились из-под ее карандаша все быстрее и увереннее.

— А куда письмо отправлять? — спросила Гера, словно боясь, что их подслушают.

— Как куда?! — искренне удивилась Марго. — Москва, Кремль, товарищу Сталину.

— Ты уверена, что это поможет?

— Должно помочь, — твердо заверила Марго, хотя сама не была до конца уверена.

Тишина вновь окутала каптерку, нарушаемая лишь умиротворяющим потрескиванием дров в печи.

* * *

Собрание детсовета по заведенной традиции проходило после ужина в кабинете директора. Все заранее знали: будут разбирать Вовку за пьянство. Миненко в доме уважали, для многих он был авторитетом. Особенно обожала Вовку малышня. Он с ними, как с равными, играл, возился, легко находил общий язык, умел и приласкать, и пожурить по-отечески. Наблюдая за Вовкой, Орлова не удержалась и предсказала: «Вовка, из тебя получится отличный отец».

«Это потому, что я рос без отца и знаю, каково это», — ответил Миненко, исподлобья взглянув на директора. Все заметили, как дрогнуло лицо Марии Дмитриевны и глаза за стеклами очков стали вдруг непроницаемыми, будто выцветшими.

Когда Вовка явился на собрание, его еще заметно штормило. Он старался скрыть волнение, но частое моргание и виноватый взгляд на Марго выдавали стыд.

Собрание открыла председатель детсовета — Марго.

— В нашем доме произошло из ряда вон выходящее событие, грубейшее нарушение дисциплины, — начала она сухим, холодным тоном. — Владимир Миненко своим постыдным поступком опозорил честь детского дома.

Марго слушали внимательно, но многие потупили глаза. Вовка густо покраснел и нервно теребил рукав рубашки.

— Миненко, объясни нам, как ты дошел до жизни такой, — потребовала Марго.

Вовка хмуро и неловко переминался с ноги на ногу. Он впервые оказался на детсоветовском «лобном месте». Обычно он сам отчитывал и осуждал других, а когда дело коснулось его самого, растерялся. Вовка толком не мог объяснить, как угораздило. Помогал сельчанину с баней, а когда работа была закончена, тот предложил отметить. Вовка сначала отказался, но, услышав в ответ пренебрежительное: «Это не по-мужски!», сдался, потому что всегда считал себя мужиком.

Самогон мгновенно ударил в голову, а мужик знай себе подливал и подливал из пузатого бутыля. Вовка смутно помнил, о чем шла беседа. Но в какой-то момент все же нашел в себе силы подняться и решительно сказать: «Мне пора домой». Мужик уговаривал остаться, но Вовка отрезал: «Ночевать надо только дома» — и, шатаясь, побрел в сторону детского дома.

— Так получилось, — Вовка попытался придать лицу беспечное выражение. Ему до смерти не хотелось, чтобы видели его стыд. — Я не мог отказаться.

Лицо директора вытянулось от удивления.

— Это почему же не мог? — в тоне Орловой не было и намека на снисхождение.

— Потому что не выпил бы — не был бы мужиком.

— Железный аргумент! — вырвалось с едкой усмешкой у Орловой. Ее губы скривились, словно она проглотила горькое лекарство. — Значит, в нашем доме только ты один мужчина, а все остальные — кто? — ее стальной взгляд впился в Миненко.

Вовка запнулся, понял, что сморозил глупость.

— Я не это имел в виду, — начал он оправдываться, но было поздно.

— Владимир, ты подорвал мое доверие! — в гневе воскликнула директор.

Она сняла очки, судорожно поискала платочек, не нашла, снова надела очки и продолжила:

— Всегда считала, что могу на тебя положиться, но ты показал себя безответственным человеком. Предлагаю, — голос Орловой резко изменился, приобрел металлические нотки, — Миненко вывести из состава детского совета — это раз. Второе, — Орлова перевела дыхание. — Я не подпишу тебе рекомендацию для вступления в комсомол. Алкоголику не место в комсомоле, — этот приговор прозвучал как взрыв.

Никто не ожидал, что Вовку накажут так сурово. Отчитают, конечно, но вывести из совета и зарубить мечту о комсомоле — это уже перебор.

Все молчали, надеясь, что Мария Дмитриевна смягчится и сменит гнев на милость.

— Допрыгался, — холодно прокомментировала решение директора Марго, глядя на поникшего Вовку.

— Тогда я сбегу на фронт! — с вызовом бросил Вовка.

— Я тебе такой фронт устрою! — взорвалась Орлова. — Не забудь в военкомате рассказать о своей пьянке! — выпалила она в сердцах, но уже чувствовалось, что она медленно успокаивается. — Голосуем. Кто за то, чтобы Владимира Миненко вывести из состава детского совета?

Орлова подняла голову и пристально наблюдала за членами детсовета. От ее наметанного взгляда не укрылась их нерешительность.

— Мария Дмитриевна, — поднялся Валерка Чижов. За небольшой росточек его все нежно звали Чижиком. Он не обижался. — Я считаю, что Вовка заслужил наказание, но я против, чтобы его исключали из детсовета. Он — душа нашего совета.

— Душа, говоришь, — недовольно фыркнула директор. — Эта душа всех вас подвела.

— Мы возьмем его на поруки, — вмешалась Марго.

— Мы — это кто?

Марго старалась говорить твердо:

— Конкретно — я!

— Хорошо подумала?

— Хорошо! — сдержанно ответила Марго.

— Что скажут другие? — директор обратилась к притихшему детсовету.

— Я за предложение Марго, — поднялся Славка Заварзин. — Вовку нельзя исключать из детсовета. Если мы — коллектив, то должны помочь другу, который оступился. Вовка — хороший парень, — заключил Славка.

Орлова не ожидала, что Заварзин вступится за Миненко. Парни не особо ладили, об этом знали все.

Поднялась Гера. Марго с тревогой посмотрела на подругу.

— Володя поступил неправильно, но я уверена, что ему стыдно за свой поступок. Ему нужно дать возможность доказать, что он может исправиться. И я тоже против исключения Миненко из детского совета. Он нам нужен.

— Гера права, — поддержала выступление Катя Иволгина. — Оступиться может каждый. Если мы коллектив, то должны помочь Володе.

— Так что предлагаете? — Орлова с интересом наблюдала за тем, как детсовет старается спасти Миненко.

В кабинете облегченно вздохнули, почувствовав по голосу директора, что она смягчилась.

— Месяц работы в колхозном коровнике, — бескомпромиссно предложила Марго.

Орлова договорилась с председателем колхоза, что старшие воспитанники будут помогать убирать в коровнике, а за это детдом будет получать молоко для малышей. Работа в коровнике была грязной и тяжелой, дежурили там по очереди.

— Все согласны? — строго спросила директор.

— Да, — послышались голоса.

— Тогда голосуем, — предложила директор. — И месяц Миненко не участвует в работе детсовета, — добавила она.

Проголосовали единогласно.

Ночью, работая с бумагами, Орлова прокрутила в голове прошедшее заседание и осталась им довольна. Ей понравилось, что детсовет не пошел слепо на поводу у нее, что отстаивали товарища, как могли, и — главное — смогли.

Вечером Вовка все же уговорил Марго выйти на крыльцо корпуса. Они долго молчали, Миненко не знал, что сказать любимой девушке.

— Вовка, еще раз появишься пьяный... — Марго запнулась. Ей не хотелось говорить, что она разлюбит его, потому что знала: не разлюбит. Но и мириться с пьянством не собиралась. — Перестану с тобой дружить, понял?

Миненко задумался. Подошел к Марго, взял ее за руки.

— Любить тоже перестанешь? — тихо спросил он.

— Ну тебя...

* * *

Орлова сумела убедить председателя колхоза выделить детям землицу под огороды. Так началась их большая садово-огородная эпопея. Всю весну воспитанники детского дома трудились не покладая рук: вспахивали грядки, с любовью высаживали рассаду и семена — капусту, морковь, свеклу, брюкву, картофель и лук. За каждой грядкой закрепили бригады. Все лето они заботливо пололи, поливали и удобряли посадки.

На грядках бесспорной хозяйкой была бригада девчонок под началом Владлены Морозовой. За глаза ее прозвали главным агрономом.

Осень окрасила листву в багрянец, а Орлова открыла в детдомовской столовой «горячий цех» по засолке и маринованию овощей. Ароматы специй и свежих овощей заполнили все уголки. Заготовили столько, что хватило и на следующий год! Односельчане, тронутые детским трудолюбием, помогли с тарой — бочками и ведрами.

А после огорода зародилось маленькое подсобное хозяйство: сначала робко закудахтали с десяток кур, а потом к ним присоединились и важные утки.

Детдомовское хозяйство разрасталось...

* * *

— Мария Дмитриевна, — Гера робко прошептала, нарушая тишину кабинета директора, — а вы помните свою первую любовь?

От неожиданности Орлова даже приподняла очки. Гера специально задержалась после заседания детсовета. Взгляд Марии Дмитриевны, острый и проницательный, скользнул по лицу воспитанницы.

— В шестнадцать лет, — ответила она.

В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем настенных ходиков. Гера ждала продолжения, затаив дыхание, и Мария Дмитриевна, почувствовав этот невысказанный запрос, вздохнула с тихой печалью.

— Расскажите, как это было, — прошептала Гера.

— Что «это»? — Орлова с притворным непониманием взглянула на воспитанницу.

— Ну... любовь, — Гера замялась, словно это слово было чем-то запретным.

Дмитриевна не смогла сдержать улыбку, теплую и понимающую, и от этого Гера почувствовала себя еще более неловко.

— Когда я училась в старших классах, за мной ухаживали два кавалера. Один, когда приходил, приносил скромную конфетку или яблочко, а другой — охапку сладостей. Мама тогда мне сказала с иронией: «Первый всегда будет выделять понемногу, словно от сердца отрывая, а другой готов отдать все, не задумываясь». Когда я заболела, первый быстро исчез — зачем ему лишняя забота, да еще и с больной? А второй был рядом всегда. Поддерживал меня и маму. Даже с ложечки кормил, — в голосе Орловой звучала теплая ностальгия.

— И что потом? — тихо спросила Гера, словно боясь спугнуть хрупкие воспоминания.

Орлова улыбнулась.

— Потом... Потом он уехал. В другой город, учиться. Обещал вернуться.

— И...

— А почему ты спрашиваешь, Гера? — внезапно поинтересовалась Орлова, возвращаясь в реальность из тумана воспоминаний.

— Просто... — пробормотала Гера, — мне кажется, что я тоже влюбилась.

В глазах Дмитриевны вспыхнул огонек сочувствия и понимания.

— Славка Заварзин? — догадалась Орлова.

— Откуда знаете? — поразилась Гера.

Сердце Геры заколотилось, кровь прилила к щекам.

— Что бы я была за мать, которая не знает о сердечных делах своих детей, — с грустью ответила Орлова.

— Ему нравится Истомина, — с горечью в голосе произнесла Гера, едва сдерживая слезы.

— Ты уверена?

— Я видела, как они обнимались, — с болью ответила Гера.

Орлова не торопилась с ответом.

— Славка — хороший парень, — Дмитриевна, стараясь придать голосу мягкость, словно гладила девочку по голове.

Гера с сомнением посмотрела на директора. В ее глазах читались отчаяние и неверие.

— В нем есть надежность, — тихо произнесла Орлова. — Я бы с ним в разведку пошла.

— Он с Истоминой в эту разведку пойдет, но не со мной, — прошептала Гера, ее голос дрожал от обиды.

Орлова улыбнулась уголками губ.

— В разведку он пойдет с Ильей Лобовым, — пошутила она, пытаясь разрядить обстановку. — Не торопись с выводами! — произнесла она мягко, но уверенно.

Гера всхлипнула. Директор крепче обняла ее, давая выплакаться.

— Первая любовь всегда несчастная, потому что первая, — с грустью произнесла Орлова.

* * *

Максимке хотелось внимания, хотелось поиграть со старшим братом Славкой. Они часто проводили время вместе: воображали себя пиратами или строителями неприступных крепостей из старых одеял и подушек. К их играм присоединялся и Илья, когда выдавалась свободная минутка.

Но Славке было не до игр. Он сидел за столом в комнате самоподготовки, хмуро уставившись в учебник. Стол был завален разбросанными тетрадями и обгрызенными карандашами.

Максимка подошел к Славке и протянул потрепанного плюшевого медведя с оторванным ухом.

— Помоги зашить Мишке ухо, — попросил он.

— Отстань! Не видишь, я занят!

Максимка замер, прижимая медведя.

— Но...

Славка резко повернулся.

— Чего прилип, как банный лист? — голос его сорвался на крик.

Максимка испуганно отшатнулся. В глазах защипало. Он не понимал, что сделал не так. Почему Славка так разозлился?

— Я же твой братишка, — тихо всхлипнул Максимка.

— Братишка! — Славка взорвался. Слова вылетали из него, как пули, раня Максимку в самое сердце. Он кричал про ненавистную математику, про глупых учителей, про то, как устал от детдома и, главное, как ему надоел этот мелкий, вечно лезущий под руку, требующий внимания Максимка.

— Привязался... Не братишка ты мне, понял?! — продолжал захлебываться в истерике Славка. — Ты мне никто!

Максимка замер. Его цыплячья шейка, выглядывавшая из широкого ворота поношенной кофты, казалась особенно хрупкой и беззащитной. К влажному лбу прилипли светлые волосы. Максимка молча повернулся и медленно пошел прочь, прижимая потрепанного медведя. Впервые он видел Славку таким злым, таким чужим.

— Славка, ты чего? — Илья никак не мог понять, что вызвало такой гнев друга.

— Чего вы все ко мне пристали?! — продолжал неистовствовать Славка.

Максимка, вскочив, босиком рванул к двери.

— Макса-то зачем обидел? Он-то в чем виноват? — спросил Илья, глядя вслед убежавшему мальчику.

— Отстань! — завопил Славка, внезапно осознав, что напрасно обидел близких людей.

— Отстану, — обиженно буркнул Илья и вышел из комнаты.

Славка долго не мог уснуть. Максимка ночевал не в комнате парней. «Ну и пусть катится в свой малышатник!» — с остервенением подумал Славка, натягивая одеяло до подбородка, словно пытаясь спрятаться от собственной совести.

* * *

Утром Славка не находил себе места. Он бродил по детскому дому, ища глазами Максимку. Но братишки нигде не было. Илья, увидев его бледное, осунувшееся лицо, покачал головой и отошел в сторону.

Наконец Славка решился. Он подошел к воспитательнице и тихо спросил:

— А где Максимка?

— Разве не с вами? — удивленно ответила Гавриловна.

Сердце Славки сжалось.

* * *

Когда под вечер в кабинет вошел майор Белов, сердце Орловой болезненно сжалось.

— Приехал за вашим Миненко.

Дмитриевна и бровью не повела.

— Что он натворил? — уголки губ предательски подрагивали.

— Ничего, — надменно произнес чекист. — Надеялся, что мы его, гаденыша, сына врага народа, не найдем, — выругался Белов.

Володю увезли.

Вечером в окно снова мягко стучал дождь.

— За что его забрали? — ворвавшись в кабинет директора, с отчаянием спросила Марго.

— Его отец попал в плен к немцам. Теперь он сын врага народа, — жестко осадила воспитанницу Орлова.

— Он же ваш племянник...

Директор стояла у открытой форточки, курила, не стесняясь воспитанницы. Нахмурилась, услышав вопрос, помолчала, потом горестно тряхнула головой.

— Прошлое, — простонала Орлова. — Отец Володьки ушел из семьи, когда тому исполнилось всего два года, через полгода умерла мать — у нее открылся туберкулез, — и я Вовку забрала к себе. А потом у меня его забрали...

— Кто забрал? — непонимающе уставилась Марго на директора.

— Те, кто его сегодня у нас забрал.

— За что?

Орлова горько усмехнулась. Сделала вид, что не расслышала вопрос.

— Потом мне удалось найти Вовку, быть рядом с ним, но никто не должен был знать, что мы родственники. Он тебе проболтался, да?

— Он сказал, что это большой секрет. Я ему даже не сразу поверила.

— А когда поверила?

— На детсовете, когда мы его разбирали за пьянку. Вы очень нервничали.

— Я за всех нервничаю, — отрезала Орлова.

— Да, но за Вовку тогда особенно.

За окном кабинета продолжал барабанить дождь.

— Время сейчас такое, — продолжила Орлова неопределенно.

Она подошла к столу и села, взяла бумагу, сделав вид, что внимательно изучает. Ее пальцы, неправильно сросшиеся после того, как их на допросах переломал (не спеша, смакуя каждый удар, рукоятью пистолета) старший следователь капитан Маньков, подрагивали.

— Какое?! — закричала Марго.

— Не истери, — осадила воспитанницу Орлова. — Сейчас время терпеливых и ждущих!

— И вы ничего не сделаете? — спросила, заливаясь слезами, Марго.

Орлова снова поднялась и подошла к окну. Опять закурила, выпуская дым в форточку...

Марго застыла в ожидании. Орлова повернулась и холодно сказала:

— Все, что я могу сейчас сделать, — это громко молчать, — директор отвела взгляд.

Темнота за окном, казалось, приблизилась и заполнила кабинет.

— Громко молчать? — не веря услышанному, переспросила потрясенная Марго.

Директор внимательно посмотрела на воспитанницу, обдумывая, говорить или нет... «Кто ей это скажет, если не я?» — пронеслось в голове.

— Громко молчать, — начала она негромко, — это умение контролировать себя, свои эмоции. — Орлова посмотрела девчонке в глаза. Лицо ее стало серьезным. — Со временем ты поймешь, как это помогает. Я директор детского дома. На моем попечении двести шестьдесят детей. Я должна думать не только о Миненко, но и о них. Я знаю, что случилось с твоей матерью, так знай — это был ее способ громко молчать, чтобы спасти тебя.

— Вы предали Вовку, — крикнула Марго.

— Предательство — это когда человека выбрасывают из своего сердца навсегда, — губы Орловой гневно сжались. — Володя, — у Дмитриевны перехватило дыхание. — Он там навсегда. Он единственный, кто у меня есть на этом свете.

— У меня тоже, кроме него, никого нет! — крикнула в озлоблении Марго.

— Неправда, — холодно и жестко возразила директор. — У тебя есть подруга. Цени это! Быть не одной — это... — Орлова почувствовала, что не справляется с эмоция-

ми. Быстро достала еще одну сигарету, закурила. Одна, две, три затяжки — дыхание выровнялось. Орлова глубоко выдохнула, оставила сигарету в пепельнице. — Быть не одной — это быть не одной, — произнесла тихо, и Марго поняла ее.

— Мария Дмитриевна, — глотала слезы Марго. — Вы правы: у меня есть Гера, у меня есть Володя, и у меня есть вы.

* * *

Весть о том, что на отбое недосчитались Максима Вершкова, мгновенно разлетелась по детскому дому. Старшим по поиску директор назначила Илью.

— Почему не я?! — возмутился Славка.

— Как ты можешь быть старшим, если не уберег братишку! — отрезала директор.

Ребята разбились на шесть групп по четыре человека, четко согласовали маршруты с директором, но поиски не дали результатов. Все снова собрались в кабинете Орловой. В кабинет вбежал запыхавшийся Илья.

— Я с малышней поговорил, — выпалил он. — Они говорят, Макс к Спящему Рыцарю пошел.

— Зачем? — Славка почувствовал, как у него подкосились ноги.

— Сказали, что жаловаться.

— Жаловаться? — не поняла Орлова.

— Здесь легенда ходит, что если обиды рассказать Спящему Рыцарю, он накажет обидчика.

— До сопки этой еще через речку идти, на тот берег...

Славка первым вылетел из кабинета, за ним побежали остальные. Орлова накинула что-то на плечи и бросилась следом.

Максимка лежал на скамейке у подножия сопки и спал. Он решил, что перейдет речку утром, а если утонет — что ж, смерти он не боялся.

Мальчонка вспомнил, как забежал в бабушкину комнату. «Бабушка! Бабушка! Ты спишь?» — крикнул он. Ответа не было. В темноте он подошел ближе. Глаза бабушки были полуоткрыты. Маленький Максимка положил руку ей на лоб — так она всегда делала с ним, а потом говорила деду: «Тепленький». Лоб у бабушки был холодным, как гранит на морозе... Не помня себя от ужаса, Максимка вернулся к деду: «Она умерла!» В ответ — едва слышный шепот: «Ей теперь лучше. Не бойся, скоро и мы все умрем». Дед из последних сил дошел до райкома партии. Зашел к секретарю. Максимка не знал, о чем они говорили. Вышел седовласый мужчина в военном френче и приказал тетке за столом: «Ивановна, выпиши путевку в детский дом».

Всхлипнув во сне, Максимка перевернулся на другой бок. Холод пробирал до костей. Он пожалел, что не послушал Илью и не остался в корпусе. Но обида была сильнее страха. Славка накричал на него, обозвал, сказал, что он ему не брат. А ведь Максимка так хотел, чтобы у него был настоящий брат.

Максимка проснулся оттого, что его кто-то настойчиво тормошил. Он приоткрыл глаза. В свете луны он увидел силуэты людей, бегущих к нему. Первым он узнал Славку.

— Живой! — неистово кричал обезумевший Заварзин. — Не утонул!!

Максимка непонимающе уставился на Славку.

— Какое тебе дело, утонул я или нет! Ты мне не брат! Не хочу тебя знать!

— Братишка, ну что ты такое говоришь? — взмолился Славка.

Максим был непреклонен.

— Ты сам кричал, что я тебе не братишка!

— Братишка, еще какой братишка! — отчаянно доказывал Славка. — Был бы не братишкой, стал бы я ночью тебя искать?!

Макс недоверчиво задумался. Славка опустился на колени перед братишкой.

— Прости меня. У меня был трудный день.

— У меня тоже.

— Я даю тебе слово, что больше никогда не скажу, что ты мне не братишка — клянусь!

— Хорошо.

— Пойдем, братишка, домой, там все наши волнуются.

К речке подбежали остальные ребята, окружили их. Все радовались, что маленький Максимка нашелся, жив и здоров.

Славка нес Максимку домой на руках.

* * *

После того как Вовку Миненко увезли, Марго словно надломилась. В ее глазах появилась непривычная взрослость, даже некоторая суровость, а под ними залегли синие тени — следы бессонных ночей и невыплаканных слез.

* * *

Детский дом похоронки обходили стороной. Поэтому когда из военкомата позвонили Орловой и спросили, числится ли среди воспитанников Вячеслав Заварзин, сердце у нее болезненно сжалось. Первая мысль — сбежал, но тут же она вспомнила, что видела Славку после обеда.

— Да, есть, — тихо подтвердила Орлова.

— Пришла похоронка на его отца. Будете в районе — зайдите, заберите.

— Ошибки быть не может? — прохрипела она.

— Война не ошибается, — равнодушно ответили в трубке.

Весь день прошел как в тумане. Орлова механически выполняла свои обязанности, но мысли ее были рядом со Славкой.

Утром она вызвала воспитанника к себе в кабинет. Он вошел, немного смущенный, и робко посмотрел на нее. Орлова глубоко вздохнула и начала говорить, осторожно подбирая слова, стараясь смягчить удар. Слава слушал молча, опустив голову. Когда директор закончила, он поднял на нее глаза, полные слез.

— Он погиб? — тихо спросил он.

Орлова обняла его крепко-крепко.

— Да, — коротко ответила она.

Славка часто заморгал, а потом очень четко произнес:

— Понятно!

И от этого решительного «понятно» Орловой стало не по себе.

* * *

Марго с Герой отправились встречать закат на Хилке. Золотые лучи, пронзая кроны сосен, багрянцем разливались по речной глади. В прохладном воздухе, настоянном на хвое и полевых травах, чувствовалась свежесть. Они устроились на поваленном бревне и смотрели, как солнце медленно опускается за горизонт.

— Марго, — Гера первой нарушила тишину, — иногда мне кажется, что закаты — это клавиши. Каждый оттенок — отдельная нота, каждая тень — глубокая пауза.

— В закатах есть тоска по уходящему дню, — тихо отозвалась Марго.

— А знаешь, кто из музыкантов умел это передать лучше всего? — Гера загадочно взглянула на Марго. — Шопен. Его ноктюрны — это закат, переложенный на музыку. В них есть и свет, и тень, и тоска, от которой сжимается сердце.

— Вот что значит быть музыкантом, — улыбнулась Марго.

— Мне еще далеко до музыканта...

— Ты обязательно станешь первой скрипкой, как мечтал Коля.

— Почему ты так этого хочешь?

— Чтобы ты поверила в себя, в свой талант, чтобы поняла, что музыка — твое призвание.

Они помолчали, наблюдая, как закат разгорается всеми оттенками красного и оранжевого, постепенно уступая место ночной прохладе. Тишину нарушал лишь легкий шелест листьев.

— Если хочешь знать, я — мамина копия, — Марго выдавила из себя улыбку, и Гера почувствовала, что подруга готова открыться.

— Твоя мама, должно быть, была очень красивой.

Марго пристально посмотрела на подругу.

— Ты права, моя мама была невероятно красива. Мне так жаль, что она... что она застрелилась.

— Застрелилась?! — Гера вздрогнула от неожиданности.

— Да, — после долгой паузы спокойно повторила Марго. — Она застрелилась. Сказала, что не вынесет Соловков... За ней должны были прийти.

— Кто? — прошептала Гера, словно боялась, что их разговор подслушают. Она вспомнила, как однажды пожаловалась маме на несправедливую оценку по математике, и та одернула ее: «Никогда не спорь с учителями, тем более громко. Учись говорить шепотом».

Марго хмыкнула и, помолчав, ответила:

— Те же, кто забрал Вовку, — мрачно выдавила она, опустив голову.

— За что твою мать должны были отправить на какие-то Соловки? Кем она была?

— Дело не в том, кем была моя мать, — Марго посмотрела на подругу. — Думаю, вся проблема была в том, что она была женой моего отчима, — Марго тяжело вздохнула.

— И за это отправляют на Соловки? — ужаснулась Гера.

Марго не ответила. Она не знала точного ответа, но в голове эхом звучали слова Марии Дмитриевны: «Это ее громкое молчание, чтобы спасти тебя».

После трагедии Марго спросила у отчима, почему мама так поступила. Его ответ озадачил ее еще больше: «Чтобы освободить меня от страха!»

Гера крепко сжала руку подруги. Она понимала, что сейчас любые слова лишние.

— Когда мама застрелилась, отчим отправил меня к тетке в Сестрорецк. Мы с ней не поладили, и я сбежала. Вернулась домой. Отчим открыл дверь, посмотрел на меня с раздражением и недовольно сказал: «Не приходи сюда больше!» Я долго сидела на ступеньках в парадной, единственным живым существом рядом был кот...

Марго умолчала о том, что пыталась пробиться к отчиму на работу, в Смольный, но ее не пустили. Не рассказала, как мать перед тем, как выстрелить, позвала ее к себе, обняла и прошептала: «Всегда помни: ты не просто Марго, ты королева Марго! — мать засмеялась, но смех был полон горечи. — Соответствуй этому, чего бы тебе это ни стоило. Будь сильнее меня, моя девочка».

Марго не сразу поняла смысл этих слов, но после того, как отчим выставил ее из дома, они всплыли в памяти и помогли ей стать сильнее, помогли выжить.

Не рассказала Марго, как больше месяца скиталась, не находя приюта, и как ее спасла война. Она просто прибилась к одной семье и тихо сказала незнакомым людям: «Пустите меня к себе. Я сирота». И люди пустили, обогрели ее, делили с ней свой скудный паек.

— В семье, приютившей меня, жила бабушка. Каждый вечер, обходя всех в нашей большой коммунальной квартире, она повторяла: «Никогда не теряйте веру. Живите с ней, и все получится». Она целовала нас, детей, и шла успокаивать других. Я выжила, потому что верила: немцы не возьмут Ленинград, я не умру, я выстою. И ты не теряй веры. Твое письмо товарищ Сталин обязательно прочитает, даст команду отпустить твою маму, потому что она не воровка.

Они сидели молча, глядя на закат. Тишина не была тягостной.

— Пойдем домой, — тихо предложила Марго. — Дмитриевна будет волноваться.

— Пойдем.

Они медленно побрели по тропинке, освещенной лунным светом, унося в душе тепло, подаренное закатом на Хилке.

* * *

Старый Гром, выйдя из будки, поплелся в сторону кухни на запах еды.

Детвора обожала Грома. Пес сам прибился к ним, никто не знал, откуда он и чей. Просто появился и остался. Орлова не возражала. Парни соорудили ему будку из досок. Больше всех к старому псу привязался Славка. Три месяца назад Гром заболел и ослеп. Славка ухаживал за ним, вместе с Ильей подкармливал.

— Громка! — Славка, заметив ковыляющего пса, бросился к нему, обнял, прижал к себе. — Громушка, Громушка, мой хороший...

Тот лишь тихо поскуливал.

— Скоро, Громушка, я сбегу на войну, буду бить фашистов, как мой отец. Ты только дождись меня, хорошо? Слышишь, дождись! Я знаю, что ты уже старенький, ну и что... Ты меня обязательно дождешься!

Гром, словно понимая каждое слово, лизнул Славку в щеку шершавым языком. Славка знал, что Гром будет ждать.

— Ты куда собрался? — тихо спросил Илья.

Славка вздрогнул от неожиданности.

— Уйду, — буркнул, отводя взгляд. — На войну.

— Тогда вместе, — решительно заявил Илья.

— Нет, я один.

— Не получится, — не уступал Илья.

— Почему?

— Потому что я твой друг.

— Друг, — подтвердил Славка.

Илья порывисто прижал друга к себе.

— Что ты делаешь?!

Объятие было неловким, мальчишеским, полным неуклюжей нежности и отчаянной решимости. Славка замер: он не привык к таким проявлениям чувств. Война, детдом — все это научило его сдерживать эмоции, прятать их глубоко внутри.

— Поддерживаю тебя, — тихо ответил Илья, не разрывая объятий.

В словах Ильи были такая искренность, такая простота, что Славка на мгновение растерялся, попытался вырваться, но Илья держал крепко, как бы говоря: «Я здесь, я рядом, я не отпущу». И в этой внезапной близости Славка почувствовал то, чего ему так не хватало все эти годы, — простое человеческое тепло.

Война отняла у него все, даже воспоминания стали тусклыми, но сейчас что-то шевельнулось внутри, что-то живое и теплое.

— Если ты на войну, значит, и я. Ты будешь мстить за отца, я — за маму и братишку.

Лицо Ильи в лунном свете казалось непривычно взрослым, серьезным.

* * *

Илья вошел в избу и огорошил Епистинью, выпалив, что решил со Славкой сбежать на фронт. Старушка, запричитав, трижды перекрестилась.

— Зачем торопишься на войну? — и ее морщинистое лицо стало еще строже. Под глазом чернела приметная родинка, из-за чего казалось, будто старуха лукаво подмигивает.

Епистинья взяла загрубевшую руку Ильи в свои ладони, покрытые сетью синих вен, и задумчиво уставилась на потемневшие образа в углу. Казалось, она беззвучно беседует с ними, ищет совета.

— Зачем тебе, Илюша, в пекло-то лезть?

— Вы, бабушка, часто говорили мне про душу, — начал Илья, с трудом подбирая слова. — Так вот, там у меня внутри — пустота.

В его голосе звучала усталость, та, что приходит, когда человек упирается в стену. Так бывает, когда попадаешь в тупик, когда мир сужается до размеров гроба. Илья осознал свой тупик, и внутри у него произошел взрыв — тихий, почти неслышный для окружающих, но оглушительный для самого себя. Илья почувствовал потребность выговориться, излить накопившуюся горечь.

Он вспомнил, как однажды, еще в Ленинграде, пришел в поликлинику с начинавшейся цингой и невыносимой зубной болью. Врач велел ждать в регистратуре. Илья терпеливо ждал. За это время принесли нескольких человек, найденных на улице. Вокруг них суетились люди, но стоило появиться врачу, как все расступались. Спокойно пощупав пульс одного из принесенных, доктор тихо, но так, чтобы слышали все, произнес: «Уносите. Не жилец». Толпа возмутилась, но врач отрезал: «Его нужно много кормить, а кормить нечем». Санитары погрузили тело на носилки и унесли. Илье стало так жаль этого незнакомого человека, что он был готов поделиться припрятанной за пазухой пайкой хлеба. Но медсестра остановила: «Ему легче умереть голодным, чем поесть. Если поест, случится заворот кишок».

— Говоришь, как старик, — тихо произнесла Епистинья, и тень печали скользнула по ее лицу.

— Я и есть старик в шестнадцать лет, — огрызнулся Илья, отворачиваясь.

— Война не даст тебе успокоения, — Епистинья все еще надеялась отговорить парня от отчаянного шага, но понимала — тщетно. Слишком глубоко засела боль в его сердце.

— Она даст отмщение, — рассудительно ответил Илья, и в глазах его вспыхнул недетский огонь.

— Это дорога в ад, — обреченно прошептала Епистинья.

— Значит, мне надо ее пройти!

— Все мы в руках Господа нашего, — смиренно произнесла старуха.

Она вздохнула, тяжело поднялась со скамьи. В красном углу поискала за образами, зажала что-то в кулак, потом перекрестилась, прошептала короткую молитву.

— Это тебе, — и разжала кулак.

Лицо Епистиньи оживилось, в глазах появился мягкий, ласковый свет. Илья увидел маленький, потемневший от времени крестик на тонком шнурке.

— Он убережет. Я буду молиться за тебя, — пообещала старуха, глядя на него с материнской нежностью.

— Я не верю ни в какого Бога, — огрызнулся Илья, отворачиваясь, но уже не так резко, как прежде.

— И не верь, — через силу, медленно произнесла Епистинья, словно говоря это не ему, а самой себе. — Не заставляю. А я буду истово молиться за тебя перед Богородицей. Мой младшенький вот так же отказался крестик надеть, упрямый был... и не вернулся. Вместо сына принесли мне казенную бумажку. Трех сыновей схоронила...

— Жестокий Бог!

— Не суди! — гневным, хрипловатым голосом остановила старуха Илью. — Мал ты еще такое говорить. Никому и никогда не понять чужую боль, каждому своя суждена. Война — она ведь не только для сильных, она и для слабых... Господи, прости нам прегрешения наши... — прошептала она слова молитвы, будто отгоняла от себя нечистого. — Надень крестик, не перечь старухе.

В голосе Епистиньи звучала такая мольба, что Илья не смог ей противиться.

— И не снимай.

— Хорошо, — Илья потупился.

Он нагнул голову, и Епистинья трясущимися руками надела ему на шею крестик.

— Спрячь его так, чтобы никто не увидел.

— А если увидят?

— Скажешь, бабушка Епистинья надела.

Илья бережно спрятал крестик под гимнастерку, ощущая его как нечто новое, непривычное. Словно частица тепла, переданная от бабушки, согревала его изнутри. Он поднял глаза на Епистинью и увидел в них не только скорбь, но и надежду.

* * *

— Максимка, — позвал Славка, и в голосе его звучала непривычная серьезность. — Есть мужской разговор.

Сердце Максимки радостно забилось: старший брат решил поговорить с ним о чем-то важном.

— Дай слово, что никому не расскажешь.

— Клянусь! — торжественно, с придыханием, пообещал братишка.

Вечерний сумрак за окном лениво окрашивал небо в нежно-розовый цвет. Славка помолчал, собираясь с мыслями.

— Мы ночью с Ильей уходим на войну.

— Я с вами! — радостно выдохнул Максимка, предвкушая подвиги.

— Взяли бы с радостью, да ты еще мал, — Славка запнулся, подбирая слова. — Ну, не то чтобы мал, просто... — Он хотел объяснить, чтобы не обидеть, но подходящего объяснения не находил. — Одним словом, тебя не возьмут.

— А вас... вас точно возьмут?

— Да. Без разговоров.

— А я? Что же... что будет со мной?

— Ты останешься... с нашей сестрой.

— С сестрой? — Максимка недоуменно вскинул брови. — Разве... разве у нас есть сестра?

— Теперь есть. Ты знаешь Геру?

— Да.

— Она тебе нравится?

— Она хорошая.

— Вот и славно. Завтра ты тайно, слышишь, тайно передашь ей вот эту записку, — Славка показал сложенный вчетверо листок. — Только так, чтобы никто не видел. Военная тайна. Она прочтет... и станет тебе старшей сестрой.

— Обязательно передам, — поспешно заверил Максимка. В его глазах отражался отблеск подвига.

— Запомни: теперь у тебя два брата... и сестра Гера.

— Еще бы маму и папу...

— Мама у тебя тоже есть — наша Мария Дмитриевна. Она нас всех любит.

Максимка притих, прижимаясь к брату. Война... Он столько раз представлял себя героем, сражающимся с врагами, но реальность казалась совсем иной. Славка уходит, а он остается здесь, с сестрой, о которой только что узнал.

Славка ласково потрепал его по взъерошенным волосам.

— Ладно, братишка, иди спать. Завтра важный день. И помни: никому ни слова.

Максимка кивнул, чувствуя, как подступает комок к горлу. Он выскользнул из комнаты и, добравшись до своей кровати, уткнулся лицом в подушку. Слезы сами собой потекли по щекам. Ему было страшно и одиноко. Война забирает Славку и Илью, а он, маленький и беспомощный, ничего не может сделать.

Утром, как и было велено, он украдкой, словно опытный шпион, подсунул Гере сложенный листок. Она, быстро пробежав глазами текст, не изменилась в лице. Лишь губы чуть плотнее сжались.

— Теперь... теперь ты моя сестра? — тихо спросил Максимка, замирая от волнения.

Гера наконец улыбнулась. В ее глазах вспыхнул теплый, успокаивающий свет.

— Конечно, теперь я твоя старшая сестра. Не волнуйся, все будет хорошо.

Ее слова немного успокоили Максимку, но тревога никуда не делась.

Ночью мальчишка долго не мог уснуть, прислушиваясь к каждому шороху. Потом все стихло, и он провалился в беспокойный сон, полный тревожных сновидений. Когда он проснулся утром, Славки уже не было. В доме царила тишина, а в воздухе витала какая-то гнетущая пустота. Теперь он не один. У него есть Гера. И война, которая забрала на время его братьев.

* * *

Орлова держала в руке письмо Заварзина, не зная, что предпринять. «Мария Дмитриевна! Простите меня и Илюху, но больше нет сил терпеть. Мы должны заплатить по счетам за смерть родных. Добраться до фронта — наш долг. Не ищите нас, все равно не найдете. Каждый шаг продуман. Не обижайтесь, мама. И прошу об одном: скажите Гере, что она — самое дорогое, что у меня есть, и что с Истоминой ничего не было. Вы наша мама, а мы ваши сыновья. Мама, простите нас и отпустите нас. Мы вернемся и будем во всем вам опорой!»

Скомканный листок дрожал в ее руке. Ярость на мальчишек переплеталась с тревогой за их судьбу, и вместе с тем рождалось странное, горькое, но гордое понима-

ние их поступка. Как она могла их остановить? Вся страна жила единым дыханием — дыханием Победы.

Огонек надежды еще теплился: может быть, мальчишек поймают и вернут в детский дом, но что-то подсказывало: парни доберутся до фронта.

Орлова подошла к сейфу, открыла его и положила в него письмо Заварзина. Закрывая дверцу, прошептала: «Господи, мальчики, вернитесь только живыми!»

7

Тонкие сучья потрескивали под ногами Марго. Слева от тропинки она увидела Геру, обхватившую руками могучую сосну. Подруга прижалась ухом к шершавой коре. Марго не удивилась — за Герой и раньше водились странности.

— Что ты делаешь? — осторожно, почти шепотом спросила Марго, боясь спугнуть подругу.

— Слушаю дыхание дерева, — с улыбкой ответила Гера.

— И какое оно? — поинтересовалась Марго.

— У кедра пульс ровный, спокойный, словно у мудрого старца, а у сосны — напротив, какой-то заполошный, как у птицы в клетке.

— Сама, что ли, измеряла?

Гера с укором посмотрела на подругу:

— Просто вслушайся!

Марго вздохнула, присаживаясь на поваленное бревно рядом с подругой. Гера молчала, продолжая смотреть на деревья.

— Знаешь, я могла услышать звук немецких самолетов задолго до их появления, — неожиданно призналась она.

— Как это?

— Не знаю, — Гера пожала плечами. — Просто... ощущение. Будто воздух меняется, становится каким-то... густым. И тогда я слышу этот тихий гул, будто рой злых пчел приближается. Слух обострялся до невозможности. Даже канонада не мешала, — взволнованно говорила Гера. — Я специально проверяла. Забиралась на крыши, слушала и почти всегда угадывала, куда самолеты полетят и где сбросят бомбы.

Марго нахмурилась. Война, безусловно, могла обострить чувства, но чтобы настолько...

— И ты... предупреждала кого-нибудь?

— Я об этом даже рассказала зенитному расчету, они мне сначала не поверили. Сказали, нервы. А потом поверили. Они тогда сбили три самолета, а мне дали хлеба и сахара и велели снова приходить.

— А потом? Что было потом? — тихо спросила Марго.

— Потом... потом все стало хуже. Бомбежки участились, зенитчики сбивали меньше самолетов. Мой «дар», если его так можно назвать, уже не помогал. Я чувствовала их приближение, но не могла понять, куда они полетят. Страх парализовал меня. Я перестала ходить к зенитчикам, боялась подвести их. А потом бомба упала рядом с нашим домом, — Гера замолчала. — Дальше я попала в госпиталь, — у нее перехватило дыхание, словно воспоминания душили ее. — Во время блокады я обожала читать поваренную книгу. Мне ее соседка наша подарила. Она топила печку книгами из своей огромной библиотеки. Мы сожгли почти всю мебель, стали жечь паркет. Когда кончился свой, пошли по пустым квартирам, отдирали. Я как-то зашла к соседке, потому что она не отзывалась на наш стук. Мы все друг другу стучали в стенки,

чтобы знать: живые или уже нет, — Гера перевела дыхание. — Пришла, а тетя Тома плачет. Говорит, скоро книги закончатся, а она замерзнет, и дарит мне поваренную книгу. «Возьми, — говорит, — она очень хорошая и тебе непременно пригодится. Будешь меня вспоминать. Ты, — говорит, — обязательно выживешь». Книга была дореволюционная, в кожаном переплете, с золотым тиснением. Представляешь? Золото! В блокаду! А внутри... там были такие рецепты, такие картинки... знаешь, с гусями, с поросятами, с пирогами, от которых слюнки текли. Я читала ее ночами напролет. Иногда, когда совсем невмоготу было, закрывала глаза и представляла себе, как готовлю по этим рецептам, как приготовлю все эти чудесные консоме, жюльены, печенья и варенья, торты и пирожные... и так до самого утра. Это помогало мне выжить. Поваренная книга стала самой любимой книгой, — Гера грустно улыбнулась.

— Тебя Дмитриевна ждет, — Марго вспомнила, зачем искала подругу. — Там из города приехал Белов, — осторожно выговорила Марго.

Гера пыталась дышать ровно, но воздуха не хватало. Ноги начали потихоньку неметь. Лицо потемнело, у губ залегла горькая складка.

— Это за мной, — произнесла она.

— Успокойся, нужна ты им...

Как ни крепилась Марго, но голос выдавал ее волнение и тревогу.

— Если приехали, значит, нужна, но я же тебе сказала — я уже ничего не боюсь. Папа учил, что неизбежное надо встречать достойно. Сейчас успокоюсь, соберу себя в кулак, и пойдем...

В директорском кабинете, больше похожем на каморку, куда втиснули стол, шкаф для бумаг и три стула, сидели Орлова с напряженным, бледным лицом, глаза чернее обычного, и военный — высокий, крупный, с двумя глубокими залысинами, словно вырубленными топором.

— Вот и наша Гера пришла, — выдохнула с облегчением директор.

Прищуренным недобрым глазом майор изучающе уставился на вошедшую в кабинет девочку-подростка.

— Это не Гера, это — Генриетта Филиппова, — отчеканил Белов, словно отрезал.

Гера жутко смутилась, покраснела, словно ее застали за чем-то непристойным. Ее давно никто не называл по фамилии. Она временами ее даже забывала. Папа всегда мягко звал Герочкой, мама более требовательно — Герой, но по фамилии — никогда. В их семье такое было не принято. Папа маму всегда ласково звал Наденькой, она его так же нежно — Бронечкой.

— Да, это я, — тихо произнесла Гера.

— Зачем, думаешь, я приехал? — мужчина силился улыбнуться, но у него это получилось плохо, улыбка вышла кривой и злой.

— Меня забрать, — без обреченности ответила Гера, чем поразила Белова. Девочка совсем не испытывала страха, лишь смирение и усталость.

— Зачем?

— Вам лучше знать, — с тем же простодушием произнесла Гера, будто говорила очевидные вещи.

— Значит, ты чувствуешь себя в чем-то виноватой?

— Я ничего плохого не сделала.

Офицер прекрасно помнил то безобидное письмо, которое ему доставили с почты, затерявшееся среди вороха других посланий.

Все письма на имя Сталина проходили через него, лишь редкие продолжали свой путь. Среди них посчастливилось быть и письму Геры. Оно бы осталось в отделе,

пылиться на полке, но вечером за ужином, в семейном кругу, майор Белов, весело ухмыляясь, поведал о нем, будто рассказал анекдот, и старшая дочь неожиданно спросила: «Папа, а если бы это было мое письмо? Если бы на месте этой девочки была я? Она ведь просит только об одном — отпустить ее маму, которая украла какие-то граммы, чтобы спасти свою семью, да еще в блокадном Ленинграде».

Ужин не задался, но на следующий день Белов отдал команду: «Отправить по назначению. Оно неопасно и вряд ли дойдет».

Дошло... до самого...

— Я готова, только можно с подругой попрощаться?

На какое-то время в кабинете установилась тишина, словно все затаили дыхание, ожидая развязки.

— Значит, не можешь даже предположить, зачем я приехал к тебе?

— Могу, — неожиданно произнесла Гера и снова посмотрела прямо в глаза майору Белову, не отводя взгляда.

Блокада, война научили ее суевериям. Нельзя произносить заветное: оно не сбудется, а несбывшаяся надежда — это тяжкий удар и, значит, потеря сил. Лучше никогда ничего не загадывать, но продолжать верить, жить в ожидании чуда. Так легче.

— Вы привезли новости о моей матери, — Гера ощутила легкое головокружение, словно от долгого ожидания.

Белесые брови майора Белова поползли вверх, он был удивлен проницательности девочки.

— Как догадалась?

— Не знаю, — ответила Гера. — Почувствовала...

Офицер ухмыльнулся.

— Отменная чуйка, — он с недоверием уставился на Геру, буравя ее своим колючим взглядом. — Кто надоумил тебя написать письмо товарищу Сталину?

— Сама!

— Значит, сама... — с нескрываемым сомнением подытожил Белов, нервно стуча пальцами по столу. — Может, кто-то все же надоумил? — он выжидательно посмотрел Гере прямо в глаза, испытывая ее на прочность.

Она выдержала взгляд, не дрогнув.

— Я написала товарищу Сталину, потому что он самый великий защитник детей. Кому еще мне было писать? Моя мама не воровка, она просто хотела нас хоть как-то прокормить.

— Ясно! — Белов помолчал, переваривая услышанное. — Товарищ Сталин, — официальным тоном начал он, — получил твое письмо и дал указание разобраться в истории с твоей матерью.

— Я знала... я верила... — прошептала Гера, поднимаясь со стула, на глазах у нее появились слезы, долгожданные слезы облегчения.

Белов никак не отреагировал, оставаясь непроницаемым, и сухо продолжил:

— Проверкой был установлен факт бессовестного лживого доноса на гражданку Надежду Филиппову.

— Это моя мать, — губы Геры задрожали, и она перестала сдерживать слезы.

Это подействовало на офицера, голос его смягчился.

— Скоро ты ее увидишь.

Геру била мелкая дрожь.

— Надеюсь, вы найдете гражданке Филипповой работу у себя, — Белов обратился к директору.

— Конечно, товарищ... — Орлова не успела закончить, ее перебили.

— Вот тебе, — и Белов достал из сумки-планшета конверт, запечатанный треугольником.

Гера застыла и не могла поверить.

— От товарища Сталина? — еле выдавила она.

— Ишь чего захотела, — незлобно усмехнулся Белов, покачав головой, но в его глазах промелькнула искорка тепла. — От твоей матери.

Гера взяла треугольник дрожащими руками.

— И еще, товарищ Орлова, — уже официально обратился майор. — Вы написали нам запрос, просили узнать фамилию одного юноши. Мы выяснили — это Николай Стеблов. Мать его жива, вот от нее письмо. Она просит указать, где похоронили сына. Уверен, вы дадите женщине ответ.

Когда Гера вышла из кабинета, то увидела большую красивую радугу над домом. Оказывается, прошел легкий дождик, и солнце, выглянув из-за туч, раскрасило небо ветами надежды...

* * *

Епистинья застонала и проснулась. Сухими, воспаленными глазами она долго глядела в потолок, потом тяжело поднялась. Подошла к образам, опустилась на колени и зашептала слова молитвы. Неподвижными глазами смотрела на нее Богоматерь в свете лампадки. Легче не стало, напротив, тоска еще сильнее сдавила сердце.

Епистинья вдруг отчетливо поняла, что скоро умрет. Не испугалась. Подошла к старому фанерному комоду и достала небольшую пачку писем, обмотанную красной тесьмой. Принялась бережно перебирать пожелтевшие листки. Буквы, написанные твердой мужской рукой, складывались в слова любви, тоски и надежды.

Отдельно лежали три треугольника — от Илюшеньки. Их тоже перечитала. Погладила шершавой ладонью.

Первое письмо — полное бравады и юношеского задора: «Все хорошо, бабуль, не волнуйтесь! Скоро вернемся с победой!» Второе — более сдержанное, уставшее: «Тут... непросто. Но мы держимся». Третье... Третье было коротким и горьким: «Бабушка, молись за меня. Здесь страшно».

На щеках поблескивали дорожки слез. «Убереги, Богородица, внучка, — истово просила она у обгоревшей иконы. — Убереги!»

Она встала с колен, подошла к окну — осенняя хмарь, серые деревья, унылое небо. Как и в тот день, когда принесли похоронку на сына Мишеньку.

Сердце забилось чаще, в глазах потемнело.

Светало. «Хорошо умирать утром. Спокойно», — подумала Епистинья.

Последний вздох вырвался из груди, и рука, державшая письма, бессильно упала на пол. Умерла тихо — просто закрыла глаза, и душа покинула ее.

Похоронили Епистинью, как она и хотела, за старой сгоревшей церковью, рядом с могилой ее сестры Ефросиньи.

* * *

В декабре сорок четвертого майор Белов приказал позвать Марго, а директору Орловой велел подождать за дверью.

— Маргарита Алексеевна Воронова, — обратился он официально к Марго.

— Я — Полякова!

На что Белов лишь хмыкнул.

— По матери, — важно поправил он. — По отцу вы Воронова, — майор пристально уставился на Марго. — Ничего не хотите мне сказать?

— Нет!

— Вы знаете, что вас разыскивает отец? — Белов еще раз взглянул на Марго, ему хотелось понять, о чем она думает, но на лице девушки не дрогнул ни один мускул.

«Однако! — восхитился человек в военной форме. — Не зря ее зовут королевой Марго».

Когда из центрального аппарата пришел запрос на розыск и за короткое время было установлено, что Воронова Маргарита Алексеевна, она же Полякова, находится в Воскресенском детском доме, Белов дал негласное задание подчиненным собрать всю информацию об этой воспитаннице.

— Если он хочет, чтобы я вернулась в Ленинград, — нет!

Такой резкий ответ удивил Белова.

— Почему — нет? — откровенно спросил он.

— Вы этого не поймете, — Марго посмотрела на упитанное лицо майора.

— Я люблю этот дом, благодаря ему я жива, у меня есть подруга, у меня есть Мария Дмитриевна, — решительно ответила Марго. — Я не хочу уезжать из дома. Если уеду, буду считать себя предательницей.

Они помолчали.

— Ваше решение окончательное и бесповоротное?

— Да!

— Достойно уважения!

Он старался быть предельно вежливым и даже искренним.

— Маргарита Алексеевна, — Белов даже смутился, — может, у вас есть какие-то просьбы? Если это в моих силах — обещаю помочь.

Марго не сразу ответила.

— Да, есть. Помогите, чтобы в Воскресенске была не семилетка, а средняя школа.

У Белова были четкие рекомендации от начальства — вести себя с девчонкой корректно: «Товарищ Воронов из ленинградской партячейки, а ленинградцы сейчас в фаворе, так что надо говорить культурно, почти по-отечески».

— Ваша просьба решаема. Похвально, что у вас есть желание учиться. Толковые люди стране нужны, — Белов еще раз внимательно оглядел Марго. — Кстати, я приехал не только по вашему вопросу, — он буравил глазами воспитанницу. — Позовите ко мне вашу подругу Генриетту Филиппову, у меня есть и к ней дело.

Марго испугалась, побледнела. «Сообразительная деваха, понимает, с кем имеет дело». А вслух произнес:

— Успокойтесь, я привез ей хорошую новость. — Белов криво улыбнулся. — Я привез ее мать!

* * *

Тридцатого апреля сорок пятого года пришла похоронка на Вячеслава Заварзина, героически погибшего у стен Берлина.

Заплаканная Гера ворвалась в кабинет Орловой, увидела распухшее от слез лицо директора. Дмитриевна отвернулась к окну, стараясь сдержать новый приступ рыданий. За окном, словно издеваясь, светило яркое весеннее солнце, играли в лужах воробьи.

— Это правда?

Гера еще надеялась на чудо, она никак не хотела верить...

— Да!

Гера без сил опустилась на стул. Она постаралась сделать глубокий вдох, и внезапно жгучая боль пронзила тело и так и застряла в сердце.

Дмитриевна подошла к Гере, положила руку на плечо.

— Держись, девочка. Он герой. Он отдал жизнь за нас, за Победу.

Гера встала.

— Можно мне скрипку?

— Да, конечно, — Орлова достала скрипку из шкафа.

Гера открыла футляр, извлекла инструмент и трясущимися руками погладила гриф.

— Я во дворе сыграю? Славе нравился «Сентиментальный вальс».

— Конечно, — Орлова судорожно сглотнула.

Все уже знали, какое горе пришло в их дом, и старшие сочувственно смотрели на Геру. Подошла Марго и обняла.

— Ты сильная, — прошептала она.

Гера взяла скрипку в руки. И полились первые звуки «Сентиментального вальса». Она играла, как никогда. С каждым тактом лицо становилось все суровее. Руки казались легкими и хрупкими, словно крылья бабочки.

Орлова подошла к сейфу, достала конверт и вышла из кабинета во двор. Подошла к Гере.

— Это от него, — и протянула конверт. — Он просил передать тебе, если... если что-то случится.

Гера дрожащими руками взяла письмо. Внутри была короткая записка, написанная знакомым почерком: «Люблю тебя, Герочка. Жди меня. Слава». И засохший полевой цветок, наверное, сорванный на привале. Гера прижала письмо к груди и заплакала еще горше.

Ветер трепал выцветший платок почтальонши, а скрипучий велосипед, словно старый солдат, нес ее по ухабистой дороге. Задыхаясь от волнения, она кричала слова, которых ждали здесь годами: «Товарищи! Председатель сельсовета просил передать: война закончилась! Победа! В два часа все собираемся у сельсовета на митинг!»

Весть, словно эхо, прокатилась по Воскресенску. Открывались покосившиеся окна, из домов выбегали люди — сначала робко, не веря своим ушам, а потом с ликующими криками: «Победа! Победа! Ура!» Лай собак и плач от радости сливались в единый гул. Женщины, черные от полевой работы, роняли серпы и обнимались, рыдая. Старики, крестясь дрожащими руками, прислушивались к новостям. Дети, еще не до конца понимая, просто прыгали и кричали, захваченные всеобщим ликованием.

Обрушившаяся на село новость о победе докатилась до детского дома.

— Ваня! — голос Орловой был силен и привычен к командам.

В сенях зашуршали шаги. Ванька Демин, лучший горнист дома, вбежал в кабинет Дмитриевны.

— Труби сбор, Ваня. Всеобщее построение. На площади.

Глаза мальчишки загорелись. Он выхватил трубу, висевшую на гвозде у двери, и, не теряя ни секунды, вылетел обратно. Звонкие звуки горна разорвали тишину. Детвора выбегала во двор, на ходу застегивая рубашки. Воспитатели торопили их, сами возбужденные и взволнованные. Построение среди дня? Давно такого не было.

К двум часам площадь перед сельсоветом была полна. Измученные горем и лишениями лица светились надеждой. Председатель, с трудом сдерживая слезы, про-

изнес короткую речь о павших героях, тяжелых испытаниях и долгожданном мире. И над площадью взметнулось победное «Ура!».

После митинга люди не спешили расходиться. Обнимались, вспоминали погибших, делились надеждами. Кто-то достал гармонь, и под ее нестройные звуки начались первые танцы: женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, дети кружились рядом. Забыв усталость и голод, они отмечали долгожданную Победу.

Солнце клонилось к закату. Возле сельсовета быстро сколотили столы. К вечеру собрались все. Мужики принесли самогон, женщины — соленые грибы и картошку. Дружно сидели, вспоминая войну: страх, голод, смерть, но главное — надежду и веру в Победу. Постепенно веселье стихало. Утомленные, но счастливые, люди расходились по домам. В этот вечер даже звезды казались ярче.

Война закончилась. Жизнь продолжалась.

8

В ноябре сорок пятого дом принял новую душу. Хрупкая девочка с мальчишеской стрижкой, в мешковатых штанах, подпоясанных грубой веревкой, и бесформенной рубашке, скрывавшей угловатость фигуры, без смущения вошла в столовую. Не колеблясь, она встала в самом центре, словно готовясь к бою.

— Я хочу, чтобы меня все звали Элизой, — голос ее, неожиданно твердый для такой маленькой девочки, разнесся по столовой. — И я буду откликаться только на это имя.

Орлова с недоумением спросила:

— Почему Элиза, если по документам ты...

Новенькая, не дав ей договорить, бесцеремонно перебила:

— Остановитесь! Иначе я уйду! Сбегу!

Дмитриевна поняла: сейчас любая неосторожность может разорвать тонкую ниточку доверия.

— Это правда, что ты... была в немецком концлагере? — несмело поинтересовался Ромка Нехлюдов.

Слух о том, что новенькая пережила ужасы концлагеря, уже прокрался в каждый уголок дома. Никто не знал, можно ли верить этому.

— Да, — коротко ответила девочка. — За то, что я жива, я должна благодарить мою приемную мать. — Она запнулась. — Ее звали Элиза. Она спасла меня... там.

— Значит, ты взяла имя в память о ней? — догадался Ромка.

Элиза обвела взглядом напряженные лица, полные любопытства и немого сочувствия.

— Я больше не скажу ни слова, — отрезала она и скрестила руки на груди.

Стало ясно: из Элизы больше ничего не вытянуть. Ситуацию спасла Гера.

— Элиза, пожалуйста, не уходи, — тихо попросила она. — Я сейчас... я сейчас... — она запнулась, ища нужные слова. — Подожди меня, хорошо?

Гера подбежала к директору и что-то прошептала ей на ухо.

— Не расходитесь! Мы сейчас вернемся.

Через несколько минут Гера вернулась, держа в руках скрипку. Она вышла на середину столовой.

Зазвучала знакомая всем в доме мелодия. Услышав ее, Элиза изменилась в лице, судорожно закрыла уши руками.

— Остановись! — закричала она. — Только не это... — требовала Элиза.

Все, замерев, ждали, что будет дальше.

— Прошу вас! — голос Элизы дрожал от невыплаканных слез. — Умоляю, перестаньте играть эту мелодию!

Ей понадобилось время, чтобы взять себя в руки и продолжить рассказ, словно срывая бинты со старой раны.

— В концлагере был большой детский блок. Из детей-музыкантов они создали оркестр и заставляли нас играть без остановки. Плац, где нас принуждали музицировать, они называли танцплощадкой. Особенно коменданту нравился «Сентиментальный вальс». Для него заранее выносили стул, стол, он приходил, важно садился и слушал. Ему приносили чай, булочку. Он ел, а у нас желудки сводило от голода. Если ему что-то не нравилось — он указывал другому немцу на оркестранта, того выводили... Мы его больше не видели. Стоило кому-то из детей перестать играть, как с вышки тут же раздавался выстрел. Они, — плечи Элизы содрогались в беззвучном рыдании, — расстреляли всех. Осталась одна девочка. Ей было тринадцать лет. Она играла, уже не чувствуя пальцев... — Элиза с трудом перевела дыхание.

— Дай мне скрипку, — попросила Геру.

И заиграла. Скрипка плакала в ее руках. Все поняли: той единственной девочкой была Элиза.

Она перестала играть. Отдала скрипку плачущей Гере.

— Немцы вошли в наш тихий белорусский городок утром. Все знали, что они придут. Кто мог, тот эвакуировался, кто не мог — остался. Мы не уехали: мама была тяжело больна, ей нужен был уход. На следующий после их прихода день возле каждого дома останавливалась большая грузовая машина. Пришли и в нашу квартиру. Увидели, что мама не может встать с постели, и расстреляли ее прямо там. Меня же за косы вытащили на улицу. Я сопротивлялась. Удар прикладом по голове. Дальше я не помню, как меня забросили в машину. Вечером всех загрузили в деревянные вагоны и повезли. Куда — никто не знал... Неделю везли. Ни еды, ни воды. Ничего не было — только слезы и стоны детей и женщин. Мужчин погрузили в другой поезд. Наконец нас привезли к какой-то немецкой станции. Там снова перетащили в грузовики. Ехали часа три, а потом еще несколько часов брели по раскисшей дороге, пока не добрались до лагеря. Там всех распределили по блокам. Вечером меня с другими детьми загнали в огромный барак. Нас, детей, сразу разобрали по углам. Ко мне подошла женщина.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Не помню, — ответила я.

— Хорошо, что не помнишь, потому что здесь небо без Бога. Я — Элиза, — она протянула мне руку. — Если ты не против, я буду о тебе заботиться. — Теперь ты будешь Элиза, — сказала она.

— Хорошо, — ответила я.

Женщина обняла меня. Я почувствовала тепло и безопасность, которых не знала так долго. Она стала моей приемной матерью.

Элиза до войны была врачом-хирургом. Когда ее пригнали в концлагерь, немцы, зная, что она врач, заставили лечить своих. Говорили, что ее возили даже в город, в тамошнюю больницу, чтобы она делала операции, а немецкие врачи просто наблюдали за ней, всякий раз ожидая, что больной умрет. Элиза добилась того, что ей разрешили лечить по ночам и всех лагерных. Когда меня взяли в оркестр, Элиза обняла меня и прошептала: «Только не опускай смычок. Представь, что там, на небесах, тебя слушает твоя мать». Однажды я спросила Элизу, как ей удается делать невоз-

можное: спасать тех, кого уже и за живых-то не считали. И она с неизменным юмором ответила: «Бог мне улыбается».

Ближе к ночи в нашем бараке всегда слышалось тихое пение. Это мамочки укладывали нас, девочек, спать. Звучали колыбельные на разных языках: русском, украинском, польском, французском. Среди этих женщин были учителя, которые по вечерам учили нас математике, языкам. Я выучила польский, чешский, французский. Элиза никогда не пела, лишь тихонько гладила меня по волосам и шептала: «Только выживи им назло».

В ноябре сорок четвертого я сильно заболела, но немцы выводили меня каждое утро на плац, заставляя играть в оркестре. Дождь ли, холод ли — им было все равно. Мы должны были играть, или... выстрел с вышки. В какую-то ночь мне стало совсем плохо. Я горела. Какие бы примочки Элиза ни делала — жар не проходил. Неожиданно в барак вошел немец и приказал Элизе идти с ним. Кого-то снова привезли из города, Элизе надо было спасать очередную сволочь, чтобы выжить и лечить нас, лагерных. Элиза вернулась только к утру. За мной.

— Пойдем, — коротко приказала она.

— Куда? — испуганно спросила я.

— Не бойся.

Элиза привела меня к коменданту лагеря. Я этого жирного немца часто видела. Рядом с ним стояла женщина, хорошо одетая. Потом я узнала, что это была жена коменданта.

— Фрау, это моя дочь, — обратилась Элиза к немке.

Та подошла и изучающе посмотрела на меня. Сказала:

— Генрих, эта лагерная спасла нашего мальчика. Отблагодари ее. Пусть никто ее не трогает.

— Она сейчас сильно больна, разрешите ее в лазарет.

Немка кивнула.

— У меня к вам, фрау, последняя просьба.

Немка недовольно скривилась.

— Что еще?

— Пусть ваш муж даст команду, чтобы она больше не играла в оркестре.

Немка не сразу ответила, но все же что-то сказала мужу. После этого я попала в лазарет и больше никогда не играла в оркестре, но и Элизу больше никогда не видела. Потом пришли американцы. Они нас освободили. Элизу я так и не нашла. Поэтому я — Элиза, — закончила новенькая, нервно сглотнув.

В столовой стояла тишина, нарушаемая лишь тихими всхлипываниями Геры. Все были потрясены. Дмитриевна подошла к Элизе и осторожно положила руку ей на плечо.

— Спасибо, Элиза. Спасибо, что поделилась с нами.

Она кивнула, но не произнесла ни слова. В ее глазах не было прежней резкости, только глубокая усталость. Гера, все еще всхлипывая, подошла к Элизе и обняла ее. Элиза не отстранилась.

— Ты очень сильная, Элиза, — сказал Ромка, его голос был тихим и искренним.

Элиза лишь слегка улыбнулась, и эта улыбка была полна горечи. Она все еще была чужой в новом доме, но что-то изменилось. Ее история, рассказанная с такой откровенностью, связала ее с детьми невидимой нитью. Она больше не была просто новенькой в штанах и безразмерной рубашке. Она была Элизой, девочкой, которая выжила. И теперь ей предстояло научиться жить снова.

* * *

Солнце уже клонилось к закату, когда дверь кабинета Орловой тихонько скрипнула и открылась. Дмитриевна подняла голову от бумаг: на пороге стоял он. Бравый солдат. На выгоревшей и истрепанной гимнастерке блестели медали.

— Я вернулся, мама!

Дмитриевна ахнула и кинулась на грудь солдату: плакала, обнимала.

— Живой! — повторяла она, не веря своим глазам. — Господи!

Илья Лобов крепко обнял Дмитриевну, прижался к ее плечу.

— Крестик бабушки Епистиньи оберегал. Он всегда был со мной, — скромно ответил Илья, когда первые рыдания утихли.

* * *

Вечером к Гере и Марго подошла новенькая.

— Откуда она у тебя? — спросила Элиза, увидев в руках у Геры скрипку.

Вопрос был настолько неожиданным, что та растерялась и не сразу ответила:

— Это скрипка Коли.

— Он здесь?

Гера отрицательно мотнула головой. Элиза протянула руку к инструменту.

— Можно? — попросила она.

Гера неуверенно передала ей скрипку. Элиза, прикрыв глаза, поднесла скрипку к плечу и провела смычком по струнам. Комната наполнилась тихим, пронзительным звуком. Это была не мелодия, а, скорее, стон, крик души, заключенный в дереве и струнах. Марго и Гера замерли, боясь пошевелиться. Звук проникал в самое сердце, вызывая щемящую тоску и смутное предчувствие беды. Элиза играла недолго, но в этих нескольких секундах уместилось столько боли и отчаяния, что не выразить словами.

— Я уже видела эту скрипку, ее невозможно забыть, она особенная. Этот завиток с мужской головой... — Девчонки в первый раз увидели улыбку Элизы: теплую и нежную. — К нам в город перед самой войной приезжал оркестр. Все говорили, что скрипичную партию будет исполнять мальчик-виртуоз, молодой Паганини. Зал клуба был забит до отказа. Он и правда играл божественно, особенно свой любимый «Сентиментальный вальс». — Элиза закатила глаза. — Его звали Коля, фамилию забыла. От нашей музыкальной школы я вручила ему большой букет цветов и попросила прийти к нам, выступить перед нами, и он согласился. Пришел, как и обещал, на следующий день. Сыграл несколько пьес, был таким простым и открытым. Мы все были очарованы им. Это его скрипка. Не знаю, как она оказалась здесь, но помню ее каждую деталь. Даже небольшую трещинку на деке, которую Коля показывал нам, говоря, что она появилась от чрезмерного увлечения игрой. Если скрипка у вас, то где Коля?

— Он погиб, — прочувственно произнесла Гера. — Наш санитарный поезд разбомбили немцы. Коля ехал с нами в одном вагоне. Его с оркестром эвакуировали.

Элиза взглянула на скрипку с тоской.

— Хорошо, что скрипка у тебя.

— Почему? — удивилась Гера.

Элиза подошла ближе, положив руку на плечо Геры. В ее глазах читались сочувствие и тепло.

— Скрипка хранит память обо всех, кто играл на ней. После Коли ты играла — значит, это твоя скрипка. Теперь в ней твоя душа!

Гера крепче прижала скрипку к себе. Она больше не чувствовала себя простой хранительницей чужой памяти. Теперь скрипка была частью ее истории, ее боли и надежды.

* * *

Дмитриевна тщательно готовилась к разговору с Марго. Личное дело воспитанницы было прочитано и переосмыслено не один раз.

— Маргарита, — начала Орлова, нарочито выдержав тягучую паузу. — В личном деле указано, что твой отец... умер.

Марго потупила взгляд. Орлова терпеливо ждала, не желая торопить. Неожиданное, подчеркнуто официальное обращение обескуражило девушку. В стенах детского дома она была для всех просто Марго, особенно для Дмитриевны.

— Я знаю, что он жив, — призналась Марго, решившись на откровенность.

Зачем скрывать то, что, возможно, и так известно? Раз спрашивает, значит, неспроста. Дмитриевна кивнула, словно подтверждая давнюю догадку, но во взгляде ее не было ни осуждения, ни удивления — лишь тихая, почти печальная констатация факта.

— Когда ты узнала, что он... — Орлова снова замедлила речь, давая Марго время собраться с духом, подобрать нужные слова.

— Еще в сорок третьем. А потом, в декабре сорок четвертого, мне об этом сообщил майор Белов и передал письмо от отца.

Тишину в кабинете нарушало лишь мерное тиканье ходиков на стене.

— Он звал тебя в Ленинград?

— Да.

— И ты не поехала, — тихо, с нескрываемым изумлением произнесла Дмитриевна, подавшись вперед и сложив руки на столе. Голос ее звучал почти как упрек.

— Нет!

— Почему?

— Чтобы освободить его от страха, — уклончиво ответила Марго, пряча взгляд и избегая прямого ответа.

— Какого страха? — нахмурилась Орлова.

Глубокий вздох вырвался из груди Марго, прежде чем она продолжила:

— Страха за меня. За мою жизнь.

Дмитриевна откинулась на спинку стула, задумчиво потирая переносицу.

— Маргарита, ты знаешь, какую высокую должность сейчас занимает твой отец? — почти шепотом, с придыханием спросила Орлова.

Марго хранила молчание.

— Мне позвонили из обкома партии, — нервно сообщила Дмитриевна. — Послезавтра ты сможешь обнять отца, — директор попыталась вложить в голос убежденность, но он предательски дрогнул.

— Я буду этому очень рада, — сдержанно отреагировала Марго.

Орлова почувствовала неловкость. Она понимала, что за внешней отстраненностью Марго скрывает океан эмоций. Попытки выудить из нее хоть слово давались с трудом.

— Ты сможешь провести с отцом столько времени, сколько захочешь.

— Я и рада этому, и мне не по себе... Я его почти не помню...

— Все будет хорошо, девочка моя, — утешала Дмитриевна, вкладывая в голос всю свою теплоту. — Теперь точно у вас все будет хорошо, — твердо произнесла она.

— Мария Дмитриевна, помните, что вы мне сказали, когда Белов забрал Вовку?

— Помню! — тихо ответила Орлова, не поднимая головы. — Что сейчас время такое — время терпеливых и ждущих!

— Я отца дождалась! — Марго вытерла тыльной стороной ладони внезапно набежавшие слезы. — И Вовку дождусь. Я буду ждать столько, сколько потребуется.

— Ты сильная, Марго, — тихо сказала Орлова, — я знаю. И Вовка у нас тоже сильный. Он справится. Мы его дождемся!

* * *

Проблема с Элизой возникла с самого начала, как только девчонка попала в дом. Ее никак не удавалось снять с учета как социально опасную. Это же клеймо, с ним — никуда.

— Какая от нее социальная опасность? — спрашивала она у майора Белова. — Девочка через такое прошла...

— Она потенциально неблагонадежная, — сухо ответил Белов.

— Потому что ее освободили американцы? — не выдержали нервы у Орловой.

— Проблема не в том, что они ее освободили, — майор Белов важно, как подобает хозяину положения, постучал пальцами по директорскому столу. — Она у них пробыла почти полгода, и как она там себя вела, нам неизвестно. Вдруг она шпион?

Орлова не сдержалась и хмыкнула, чем вызвала раздражение майора.

— Что я такого смешного сказал? — оскалился он, лицо исказила гримаса злости.

— Что шпионке делать в детском доме?

Орлова увидела хмурое лицо Белова, его напряженную челюсть и поняла, что представителям органов лучше лишнего не говорить.

Он побарабанил пальцами по столу, обдумывая ответ. Тишина в кабинете стала давящей, Орлова чувствовала на себе его пристальный взгляд. Наконец майор произнес, стараясь сохранять невозмутимый тон:

— Вы мыслите слишком прямолинейно, товарищ Орлова. Подросток, переживший войну, особенно восприимчив к влиянию. Вашей Элизе, как вы ее все здесь называете, могли промыть мозги, дать задание, которое она даже не осознает.

Орлова молчала, хотя внутри все кипело от возмущения. Она знала, что спорить бесполезно. Майор Белов продолжил, словно читая ее мысли:

— Мы не говорим, что она точно шпионка. Но мы обязаны проверить все возможные варианты. Это наша работа — обеспечивать безопасность страны. И мы не можем рисковать, закрывая глаза на потенциальную угрозу. Я могу вам сказать, почему Екатерина Мальцева, она же ваша Элиза, представляет социальную опасность, — разоткровенничался майор. — Потому что она видела то, чего ей видеть не положено. Она видела не только лагерь, она после освобождения видела другой мир — американский мир. А это... это совсем другая история. Вот почему мы обязаны быть бдительными, — он замолчал, ожидая понимания.

— Что конкретно вы хотите от меня? — наконец спросила Орлова, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Вы прекрасно знаете, — ухмыльнулся майор. — Нам нужна полная информация о ней: все ее контакты, привычки, увлечения. С кем она общается, что читает, куда ходит после школы. Любая мелочь может оказаться важной.

— Я устала, — тихо произнесла Орлова, надеясь, что в ее голосе не звучит страх.

Белов вскинул бровь, словно не поверил ее словам, его ухмылка стала еще шире.

— Товарищ Орлова, не стоит усложнять. Мы все делаем общее дело ради безопасности нашей страны. Вы ведь патриотка, не так ли? К тому же подумайте о последствиях. Не стоит рисковать своей репутацией и карьерой из-за пустых сантиментов. И потом, мы же прекрасно знаем, кем вам приходится Владимир Миненко...

* * *

Отца Марго знала лишь по газетным снимкам из «Правды». На них он всегда сиял улыбкой, крепко пожимал чьи-то руки, а взгляд его излучал непоколебимую уверенность.

Скучала ли она? Безусловно. В памяти сохранился тембр его голоса — низкий, обволакивающий, а еще не могла забыть руки отца. Огромные, теплые, они поднимали ее над землей, и тогда весь мир расцветал.

Встретив на улице мужчину со схожей выправкой или услышав знакомые бархатные ноты в чужом голосе, Марго болезненно сжималась. Вглядывалась, надеясь, но каждый раз перед ней оказывалось чужое лицо, и разочарование накатывало холодной волной.

Марго прижимала к груди номер «Правды», где отец улыбался с высокой трибуны, и беззвучно шептала: «Папа...»

И вот во двор детского дома въехала черная «эмка». Сердце Марго замерло. Из машины вышел человек, удивительно похожий на отца с фотографии. Он казался выше, взгляд — строже. Он окинул взглядом выстроенных в шеренгу детей и остановился возле Марго. Не в силах сдержать порыв, она шагнула вперед.

— Папа? — прошептала она.

Мужчина сделал шаг навстречу, и лицо его озарила широкая, теплая улыбка.

— Здравствуй, дочка, — произнес он и протянул руку.

Марго робко вложила свою ладонь в его. Тепло волной разлилось по всему телу, согревая до кончиков пальцев. Нахлынуло яркое воспоминание: огромные руки, поднимающие ее в воздух, взрыв смеха, ослепительный свет, ощущение невесомости, полета.

Отец вернулся. Обоим дали возможность вдоволь наговориться. Марго рассказывала о школьных годах, о первых разочарованиях и маленьких победах. Он слушал, и в его глазах отражались и боль, и гордость, и безграничная любовь.

— Может, вернешься в Ленинград? — спросил наконец.

— Папа, я бы с радостью, но...

— Если дело в твоей подруге...

— У меня их две — Гера и Элиза.

— Ну да...

— Дело не в них. Понимаешь, я нужна здесь. Я нужна нашему дому, который меня приютил, — Марго задумалась. — Даже не это, папа...

— Что же?

— Это трудно объяснить, — Марго волновалась. — Когда мама... ну, ты знаешь... тот, другой человек, которого мама заставляла называть отцом, сказал: этим она избавила его от страха. Я долго думала... — Марго пристально посмотрела на отца. — Я не хочу, чтобы у тебя появился страх из-за меня.

Воронов понял и тяжело вздохнул.

— Отчасти ты права, Маргарита.

— Меня все называют Марго. Иногда и королевой Марго.

Он прижал дочь к себе.

— Что я могу для тебя сделать?

Марго почувствовала, как на глаза набегают слезы, но она справилась.

На мгновение закрыла глаза, понимая — неизвестно, когда вновь увидится с отцом.

— Мне ничего не надо, я всего добьюсь сама — я же королева Марго, — и засмеялась. — Помоги, чтобы нашу сельскую школу сделали средней... И Элизе избавиться от клейма «социальная опасность». Она не виновата в том, что концлагерь освободили американцы.

Просьбы не смутили и не озадачили партийного начальника.

— Ты вся в мать, — он с гордостью посмотрел на дочь. — Все будет хорошо с твоей подругой, вот увидишь!

— Папа, почему бабушка маму называла стрекозой?

Воронов улыбнулся.

— Бабушка по-старомодному считала, что все балерины ветреные, но она ошибалась.

— Мама тебя очень любила, а жила с отчимом, чтобы не оказаться на улице. Она часто плакала. Это его злило. Он часто говорил: «Забудь его! Его нет!», а мама отвечала: «Не могу!»

— Это я ее уговорил выйти замуж за моего друга, чтобы вы ни в чем не нуждались.

— Ты?!

— Да, я! — он вздохнул и по привычке огляделся — не слышит ли кто.

— Папа! Он же предал вашу дружбу. Он же тебя оклеветал! — кипятилась Марго.

— Знаю, — тихо ответил Воронов.

— И что?

— Время такое...

— Терпеливых и ждущих, — добавила с горечью Марго.

Отец ничего не ответил, лишь сильнее прижал к себе дочь.

9

В сорок восьмом году, окончив школу, Марго, Гера и Элиза отправились в Хабаровск поступать в вузы.

Марго мечтала стать учительницей математики — это был ее любимый предмет. Элиза подала документы на факультет иностранных языков, а Гера решила посвятить себя музыке. После вступительных экзаменов оказалось, что Элизе и Марго не хватило всего одного балла для поступления. Вечером в комнате общежития, куда их временно пристроила знакомая комендантша, состоялся совет.

— Девочки, я одна без вас учиться не смогу, — Гера сказала это торопливо, будто проглотила горькую пилюлю.

— Ты серьезно? — удивленно переспросила Марго. — Ты ведь поступила! — в ее голосе звучала досада.

С первых дней в чужом городе Марго вела себя как настоящая студентка, а для подруг — как великодушная наставница, старшая сестра.

— Я без вас учиться не буду, — твердо повторила Гера. — Не хочу оставаться в этом городе одна. Или все вместе, или...

Элиза перебила ее:

— Значит, возвращаемся домой, в Воскресенское.

— Да, — кивнула Марго. — Будем маме по дому помогать, а на следующий год... — она украдкой взглянула на Геру, ища одобрения, — будем снова поступать.

— Мама сначала нам устроит нагоняй, — рассуждала Элиза. — Потом обнимет и скажет, как соскучилась, — она посмотрела на приунывших подруг и вздохнула. — Она так надеялась, что мы будем первыми студентками в семье, а мы ее подвели.

— Она все поймет, — Гера попыталась улыбнуться.

— Почему ты Дмитриевну называешь мамой, ведь твоя же вернулась? — Марго пристально посмотрела на Геру.

В их отношениях закралась какая-то неловкость, недосказанность. Возможно, причиной было то, что в их неразлучном трио первую скрипку неожиданно стала играть Элиза. Орлова чаще передавала поручения именно через нее. Марго ревновала, не могла скрыть досаду. Элиза смотрела на нее с сожалением, но и с раздражением: «Не хочешь — не делай, никто тебя не заставляет». Марго сбивало с толку это «мы». «Мы» в понимании Элизы — это дом. Орловой удалось главное: внушить воспитанникам, что дом — это то место, где они живут, где им всегда рады и где обязательно протянут руку помощи в беде.

С возвращением матери из лагеря Гера стала больше времени проводить с ней, отдалившись от подруг. Теперь ей было кому излить душу.

Ситуацию исправила Дмитриевна.

— Тебе плохо? — неожиданно спросила она у Марго. — Ты считаешь, что подруги не ценят то, что ты для них делаешь? — директор обняла Марго за плечи. — Ты думаешь, Элиза не понимает, что ее сняли с учета благодаря тебе и твоему отцу? И дому ты помогаешь через отца, — Орлова по-матерински прижала к себе Марго и поцеловала в макушку. У девушки перехватило дыхание, на глазах выступили слезы. И начался долгий разговор, обычный между матерью и взрослой дочерью.

— У тебя еще будет время проявить характер, — Орлова произнесла эти слова мягко, но уверенно, не отводя взгляда от напряженного лица Марго. — Сейчас зона твоей ответственности — Гера.

— Гера? — удивилась Марго.

— Она тебе доверилась в том эвакуационном поезде. Она ваш камертон, берегите с Элизой девочку.

Марго вдруг вспомнила, как Гера, испуганная и потерянная, искала ее глаза в суматохе эвакуации, и поняла, что Дмитриевна права. Гера действительно была хрупкой, нуждающейся в заботе, и именно она, Марго, должна была стать для нее опорой, как и для Элизы.

— Я поняла, Мария Дмитриевна, — тихо сказала Марго, вытирая слезы. — Я позабочусь о Гере. И об Элизе тоже. Мы будем вместе.

Дмитриевна улыбнулась.

— Вот и умница, — сказала она, отпуская Марго. — А теперь иди. Девочки ждут. И помни: дом всегда с вами, где бы вы ни были.

Марго с улыбкой посмотрела на Геру.

— Можешь не отвечать, Дмитриевна для всех нас — наша общая мама, и ничего здесь доказывать и объяснять не надо.

— Значит, возвращаемся, — решительно подытожила Элиза.

— Да!

— Гера, не пожалеешь?

— Нет!

— Завтра на поезд — и домой, — с облегчением выдохнула Марго.

Дмитриевна, как и предполагали девушки, встретила их объятиями и радостными причитаниями, а вечером, за чаем, не удержалась и слегка отчитала.

Первый год Гера работала библиотекарем в селе. Элиза и Марго помогали воспитателям с малышами, им это очень нравилось.

Весной сорок девятого года Дмитриевна тяжело заболела, слегла.

— Раньше работала, а теперь скриплю, как несмазанная телега, — жаловалась она. — Слабость, разбитость во всем теле, будто на рудниках отпахала, а ведь ничего за день и не сделала. Встать-то нет сил.

— Закрыть бы эти рудники, — сочувствовала мать Геры, хлопоча по дому.

— Закроют, — проворчала Мария Дмитриевна. — Только вместе с рудокопами, — добавила она с горькой иронией, устало закрыв глаза.

Узнав о болезни мамы, девочки наотрез отказались ехать на учебу летом.

— Останемся с мамой, мы нужны дому, — за всех решила Элиза, и подруги с ней согласились.

Но Дмитриевна, несмотря на болезнь, хозяйским голосом снова отдавала распоряжения.

Летом сорок девятого года «три грации», как Марго, Геру и Элизу называла Орлова, поступили в педагогический институт.

Плохая новость пришла в конце октября. «Мария Дмитриевна умирает. Приезжайте». Телеграмму отправила мать Геры.

Они вспомнили первую встречу директора со своими подопечными.

— Хочется плакать, но не могу... Война выжгла все слезы, — сказала она тогда.

А в ответ прозвучало:

— Слезы нам еще пригодятся.

Сергей СОЛОУХ

ЕЩЕ ШЕСТЬ ШТУК[1]

* * *

Если переводим прозу
В килограммы или тонны,
То, конечно, можно с воза
Сбросить просто миллионы.

Поэтические хляби
Если в литры перегоним,
Станет много легче бабе,
Что забыта на соломе.

Ну если все смешаем,
Вес и рост, просо и жмых,
Благ кобыле предвещаем
И небесных, и земных

* * *

Когда иконы жгли,
Босх думал, это конец света.
Ангел снесет все, как комета,
Очистит лик нашей Земли.

Когда евреев жгли,
Адорно ждал исчезновенья
Стихов и речи как явления
В крушенья общего пыли.

Сергей Солоух — писатель, эссеист, переводчик. Родился в 1959 году в Ленинске-Кузнецком. Окончил Кузбасский политехнический институт. Автор нескольких романов: «Шизгара» (1993), «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева» (1996), «Игра в ящик» (2011) и др., а также книги «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека „Похождения бравого солдата Швейка“» (2015). Лауреат премии им. Ю. Казакова за лучший рассказ года (2003, 2004, 2005). Живет в Кемерове.

[1] Продолжение линии стихотворных публикаций автора в «Волге» и «Новом мире» с названиями «Шесть штук», «Пять штук» и т. д.

Меж тем, чего б ни напекли
Столетья и тысячелетья,
Веко не дрогнет на рассвете.
Ты, братец, только погугли.

* * *

Просто устройство арбуза,
Сложно устройство жука.
Линзы для носа обуза,
Плывут в никуда облака.

Реки текут на север,
А некоторые и на юг.
Лютик похож на клевер,
А треугольник на круг.

Смысл всего мирозданья
Здравый и будет таков,
Вечный, как Пушкина няня,
Поручик у Гоголя П-ов.

Он симулякр контргруза
И выручает пока.
Просто устройство арбуза,
Сложно устройство жука.

* * *

Пригов знал милицанера,
А его милицанер.
Их гармония пример нам,
Общепринятый размер.

Общепринятая форма
Составления стиха
Из совхозных комбикормов
Без забот и без греха.

Пригов знал милицанера,
А его милицанер.
За веревку тянешь мерно,
Тень показывает х...

А живой — язык и брюхо,
Силос съест, заварит чай.
В темноту зовет старуха.
Отвернись, не отвечай!

* * *

В наволочку складывать стихи,
Пусть и плохи,
Это традиция на Руси,
Иной не проси.

Москва — ОСАГО,
В ней два оврага.
Господи, объявись
И скажи: брысь...

...Сивка — река без берегов,
Бурка — пальто без рукавов,
Листик стоит пред травой.
Завтра каурка уходит в запой.

* * *

C'est comme ci et c'est comme ça.
Лег поэт под образа.
Он не хочет умирать,
Просто чуточку поспать.

Но рубахи белизна —
Образ вечности, не сна.
Не открыть уже глаза.
C'est comme ci et c'est comme ça[2].

[2] И так, и эдак.

Владимир ДЕЛБА

РАССКАЗЫ

ОПЛАКИВАНИЕ В АДЗЮБЖЕ

Звонок телефона, доносивший из кухни, отличался от обычного прерывистыми короткими трелями. Значит, межгород, — решил я. Поговорив с кем-то, отец, постучавшись, вошел в мою комнату.

— Звонила Зина, начальница нашего сельского почтового отделения. Старик Башныху ушел из жизни! Ты помнишь его?

Конечно, я помнил, ведь он был дедом моего адзюбжинского друга и ровесника Джансуха. Правда, время немного размыло образ, но в памяти сохранился высокий, немного сутулый, суровый, неулыбчивый седой человек с большой бородой и кустистыми бровями, одетый постоянно, как и многие селяне, в выцветшую полувоенную рубашку-«сталинку» и брюки галифе.

— Надо ехать в Адзюбжу на оплакивание. Желательно, чтобы поехал и ты, раз уж находишься в Абхазии. — Предложение родителя звучало как приказ, хотя необходимости в нем не было, я поехал бы в любом случае.

Адзюбжа — наше родовое село в Восточной, Абжуйской Абхазии. Когда поселились в нем мои предки, носители фамилии Делба, мне не было известно точно, но факт, что очень давно. Крепкий крестьянский род обладал достаточно большим наделом так называемой общественной земли, принадлежавшей всей общине, выделявшейся безвозмездно той или иной семье без права продажи или дарения.

К чести моих прародителей, трудившихся на земле, они понимали, что светлое будущее может принадлежать их потомкам только при наличии у тех образования! Потому, очевидно, одна из первых в Абхазии начальных школ была открыта именно в Адзюбже. Действовал в селе и небольшой православный храм — церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Село большое, красивое, уютно раскинувшееся вдоль шоссе на Очамчиру и морского берега, в котором, помимо абхазских семей, проживали мегрелы, русские и даже единственная в Абхазии семья чернокожих африканцев по фамилии Абаш, завезенных

Владимир Делба — абхазский прозаик, поэт, эссеист. Пишет на русском языке. Родился в 1946 году в Сухуми. Секретарь Ассоциации писателей Абхазии, член Русского ПЕН-Центра. Сопредседатель литературного Совета Ассамблеи народов мира от Республики Абхазия. Публикуется в СМИ Абхазии, России, США, Израиля, Украины, Черногории, Казахстана. Автор десяти книг. Дипломант 26-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (2013). Лауреат Международного конкурса «Живая связь времен» (2014). Лауреат Международной премии им. Леонардо да Винчи (2016). «Серебряный» лауреат Литературного фестиваля «ЛиФФт» (2017). Лауреат Международной литературной премии им. Фазиля Искандера (2019). Награжден Грамотой Президента Республики Абхазия (2018). Кавалер ордена Республики Абхазия «Ахьдз Апша» («Честь и слава») III степени за заслуги в укреплении культурных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

когда-то, в середине девятнадцатого века, в наши края аж из самой Эфиопии! Эфиопы, кстати, быстро натурализовались и уже через поколение говорили только на абхазском, да и считали себя абхазами.

Пока мы ожидали дядю Бориса, пообещавшего отвезти нас в Адзюбжу на своей «Волге», я вспомнил Джансуха, которого мы, друзья, называли Джоном, его нелегкую судьбу, наше детство. Вспомнил и его отца Аслана, чей «вагон», собственно, и покатился когда-то странным, драматическим маршрутом по рельсам Судьбы.

Встретив Победу в Чехословакии с солидным количеством боевых наград, осенью 1945 года возвращался он в родные края. Путь предстоял сложный и долгий. Во время ожидания очередного воинского эшелона на пустынном полустанке недалеко от полностью сожженного немцами Курска к Аслану вдруг подошла совсем еще юная девушка. Ветхий ватник, темный шерстяной платок, от которых пахло дымом, бледная, будто прозрачная кожа, большие глаза, в которых, казалось, навек поселились страдание и страх. Девушка странно, невидящим взглядом смотрела на Аслана и шевелила губами, не произнося ни слова.

Усадив незнакомку на скамейку, Аслан развязал вещмешок, отрезал приличный ломоть от буханки хлеба, посыпал его крупной солью, уложил сверху большой кусок сала и протянул девушке. Та медленно, осторожно приняла дар, не веря, видимо, в такой неожиданный щедрый подарок, и очень аккуратно, придерживая хлеб в ладошке, дабы не потерять ни крошки, стала есть.

Глаза солдата повлажнели.

Неосвещенный полустанок продувало холодным колючим ветром, визгливо скрипели подвешенные к столбу часы с выбитым стеклом и без стрелок, в сохранившейся части полуразрушенного павильона кто-то зажег то ли свечу, то ли керосиновую лампу, и этот единственный, появившийся непонятно откуда в кромешной темноте неяркий свет дарил, как ни странно, хрупкую надежду на будущее.

И пока девушка ела, в голове Аслана неожиданно созрел план.

— Тебя как зовут? Ирина? Ирина, здесь ты совсем одна, насколько я понимаю. Так вот, я принял решение: ты едешь со мной, ко мне на родину, в Абхазию! И это мое решение не обсуждается!

Вначале все у них складывалось довольно удачно: Аслан получил работу пожарного, молодым выделили отдельную комнату в старом доме в центре столицы. Комната, правда, выходила, как и несколько других, на общую веранду второго этажа, кухня же и туалет, тоже общие, приютились на первом этаже. Ванной комнаты не было вообще, но это особо не мешало жильцам, ибо в центре города в те годы работали три или четыре общественные бани. Ведь главное — свое жилье!

Ирина оказалась хорошей хозяйкой: неплохо готовила, относилась к мужу с уважением и нежностью, в их комнате всегда было чисто и уютно. Единственное, что немного беспокоило Аслана, так это замкнутость и неразговорчивость молодой жены, правда, он объяснял все ее природной застенчивостью и непривычным образом жизни в Абхазии. А иногда в глазах Ирины вновь появлялся страх, который Аслан хорошо помнил с первой их встречи.

В положенный срок в семье появилось прибавление — сын, которого назвали Джансухом. И вот как раз после рождения ребенка у Ирины начались проблемы с головой. Она перестала узнавать окружающих, путала имена, отказывалась кормить малыша грудью. Видимо, сказалось перенесенное во время войны.

Диагноз, поставленный специалистами, оказался неутешительным — шизофрения. После курса лечения женщине вроде бы стало лучше, но на второй день после выписки Ирина исчезла из дома! Навсегда! Куда и как — осталось тайной.

Аслан был вынужден отправить крохотного Джансуха в Адзюбжу, к дедушке с бабушкой. На время, как предполагалось. Но, как известно, мы, люди, предполагаем, а решения принимаются на Небесах!

Спустя три месяца Аслан посватался к сестре сослуживца и вскоре сыграл свадьбу. Очевидно, он мечтал, что новая его жена, абхазка из высокогорного села с красивым именем Лилия, заменит родную мать маленькому Джансуху. Но увы! Девица оказалась сварливой и ленивой. К тому же она, что было крайне странно, ненавидела детей — как своих, которых категорически отказывалась заводить, так и тем более чужих.

В общем, помучившись какое-то время, вынужден был Аслан скрепя, как говорится, сердце отвезти Лилию домой, вернув родителям, а Джансух так и остался в доме деда.

«Вагон» же судьбы Аслана тем временем, образно говоря, достиг тупика, где заканчиваются рельсы. Джансуху только-только исполнилось три годика, когда его отец геройски погиб при тушении пожара, успев вынести из огня двоих детей.

В семь лет, как и было положено, старик Башныху, ставший к этому времени вдовцом, трудившийся учетчиком в колхозном пункте приема сельхозпродукции, определил внука в первый класс адзюбжинской начальной школы.

Так они и жили вдвоем, дед и внук. Внук учился в школе, помогал деду по хозяйству и мечтал стать военным летчиком...

Автомобильный сигнал прервал мои воспоминания. Пора было ехать. По гладкому асфальту шоссе мы быстро и комфортно добрались до поворота на Адзюбжу. А вот тут пришлось немного помучиться на грунтовой дороге, объезжая ямы и колдобины, тем более что старый каштановый дом, построенный, судя по всему, еще дедом или даже прадедом Башныху, стоял на пригорке в самой дальней части села.

Знакомый дом, привычная для глаз, соответствующая ситуации картина.

В абхазских селах — неважно, случается что-либо грустное или радостное — моментально приходят на помощь родственники и соседи. Вот и сейчас, несмотря на то что старик скончался совсем недавно, все необходимое уже было организовано.

Проводы человека в последний путь, вернее, ритуалы этих проводов формировались веками. В Абхазии, в зависимости от ее конкретной части, они могли немного отличаться, причем некоторые потихоньку отмирали, уходили в прошлое. Однако оставшиеся, как правило, соблюдались повсеместно, особенно в селах.

Машину мы оставили за околицей, и пока шли через огромный двор с развесистым ореховым деревом к дому, я внимательно оглядел все, что встречало нас.

Прямо перед фасадом дома, недалеко от входных дверей, под небольшим навесом покоился на кушетке усопший, пока еще без гроба. Справа, на отдельном столике была выставлена большая его фотография в массивной темной раме. Еще один столик, специально для головных уборов, стоял перед навесом. Рядом с ложем покойника, на листе фанеры можно было разглядеть большой фибровый чемодан с металлическими уголками. Согласно традиции, это — аншьан, личные вещи покойного, собранные как бы в дорогу.

С двух сторон от изголовья Башныху сидели женщины в черных одеяниях, так называемые плакальщицы, а перед навесом выстроились мужчины, близкие родственники, тоже в темных одеждах.

Второй навес, гораздо большего размера, еще не полностью смонтированный, как раз устанавливали в стороне, рядом с летней кухней-апацхой, над которой вил-

ся дымок. Там готовили еду для поминального стола. Собственно, сегодня угощение еще не было поминальным в буквальном смысле слова. Опять же согласно традиции, необходимо было накормить людей, приходивших или приезжавших на оплакивание издалека.

Как и на предстоящих поминках, набор блюд был крайне скромным. Мясо не допускалось принципиально. Обычно на стол выставлялись свежий хлеб, акуд — вареная фасоль со специями, соленья своего приготовления, иногда и сладкий плов. Ну и, конечно, домашнее вино.

Когда наша небольшая делегация приблизилась к навесу, плакальщицы поднялись со стульев и дружно запричитали, царапая свои щеки ногтями. Это также было данью традиции, частью ритуала.

Постояв у ложа, поклонившись усопшему, мы, выразив соболезнования родственникам, отошли в сторону, присоединившись к группе селян, стоявших поодаль.

Проходя мимо столика с фотографией Башныху, я почему-то задержал на ней свое внимание. Было нечто странное в этом портрете, но что именно, понять сразу я не мог. Кого-то старик на фото мне очень напомнил, но кого?

Изображение усопшего, живописный портрет или большое фото являлось обязательным атрибутом проводов в последний путь.

Как правило, им запасались заранее. Семьи состоятельные заказывали портреты у живописцев, остальные заранее возили, если была возможность, своих родственников в фотоателье, ну а чаще всего просто передавали маленькие по размеру фото на увеличение. Эти фотопортреты так обычно и назывались — «увеличение». Создать качественное «увеличение» было задачей нелегкой, как правило, специалист помимо обычной фототехники был обязан владеть искусством ретуши, причем иногда заказчики требовали сделать из черно-белого оригинала цветной «шедевр». Так что порой было трудно узнать реального человека в изображении на фотопортрете.

Очевидно, с портретом Башныху произошло именно это — мастер чересчур увлекся ретушированием. Я обратил внимание, что и мой отец смотрел на изображение старика несколько удивленным, чтобы не сказать странным взглядом.

В целом качество работы было на высоте, но!!! Гладкое, без морщин лицо, ухоженная борода, пристальный взгляд умного, образованного человека (коим усопший не являлся) и какой-то «старорежимный» костюм немного легкомысленного фиолетового цвета. Вряд ли у деда Джона мог быть такой. Ну а если придираться по полной, слева из-под бороды выглядывал фрагмент какого-то непонятного аксессуара, но очень напоминающего «крылышко» галстука-бабочки. Ну, это, видимо, вконец заигрался уже я!

День потихоньку уходил, тени стали длиннее и четче, контур дальних гор прорисовался загадочным, едва заметным свечением, в общем, вечер настойчиво предъявлял свои права на всей территории Абхазии. Под навесами включили электрическое освещение. Иссяк и поток желающих выразить именно сегодня свое соболезнование семье покойного.

Теперь можно было усаживать за стол оставшихся во дворе родственников.

Великий Фазиль Искандер когда-то подметил, что в Абхазии немного по-разному провожают в последний путь людей, ушедших, по меркам долгожителей, рано, безвременно, и тех, кого Всевышний призвал к себе в очень-очень почтенном возрасте. Как в случае с Башныху.

Так что застолье, пройдя обязательную печальную тональность, медленно перешло в привычный, неторопливый бытовой регистр общения близких людей, не видевших какое-то время друг друга.

Джансух присоединился к компании, сев рядом со мной.

— Старик, как же я рад тебя видеть! Жаль, что повод печальный, но смерть, как и рождение, увы, незримо сопровождает всех нас постоянно! — Джон любил пофилософствовать. — Как там у вас в Москве? — приобняв меня за плечо, начал разговор друг моего детства.

— Да в Москве все по-старому! И в самом городе, и у меня в доме! Брежнев вот опять вчера по телевизору выступал, об очередных успехах рассказывал! Ты-то сам как? Знаю, работаешь в Очамчире, на чаеразвесочной фабрике, растишь двоих спиногрызов! Это здорово! Имею в виду твоих пацанов!

— Вова, отстал чуток от жизни, у меня теперь три, как ты выразился, спиногрыза. Я счастлив, ты же знаешь, мне очень повезло с женой. С радостью передам Амре привет от тебя! У меня там хороший дом, и я пытался забрать деда к себе, но бесполезно. Как рыба в воде он ощущал себя только в Адзюбже! Да и крепкий был, к тому же родня присматривала за ним. Я же приезжал регулярно на выходные.

Ладно, вижу некий немой вопрос в твоих глазах. Да и не только твоих! И догадываюсь — какой именно. Постараюсь удовлетворить твое любопытство, но с условием, остальным ни слова. Договорились? Если только втихаря дяде Мише. Он человек надежный.

Короче, слушай внимательно и не перебивай. Начинаю издалека. Хочу разбудить и в твоей душе былую страсть, говоря торжественно! А предмет общей нашей страсти ведь был великолепен. Не знаю, как с тобой, но меня каждую ночь преследовали видения, я испытывал неимоверное наслаждение от обладания им, мы вдвоем переживали фантастические эмоции, сливались, становились одним целым и улетали в космос!!! Но каждое утро я пробуждался буквально в слезах, ибо ОН, увы, оставался там, во сне!

Ты же помнишь эту красоту?! Это совершенство?! Элегантная, удобная рама темно-синего или шоколадно-коричневого цвета с золотистой надписью «Орленок», сверкающий никель педалей, регулируемые по высоте руль и сиденье! И, о чудо, фонарик, работавший от миниатюрной динамо-машины! Ну вот, и в твоих глазах появилась ностальгическая грусть! Значит, и ты не забыл?!

Ну да, конечно же! Я ведь помню, как ты, мальчишкой, укатил отсюда, из Адзюбжи в Сухум на велосипеде дяди Ясона — без спроса, никого не предупредив. Представляю, что пережил тогда бедный твой дядя!

Но мое увлечение имело под собой и вполне практическую базу, ибо добираться из дедушкиного дома до школы было мероприятием очень сложным, долгим к тому же порой рискованным, особенно в дождь, когда грунтовая дорога превращалась в липкое глиняное месиво. На велосипеде же можно было, минуя грунтовку, перебраться через железнодорожные пути и тропинками выехать на шоссе, ну а там по асфальту домчаться до школы за считаные минуты.

Попадая изредка в столицу, я обязательно шел к магазину спорттоваров «Динамо» и подолгу, пуская слезу, любовался выставленным на витрине велосипедом. Ценников тогда не прикрепляли, но стоимость мечты мне была известна — сорок три рубля! Да, для тех времен деньги немалые, но и одновременно не такие уж заоблачные. Но для меня — да, заоблачные! Ибо зарплата у деда более чем скромная, да и сам старик был, светлой ему памяти, человеком прижимистым. И хоть обла-

дал он, я это знал точно, некоей заначкой, выпросить деньги на велосипед у моего деда?! Нет, Вова, у кого угодно, только не у него!

И вот как-то, побывав на очередных похоронах, зовет дед меня и неожиданно спрашивает, не слышал ли я, случайно, где хорошо делают «увеличение» —в Дранде или в самой столице?

— Тебе зачем, дедушка? Думаю, рано о своих проводах беспокоиться! А меня на кого оставишь? — неожиданно плаксивым голосом произнес я.

— Удзири, дад (слушай, малыш)! Никто пока никуда не собирается. Но о некоторых вещах нужно думать заранее, — мягко парировал Башныху. — Вот тебе два рубля, поезжай в город и все разузнай.

— Деда, прибавь еще один, в кино схожу. Там, я знаю, про Чапаева показывают!

Чапаев был для моего деда, пожалуй, одним из немногих исторических авторитетов, наряду с Хаджаратом Кяхба и Мелитоном Кантария, так что в данном случае я был уверен, что получу вожделенную трешку. И я ее получил!

Путь к кинотеатру «Сухуми» лежал мимо спортивного магазина, и, конечно же, я не устоял перед соблазном, как всегда, пообщаться, хоть и сквозь витринное стекло, с мечтой всей моей жизни.

И пока я мысленно гладил руль «Орленка», регулировал под себя удобное кожаное сиденье, в голове моей внезапно возник план, не план даже, а, скорее, безумная идея, от которой меня сначала взяла оторопь, но которая распространилась внутри меня с ужасающей скоростью, не оставляя шансов на сопротивление. И я сдался!

Вернувшись домой, доложил деду, что нашел через директора Дома пионеров лучшего в городе специалиста по «увеличению», встретился с ним, все узнал, посмотрел образцы. Классно работает, исполняет, хоть и берет дорого. Нужна любая портретная фотография, независимо от размера и качества, все остальное — мастерство фотохудожника!

Еще я с благодарностью сообщил, что получил огромное удовольствие от фильма, а на сэкономленный рубль умудрился купить еще и два лотерейных билета.

Докладывая, я растроганно попытался обнять деда, хотя тот всякие щенячьи нежности терпеть не мог.

— Хорошо, дад, молодец! Так сколько конкретно просит мастер за свою работу?

Конечно, я не знал, как буду выкручиваться, куда приведет меня «задумка», но коль скоро я пошел на обман, на сделку с совестью, то и играть решил по-крупному. Теперь уже не могу сказать, почему я запросил именно столько.

— Шестьдесят рублей, деда!

Озвученная мною цифра ввела старика в шок! Он побледнел и замахал руками, как бы отвергая задним числом саму идею создания портрета.

Однако спустя некоторое время пришел в мою комнату, тяжело вздохнул и произнес неожиданно сиплым голосом:

— Поедешь в следующее воскресенье, подготовлю фото и деньги.

Неужто сработало?! Нужно было еще и прожить грядущую неделю! Знаешь, Вова, я ведь до сих пор помню, как медленно сочилось время, как я считал, нет, не дни и даже не часы, а минуты и секунды!

И вот наконец сижу я в автобусе, направляющемся в столицу. По настоянию деда деньги — три десятки, четыре пятерки, две трешки и четыре замусоленных рублевки, завернутые в кусок марли, — убраны в потайной самодельный карманчик внутри брюк, под поясом.

Автобус бежит по шоссе довольно резво, мне же кажется, что он стоит на месте, так не терпится осуществить первый этап задуманного.

Но вот наконец-то город! Иду в ближайший общественный туалет, извлекаю и перекладываю пятирублевую купюру из марлевого пакетика в карман. У меня ведь праздник, который надо отметить, и я знаю как!

Когда-то наш класс возили в столичный музей. После экскурсии сопровождавшие учителя и члены родительского комитета угощали нас мороженым. Ничего вкуснее в своей жизни я не ел, тем более в компании игривых, веселых медведей, нарисованных на стенах кафе. Туда-то, в то самое кафе напротив кинотеатра «АПСНЫ», и несли меня ноги.

И оторвался я по полной: марципаны с какао, слоеный хачапури и, конечно, мороженое в серебряной вазочке, политое пахучим сиропом, посыпанное дробленными орешками. Сейчас, Вова, и кафе того нет, и мороженого тоже! Увы!

Ну теперь подходим с тобой к главному событию дня, ибо подхожу я к «Динамо». Здесь можно смело доставать заначку. Прошу продавца распаковать синего «Орленка», вытираю заранее заготовленной тряпкой масляную смазку и... — внимание — фанфары! — оплачиваю покупку в кассе!!!

Продавец помогает мне установить цепь, проверяет давление в шинах, я регулирую руль и сиденье, велосипед при этом бликует, отражая солнечный свет, как бы подмигивая по-дружески мне, я усаживаюсь в седло и, чудо из чудес, легко и плавно трогаюсь по проезжей части. Ветерок треплет волосы, свистит в ушах, я не то что на седьмом — на семидесятом, а возможно, и на сто семидесятом небе от счастья!!! Ну, ты меня понимаешь.

Как мне выкручиваться, я, откровенно, не знал. В голову никакие мысли не шли, только в памяти возник вдруг какой-то портрет, кого-то, кто напоминал мне деда, очевидно виденный ранее. Но где? Ну ладно, «пропадать — так с музыкой». Какое-то время я для себя выторгую, а там...

Деду я радостно сообщил, что поручение его выполнил: фото и деньги передал, портрет будет готов через два-три месяца. А еще, захлебываясь от эмоций, поделился неожиданно свалившимся на меня счастьем!

— Ты представляешь, деда, один из моих лотерейных билетов выиграл велосипед!!! Велосипед, дедушка!!! А учитывая, что билет куплен на твои деньги, могу смело считать «Орленок» твоим подарком!!! — возбужденно тарахтел я. Поверит или нет?!

Бажныху почесал затылок и неожиданно для меня удовлетворительно хмыхнул.

— Поздравляю! — с важным видом произнес он. — Велосипед — что?! Вот мне наш председатель колхоза рассказывал, что один сухумский грек в лотерею целую машину выиграл! Машину! «Волгу»! Так-то вот!

Ты не представляешь, как я упивался своим счастьем, до сентября оставался еще почти месяц, «медовый» месяц, мой и «Орленка»! (Правда, тогда я еще не знал, что означает эта фраза, но что красивое и радостное, так это факт.) Я объездил на нем все село, все дороги, дорожки и тропинки, и минимум два раза в неделю выбирался в столицу.

Во-первых, ездить по асфальту куда кайфовей, чем по грунтовке, а во-вторых, было приятно, когда тебе вслед с восхищением или с завистью смотрит большинство городских мальчишек.

Время же утекало, неумолимо приближая меня к финалу истории. Каким он будет, этот финал, я понятия не имел, даже думать боялся. Грустным, скорее всего. Но судьбе было угодно сжалиться надо мною.

Как-то возвращаясь из города домой, проехал по улице Церетели до проспекта Мира, пропустил встречную машину и медленно свернул в сторону Красного моста. Но не успев проехать и несколько метров, резко дал по тормозам! Почему?! Что заставило меня остановиться, что привлекло мое внимание?!

Медленно слез с велосипеда, в нерешительности подошел к витрине магазина учебных пособий. Вова, ты же хорошо помнишь его, этот магазин? Мы иногда вместе бегали, чтобы заглянуть там в микроскоп или со страхом прикоснуться к скелету, висящему на стене. Скелет, как выяснилось, был пластмассовым, но мы были уверены, что он настоящий.

Так вот причина резкой моей остановки! С портрета в темной раме, выставленного в витрине, на меня пронзительным взглядом внимательно смотрел седой человек с большой бородой, похожей на бороду деда. Да и в целом издалека он напоминал Башныху.

Закатив «Орленка» внутрь магазина, спросил у мужчины за прилавком, продается ли портрет с витрины?

— Ты имеешь в виду Чарльза Дарвина? Конечно, продается! Прекрасный портрет, всего один остался! — с интересом разглядывая велосипед, произнес мужчина.

— И сколько же он стоит? — с замиранием выдавил я из себя.

— Восемь рублей двенадцать копеек, — последовал ответ.

Так вот оно, возможное спасение! У меня даже закружилась голова!

Дело в том, что из тех самых шестидесяти рублей я сохранил десятку, своего рода — неприкосновенный запас, и не притрагивался к нему, несмотря на регулярные соблазны. Она так и хранилась в бинте, под моим поясом.

— Дядя! — начал фантазировать я. — Дело в том, что у меня задание пионерской организации купить именно этот портрет для подарка на юбилей директору школы. Хочу попросить вас! Я оплачу его сейчас, чтобы вы не волновались, но заберу завтра, когда буду без велосипеда. Вы не могли бы сейчас снять портрет и надежно упаковать его? Спасибо заранее вам!

— Да без проблем! Я выпишу тебе чек, чтобы и ты не волновался! Ну вы, пионеры, молодцы, однако! Знатный подарок будет, даже завидую вашему директору!

Ночью я, конечно же, не сомкнул глаз. Ведь днем должен разыграться последний акт задуманного мной спектакля! И лишь потом можно будет сказать, что же получилось — драма, трагедия или фарс!

Не буду утомлять подробностями, как я вез на автобусе, а потом тащил пешком неудобный огромный пакет. Это — мелочи жизни!

Сознательно не оставил его на ярко освещенной солнцем веранде, а внес в комнату деда, где всегда царил полумрак, и осторожно установил на комоде. Вскоре явился Башныху.

— Ты чего улыбаешься? Отпустили с уроков? Вам, теперешней молодежи, лишь бы ничего не делать! — С годами старик становился все ворчливей. А еще цифры, с которыми ежедневно имел дело учетчик, вконец испортили его зрение. Стыдно сейчас говорить, но я надеялся, что подслеповатость деда станет моей союзницей.

— Да, деда, отпустили! Так я съездил в город и привез твое «увеличение»!

— Да?! — Башныху явно обрадовался. — Показывай!

В комнате мы аккуратно, как просил дед, развязали шпагат и развернули упаковочную бумагу. И перед нами на портрете во всей красе предстал великий британский ученый девятнадцатого столетия — Чарльз Дарвин.

Тишина в комнате стала на время, как говорится, угрожающей. Сердце мое остановилось... Но тут я вдруг увидел, как мой бедный, обманутый мною, преданный за велосипед дедушка, одобрительно причмокивая, с восторгом гладит портрет!

— Да-а! Мастер великий! Не жалко этих денег! Помоги его снова упаковать! И иди отдыхай, заслужил сегодня!

Чуть позже, когда я возился на веранде с «Орленком», появился Башныху и, улыбаясь, протянул мне пятирублевую купюру! ПЯТЕРКУ?! МНЕ?! МОЙ ДЕД?! Сказать кому-нибудь, не поверили бы!

И больше тот портрет я не видел. Только сегодня, когда женщины собирали вещи старика для дальней дороги, нашли в глубине шкафа пакет. Развернули, похвалили качество, пустили слезу... и поставили, как положено, на столик. И все приходящие молча склоняли голову перед усопшим и его изображением в раме. Все, кроме тебя и дяди Миши. Ну вот, старичок, признался тебе в давнем своем грехе, и, знаешь, стало легче. А Башныху, несмотря на суровость, очень меня любил! Он-то меня простит!

Уже совсем стемнело. Мы попрощались со всеми, Джансух обнял меня, зная, что завтра я улетаю, на похороны не попаду, и пожелал доброго пути.

В автомобиле неожиданно пришла мысль: как же умудрился я не узнать Дарвина, ведь его портреты были когда-то во многих школьных учебниках!

ХУАПСКИЙ ДЖИППИНГ

Почему-то вспомнил старую абхазскую сказку, жемчужину фольклора — «Джамхух, сын оленя». Ну, во-первых, сама сказка была очень популярна в период моего детства, ну а во-вторых — олень! А вернее, во-первых — олень! Символ удивительной красоты, совершенства и гармонии форм, стати, стремительности и бесстрашия! А посему преклонение перед оленем вполне естественно!

Представьте рассвет в горах! Полная тишина, еще не рассеялся ночной туман, но вдали уже просматривается величественная горная гряда, а совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, как может показаться, среди уходящих ввысь стволов гигантских сосен, четко виден силуэт прекрасного животного, будто вылепленного руками талантливого скульптора: гордо посаженная голова в сложной, обрамленной кружевом ветвистых рогов короне, тело идеальных пропорций, грациозные тонкие, но сильные ноги...

Как говорится — работа маслом! Хотя нет! Скорее — прозрачная зарисовка акварелью, сильными, уверенными и одновременно легкими мазками по забытой уже фактурной бумаге ручного изготовления — «верже»!

И в нашем повествовании олень как образ обязательно будет присутствовать.

В юности мы, подростки, как правило, чем-то увлекались. Кто-то, к примеру, восхищался поэзией, мечтал о чистой любви, боготворя любимых стихотворцев, кто-то становился фанатом спорта, отдавая всего себя, без остатка. И так далее, и тому подобное...

А сейчас плавно перехожу к личности друга моего детства по имени Азамат. Что касается его увлечений, то оно, по сути, если не считать фольклор, было одно.

Как мы, его друзья, тогда говорили: Азамат или ласкательно Аза «был помешан» на самодвижущейся технике, а конкретно — на автомобилях.

К двенадцати годам он не только виртуозно водил легковушки и грузовики, но профессионально освоил «матчасть». Я уверен, уже тогда он мог, причем с закрытыми глазами, полностью разобрать, а затем собрать любую из доступных моделей машин, производимых советским автопромом.

В конце пятидесятых в крепкой ткани так называемого «железного занавеса», отгораживающего СССР от внешнего мира, на фоне смены власти, вдруг неожиданное появились небольшие прорехи, дыры, через которые мы, советские люди, открывали для себя огромную вселенную, окружавшую нашу страну, о которой почти ничего не знали.

Помню неописуемый восторг Азы, когда в 1959 году я подарил ему красочные фотоальбомы, привезенные из Москвы с национальной выставки США, где мне повезло побывать с родителями. Эти великолепно изданные рекламные проспекты, чудо полиграфии, распахивали дверь в фантастическую галактику американского автомобилестроения, населенную удивительными экипажами, напоминающими автомобили, а скорее, космолеты из далекого будущего.

«Корвет стинг рей», «Импала», «Бонневиль виста» — непривычные эти названия ласкали слух, а глаза не уставали радоваться утонченным цветовым сочетаниям: «Брызги бургундского», «Бразильский кофе с топленым молоком», «Аквамарин и полярная белизна»...

Думаю, что именно тогда мечтой всей жизни Азамата окончательно стал автомобиль. Ибо, засыпая, наш друг аккуратно укладывал под подушку не фотографии красивых девушек, не самодельные копии ковбойских кольтов, как делали отдельные наши сверстники, а именно эти автомобильные альбомы. Ведь мы, жители Страны Советов, могли только в самых смелых мечтах или во сне мечтать о собственных «фордах», «кадиллаках», «шевроле».

Смею предположить, что Азамат, будучи фанатом и почитателем совершенного создания — оленя, мог выбрать именно его образ в качестве личного автомобильного тотема. Ведь, в конце концов, рукотворная металлическая антилопа «Импала» тоже в некотором смысле олень: те же совершенные формы и стремительность! Что у животного, что у автомобиля.

Летело время, судьба разбросала нас, друзей детства, по «городам и весям». В общем сложилось так, что долгие-долгие годы я не виделся с Азаматом.

И вот приезжаю я как-то в родной город, столицу суверенной республики, где по дорогам с не очень, мягко говоря, качественным покрытием раскатывают автомобили, к которым трудно подобрать определение: роскошные, уникальные, редкие, дорогие и очень даже дорогие. «Мерседесы», БМВ, «роллс-ройсы», «порше», «феррари» и так далее. Прямо княжество Монако какое-то! Откуда в бедной стране такая роскошь?

А ларчик открывается просто! Во-первых, авто часто везут из Эмиратов, где богатые шейхи просто выбрасывают поврежденные или надоевшие экипажи или отдают их за символические деньги. А во-вторых, в Абхазии практически нет ввозных пошлин на автомобили.

Каждый настоящий мужчина, даже если у него «замыленный глаз», вольно или невольно обращает взор на красивых женщин и на «крутые тачки». Это происходит часто автоматически, ну просто глаза быстрее реагируют на прекрасное, нежели сознание.

Подхожу я как-то к Драматическому театру, у которого, как правило, всегда стоит много автомобилей. И среди сверкающих лаком и никелем более или менее привычных аппаратов вижу нечто совершенно фантастическое — низкий, явно спортивный лимузин со снятым «верхом», красно-малиновый перламутр кузова которого элегантно оттенен матовым иссиня-черным «оперением» не виданного ранее мною, космического каково-то дизайна, с хромированными колесными дисками, со спицами, в стиле ретро.

А рядом стоит какой-то высокий, слегка седоватый, такой же элегантный, как авто, улыбающийся дядька в солнцезащитных очках.

Но до дядьки ли мне сейчас?

Иду, медленно переставляя ноги, ослепленный, обалдевший, словно сомнамбула, по направлению к малиновому космолету. А в голову неожиданно вползает старая сказка о Джамхухе, сыне оленя.

Так вот же он, красавец! Стремительный, гордый, смелый! Олень! Конечно — Олень! Ведь только ему Всевышний даровал столько достоинств!

Правда, слишком яркая раскраска и несколько вычурный стиль «оперения» режут глаз и наводят на мысль, что предназначен подобный аппарат все же женщине, а скорее, молодой девушке!

— Вова, — доносится, будто издалека, чей-то очень знакомый голос. — Это так ты привечаешь старых друзей? — С трудом соображаю, что вопрос мне задает тот самый денди в фирменных очках, стоящий у поразившего мое воображение автомобиля.

Пелена потихоньку спадает с глаз. Боже, так это же Азамат! Наш любимый Аза, с которым в школьные годы довелось сидеть за одной партой, вместе сбегать с уроков, чтобы посмотреть «свежий» заграничный фильм, тайком курить с трудом добытые сигареты. Аза, с которым можно было смело делиться самым тайным и сокровенным, зная, что он надежен и никогда не раскроет рта, как партизан на допросе, если что. И как я мог пройти мимо?! Олень, конечно, виноват, не иначе.

Мы крепко обнялись и долго-долго стояли молча, не решаясь разжать руки.

И вот уже друг детства восторженно представляет мне своего нового стального друга и брата. Оленя? Нет, не совсем верно! Автомобиль, как выясняется, называется «форд-мустанг». Именно эта модель была изготовлена небольшой серией и, прежде чем попасть к арабскому наезднику, была доработана, в смысле дизайна, в одной из лучших европейских тюнинговых компаний.

— Вова, такого «оперения» нет больше ни на одной машине. Это специальный суперпластик в композиции с кевларом. Он уцелеет даже при взрыве ядерного заряда, не дай Бог! Шейх избавился от «мустанга», когда слегка помял дверь. Мне пришлось выложить за него огромную для себя сумму, которую собирал на авто много лет, да еще и влезть в долги. Хотя реальная цена аппарата в несколько раз выше!

«Ну вот, — подумалось мне. — Как же прекрасно, что хоть один из моих друзей осуществил главную мечту всей своей жизни, вытянул именно свой выигрышный лотерейный билет! Посмотри, как горят его глаза, когда он с восторгом рассказывает о своем коне! С какой нежностью поглаживает перламутровые бока о... (чуть не сказал — оленя). Но в конце концов, и мустанг, реальный мустанг — тоже удивительное создание, наделенное многими качествами, сравнимыми с оленем. И его рукотворная версия очень красива и стремительна! Такие же совершенные формы плюс будто живое, утробное, нетерпеливое урчание мощного двигателя!»

Я, как обычно, осенью находился в Абхазии, так что мы, друзья детства, относительно регулярно собирались за обязательной чашечкой кофе «по-сухумски» в одной из уютных кофеен города.

Была середина декабря, когда Азамат позвонил мне.

— Вова, привет! Завтра сороковины дяди нашего одноклассника Аркадия в Гудауте. Он очень просил нас с тобой быть. Заберу тебя в два часа дня. Неловко появляться на печальных мероприятиях на красной машине, ну да ладно, припаркуюсь, не загадывая, в стороне от дома.

— Конечно, Аза, я готов ехать, только просьба: давай не будем засиживаться, как раз завтра по телику два очень важных и интересных футбольных матча. Засвидетельствуем почтение, посидим немного, и назад! Это все же не свадьба и не банкет! О'кей?!

Зима в Абхазии непредсказуема, но часто достаточно теплая. И тот день выдался солнечным и безветренным, почти летним по ощущению.

Мы с моим другом не успели даже поболтать, как «мустанг» уже примчал нас в нужное место. Оставив автомобиль в переулке, мы вошли во двор частного дома, где жил Аркадий, и поднялись на второй этаж.

Там, в большой комнате, называемой «залой», были накрыты столы человек на шестьдесят-семьдесят. И если судить по роскошной сервировке и ассортименту блюд, их вряд ли можно было назвать поминальными, как, собственно, и должно быть: поминки традиционно более скромные, а сороковины совсем другое дело, и требования к ним кардинально отличаются.

К сожалению, некий принцип застольной соревновательности, характерной для кавказцев, не обошел стороной и Абхазию. «Чтобы не ударить лицом в грязь», «Чтобы все гости остались довольными», «А чем мы хуже соседей» и так далее. Так называемое «богатство» накрытых столов, обилие блюд и напитков стали оценивать по придуманным кем-то шуточным категориям, например: столы «одноэтажные», «двухэтажные», «трехэтажные». Стол в доме Аркадия, если использовать эту терминологию, явно тянул, как минимум, на «два этажа».

Посидев некоторое время за столом, произнеся и выслушав обязательные тосты (Азамат, естественно, спиртного не пил), мы попросили разрешения удалиться. К счастью, никто нас не задерживал, лишь Аркадий проводил до лестницы.

«Ура! — вполголоса сказал я самому себе. — Успеем с Азой попить кофе, а потом посмотрю оба матча!»

Уже на улице нас догнал Даут, приятель Азамата.

— Вы же в Сухум, как я понимаю. Возьмете с собой?

Когда же «мустанг» выбрался из переулка, где был припаркован, Даут неожиданно обратился к Азамату:

— Не в службу, а в дружбу! Давайте на пару минут заскочим к моей родне, они приготовили для Нового года домашнее вино. Заберу сейчас, чтобы не ехать специально. Это недалеко от села Хуап, дорога нормальная, потеряем от силы полчаса. Пожалуйста!

— Прости, Даут! Хуап — село горное, но проблема не в дороге. Ты собираешься к родне с друзьями, хоть и по делу. Ты что, веришь, будто нас из абхазской семьи просто так отпустят?

— Да, конечно! Вам не придется даже выходить из машины. Всего пара минут.

— Ну-ну! Блажен, кто верует! — почти в унисон вырвалось у нас с Азаматом.

Асфальтовое покрытие действительно оказалось достойным, и «мустанг», словно дорвавшись до привычной свободы, радостно шуршал шинами, легко, ухарски и одновременно элегантно вписываясь в повороты.

Через некоторое время, однако, по указанию Даута мы свернули с шоссе на грунтовую дорогу. Накатанная, вполне приличная, она, петляя между холмов, уходила ввысь, туда, где к небу тянулись хорошо видные, мощные горные вершины, укрытые искрящимся под солнечными лучами снегом. Только ради этих пейзажей стоило побывать здесь.

Наконец мы добрались до небольшого плато, где на некотором отдалении друг от друга стояло несколько типично абхазских сельских домов с большими дворами с обязательным развесистым ореховым деревом, колодцем и летней кухней, апацхой. Остановились у ворот ближайшего, выпустили наружу Даута и стали ждать, восторгаясь красотой, окружающей нас.

Солнце медленно спускалось к горизонту, холмы и ближайшие горы вокруг окрашивались в синий цвет, воздух же становился все прозрачней и холодней. И тем уютнее смотрелись над крышами вечернего села легкие клубы белого дыма, вырывающиеся из печных труб. Идиллия, да и только!

Но увы! Идиллия закончилась, когда у машины появился наш «пассажир» с пустыми руками, но в сопровождении «делегации» из трех раскрасневшихся, явно волнующихся женщин.

Как же мы легко «купились» на информацию Даута и успокоились, ожидая его в машине?! Мы, два абхаза, плоть от плоти своего народа. Ведь один из самых важных традиционных заветов и постулатов негласного морально-этического кодекса «Апсуара» как раз гласит, что любой гость является посланником Небес! И позор на голову того, кто нарушит этот завет. Причем в данном случае это реальное, искреннее гостеприимство, не имеющее отношения к тому, что выше я назвал «застольной соревновательностью»

— Племянник опозорить на всю Абхазию решил! — начала старшая. — Оставил гостей за воротами, не введя в дом! Да где такое видано? Моего нет дома, вернется, возьмет ружье и убьет же всех! Пожалуйста, не обижайте нас, прошу вас в дом!

«Ну вот, что и требовалось доказать! Плакал мой футбол. Хотя бы на вторую игру успеть», — подумалось мне, когда я потянул за ручку двери.

И не успели мы, гости, удобно расположиться в большой комнате дома, за журнальным столом с обязательными фруктами, орешками и аджинджухом[1], как четко заработал привычный сельский «конвейер» хлебосольства между домом и апацхой, где готовилась еда. В данном случае в нем были задействованы шесть женских рук. И в мгновении ока, как говорится, на белоснежной скатерти большого стола появились дразнящие своими запахами акуд[2], ачапа[3], свежая зелень, домашние соленья и сыр. А затем женщины внесли блюда с куриным мясом и, конечно, венец любого абхазского застолья, дымящуюся горячую мамалыгу, абысту.

Дауту пришлось как представителю рода взять на себя роль тамады.

«Как же здорово. Такая прекрасная аура в этом доме, где нас приняли от всего сердца, с теплом и почтением, — подумалось мне. — Жаль, что мы ограничены во времени. Хорошо еще, что дома нет хозяина, иначе...»

И как в старом анекдоте, «в этот момент снизу постучали»!

Нет, никто не стучал. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился... да-да, именно хозяин дома в компании старшего сына и соседа.

---

[1] Аджинджух — традиционные сладости из орехов и виноградного сока.

[2] Акуд — популярное блюдо из фасоли.

[3] Ачапа — закуска из овощей с ореховой пастой.

Эмоции, образно говоря, легко читались на его лице: удивление, радость и некоторое смущение.

— Эсма! — грозным голосом обратился он к жене, стоящей у двери, ведущей в глубь дома. — Что здесь происходит?! У нас гости, а ты в мое отсутствие решила отделаться двумя-тремя жалкими курицами?! Позор на мою голову! У нас что, ничего покрупнее кур не найдется?! Возьми сына, и отловите несколько индюшек. А ты, — продолжил, уже наставляя сына, — сходи потом к дяде Валико и дяде Раули, скажи, пусть собираются и скорее к нам!

И только раздав моментальные указания домашним, хозяин дома устремился приветствовать гостей.

И спустя время застолье возобновилось в ином, более высоком и представительном качестве. Да и стол, условно говоря, явно вышел за пределы «одноэтажности». Опять пошли по кругу прекрасные тосты, затем принесли апъхярцу[4], и зазвучали старинные абхазские песни.

А каком футболе теперь могла идти речь?

Спираль вечера, однако, раскручивалась по своим законам. Для Абхазии привычное дело, когда на неожиданную «хлеб-соль» приглашают всех соседей, особенно в селах.

За столом уже сидело приличное количество гостей, когда «снизу постучали» снова. Вошедший, высокий, седой мужчина в накинутой на плечи бурке и в черном башлыке, внимательно обвел взглядом комнату, стол и сидящих за ним.

— Мир этому дому! Мое почтение и добрые пожелания всем присутствующим! Но у меня вопрос к хозяину дома. Ты же умеешь принимать гостей, Ражден? А гостя, как известно, присылает в наш дом сам Всевышний! Что, разве в наших подворьях не найдется чего-нибудь посерьезней кур и индеек? Или наши уважаемые гости должны уехать голодными? Короче, отправь молодежь ко мне, пусть отберут в загоне самого лучшего козленка.

Примерно через час с улицы прозвучало:

— Отец, привели! Посмотришь? — И тут же вслед этот голос прокричал: — Вырвался он, вырвался, бежит к горе!!!

Честно говоря, я обрадовался! Козлиное мясо очень вкусное, вареный козленок — блюдо номер один на любом абхазском столе. Но сейчас?! Стол ломится от яств. А сказать, что гости уже сытые, — значит ничего не сказать!

Значит, судьба дала животному шанс выжить в этот вечер! Ночь, горы, быстрые ноги! Пойди-ка попробуй поймать его! Ну и прекрасно!

Ох, как же неверно оценил я ситуацию! В течение получаса, несмотря ни на что, козленок был изловлен, а еще через двадцать минут благополучно варился, согласно традиционным рецептам, в молоке...

Я понимаю, что замучил читателя подробностями и деталями своего повествования. Пора бы уже и закругляться. Тем более что все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Вот и настала пора вставать из-за стола, чей статус этажности давно повысился до максимума, и тепло прощаться с нашими новыми друзьями.

Но поскольку окна в комнате были плотно зашторены, на улице нас ждал неожиданный сюрприз!

Помните, я говорил об абхазской зиме: теплая, но непредсказуемая! Еще и поправочный коэффициент на горы!

[4] Апъхярца — старинный музыкальный струнный инструмент.

Короче говоря, когда мы веселые, счастливые от искреннего гостеприимства хозяев, отяжелевшие от вкусной еды и выпитого вина (Аза не пил), вывалились наружу, оказалось, что вовсю валит крупный снег! И его уже выпало так много, что и дома, и ложбины, и горы укрыты плотным снежным одеялом. И что, самое прискорбное, снег сделал практически неразличимой дорогу, по которой мы добрались до села.

— Не беспокойтесь! — слегка икая, произнес Даут. — Там, пониже, есть другая дорога. Она хуже основной, но значительно короче. Да и мне там легче ориентироваться, я знаю все повороты.

Бедный наш, утонченный, аристократический железный конь. Что же за испытания выпали на твою долю? Ведь ты совершенно не приспособлен к горному джиппингу. Но выбора не было. Азамат включил дальний свет плюс перевел на полную мощность печку в салоне, и мы двинулись в направлении, указанном нашим «штурманом».

А снег все заваливал окрестности, и кто знал, что скрывается под ним на сельской, судя по всему, прилично разбитой дороге.

Короче говоря, проехав с трудом пару километров, мы увязли в глубокой колее. Мощный мотор «мустанга» ревел, задние колеса остервенело вертелись, но сдвинуть машину с места что назад, что вперед, не получалось.

— Надо толкать! — продолжая икать, многозначительно предложил Даут.

Через минуту мы с ним, толкачи (или толкатели?), были сплошь с ног до головы забрызганы жидкой грязью, причем жертва, как выяснилось, оказалось напрасной. Машина завязла еще глубже, почти до порогов кузова.

Надо было видеть побледневшее лицо нашего водителя, когда мне с Даутом, в грязной и мокрой одежде, пришлось вновь устраиваться в салоне авто.

«Штурман» потер виски и снова многозначительно произнес:

— Без трактора не обойтись! Я знаю тут одного, у него «Беларусь». Схожу приведу, если он дома. Это совсем недалеко.

Часа через полтора вдали действительно послышался шум мотора, а затем стал виден и слабый, из-за снега, свет фар.

Тракторист уверенно объехал нас и пристроился впереди. Оказалось, что он прилично пьян, что не мешало, однако, ему активно шутить и профессионально готовить к работе лебедку. Дотянув трос с крепежным крюком до «мустанга», тракторист подлез под бампер и некоторое время возился там.

— Еле нашел, куда цеплять трос. Там все непривычное, даже с фонарем сложно найти. Но кто боится сложностей?! Вперед, друзья, на Берлин!

На Берлин так на Берлин!

Мотор «Беларуси» взревел, трос натянулся, дрожа, как струна, автомобиль же, помогая себе колесами, стронулся с места и медленно пополз вперед.

«Неужели удача?!» — подумалось мне.

И именно в этот момент снаружи раздался ужасающий треск. «Мустанг» застыл на месте, будто стреноженный ловким ковбоем, а свет задних фонарей трактора стал быстро удаляться.

Когда же «спасатель» вернулся, на конце тракторного троса обнаружился потерявший былой шик пластмассово-кевларовый шедевр европейского тюнинга, вырванный с корнем со всех своих гарантированно надежных крепежных элементов. А считалось, ему нипочем даже ядерный взрыв.

Думаю, именно в эту ночь у Азы появились новые седые волосы. Тогда же он словно впал в некую прострацию, перестал на время воспринимать действительность. Во всяком случае, никак не прореагировал на предложение вытащить машину задним ходом и возражать не стал.

И история повторилась почти точь-в-точь, только теперь кузов «мустанга» остался и без заднего оперения.

Автомобиль удалось освободить только утром, с помощью второго трактора, нескольких мешков гравия и примерно десятка селян, вооруженных лопатами и кирками.

Из Гудауты вызвали эвакуатор и переправили тяжело раненного оленя в Сухум. Да и нас заодно, благо эвакуатор оказался со сдвоенной кабиной.

Происшествие могло стать тяжелейшей психологической травмой для Азамата, и чтобы хоть как-то смягчить ее, я объявил среди самых близких друзей сбор денег, дабы помочь подлечить гордое животное.

Азамат долго от денег отказывался, но в конце концов взял.

Мне же пора было улетать в Москву. Перед отъездом позвонил Азе и, дабы не сыпать соль на рану, не стал говорить с ним об автомобиле, а просто попрощался и пожелал удачи.

Время летит быстро, и вот снова в моем кармане билет на самолет.

Звонок Азамата стал, честно говоря, неожиданностью! Приятной, естественно!

— Вова, знаю, что прилетаешь в среду. У меня дела в Сочи, встречу тебя в аэропорту.

И вот выхожу я из сочинского аэровокзала. Майское, теплое и солнечное утро. Звоню, как и договаривались, школьному другу.

Буквально через пару минут рядом притормаживает «крутой» спортивный кабриолет цвета «темно-синий металлик», сверкающий хромом бамперов и колесных дисков, со снятым верхом.

А на месте водителя улыбающийся денди в фирменных солнцезащитных очках. Фантастика какая-то! Но долго стоять нельзя, значит, все вопросы внутри. А внутри, друзья, настигает дежавю. Ведь интерьер кабриолета точно такой же, как и на предыдущем авто, на «мустанге».

— Почему — на предыдущем? Это и есть тот самый, единственный мой друг «мустанг», которого и я, с легкой твоей руки, часто называю оленем. Когда вы вручили мне деньги, я понял: судьба дает мне новый шанс. Связался с ребятами, которые работают с запчастями по всему миру. И представляешь, Вова, какая удача, они «выцепили» где-то родной, фирменный комплект бамперов от «мустанга», правда, от другой модели, выпущенной примерно через пять лет, но подошли они, как видишь, идеально. Ну а перекрасить автомобиль сегодня — вообще не вопрос. Вот и решил я более не смущать никого былым красным перламутром!

И знаешь, Вова, конечно, я очень переживал, но в конечном итоге решил, что тепло, уважение и счастье общения, дарованное нам судьбой в хуапской семье, стоит гораздо большего, чем мой «мустанг»!

И слава Всевышнему, что он ниспослал нам, абхазам, такие добрые традиции!

Мы к тому времени выехали на шоссе, ведущее к границе. И шурша шинами, снова нас нес олень, отзывающийся на имя «мустанг» и полностью подвластный воле наездника, моего школьного друга Азамата.

Евгений СТЕПАНОВ

МЫ ЕДИНЫ

ЭТО СЧАСТЬЕ

Каждый день, проведенный в Быково,
В теплом доме, построенном мной,
Это счастье, и счастья иного
Я не жду в быстрой жизни земной.

Для меня нет надежней опоры,
Чем песчаная эта земля.
Созревают мои помидоры,
Огурцы, горевать не веля.

В небеса подмосковные глядя,
Я живу не спеша много лет.
И соседка прекрасная Надя
Мне звонит: «Приходи на обед!»

АВГУСТ

Август восклицает: «Veni, vidi, vici».
Огурцы болтают в маленькой теплице
На своем красивом — древнем! — языке.
Высится Эдем
Невдалеке.

ЦЕЛЬ — XXI

Цель у меня проста:
Жить, прокормить кота,
Честно дойти до финала...
Этого разве мало?

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, кинорежиссер, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Москва», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «День и ночь», «Подъем», «Дон», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и портала «Читальный зал». Лауреат премии им. А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура».

СТАРИЧОК И КОШКА МОНРО ИЗ ПОСЕЛКА БЫКОВО

Живет старичок трудновато —
Не лучше побитого пса.
И, хрупкий, как стебель томата,
Растет старичок в небеса.

Он думает, кошечку гладя,
Что жизнь утекла в решето...
И ходит вдоль озера, глядя
На то, что не видит кто.

УЛЫБАТЬСЯ

Сам себе твержу: «Не сметь
Хныкать. Улыбаться надо».
...У меня в запасе смерть —
Как последняя отрада.
Как великая награда.

МЕСТО ЗДЕСЬ ОСОБОЕ

Место здесь особое, пойми:
Рассуждать никто не хочет здраво.
Драка между близкими людьми —
Это наша вечная забава.

Место здесь особое, в чести
Здесь убийцы, нехристи, бандиты...
А специалисты чушь нести
Почему-то очень знамениты.

...Здесь мои родимые края,
Где и я не избежал ареста.
Место здесь особое, но я
Не хочу искать другого места.

ЧЕТЫРЕ ДЛИННЫЕ СТРОКИ

Тянется, тянется, тянется долгая эта дорога.
Жизнь расставляет уверенно все по своим местам.
Все, что я сделал хорошего, доброго, — это от Бога.
Все, что я сделал постыдного, мерзкого, — это я сам.

СВИДАНИЕ: ПАМЯТИ МАМЫ

Назначь мне свиданье на этом свете...
Мария Петровых

Печаль моя горька
От этих дней пустых
И горше, чем строка
Марии Петровых.

А даль моя светла
От неизбежных встреч.
Душа сберечь смогла —
Что врач не смог сберечь.

В ЭТОМ МИРЕ

В этом мире чужом, окаянном
Коль рожден — то смирись и живи.
Все окажется тленом, обманом,
Несуразицей. Кроме любви.

Рухнет дом. Заболеют деревья.
Не утихнут ковид и ОРВИ.
Но в тот час, что уйду, отгорев, я
Все равно буду полон любви.

ИЗ ДАВНЕЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

I

Женщина, не ставшая судьбой.
Ставшая проблемой и борьбой
Двух начал, не слитых воедино.
Не могу я больше быть с тобой.
Холод между нами, холодина.

А когда-то, много лет тому,
В теплом подмосковном терему
Мы прекрасно жили — не тужили.
Я не понимаю, почему
Мы друг дружке сделались чужими.

Нет претензий. И обиды нет.
Исчезает женский силуэт
Из моей избушки пятистенной.
...Буду говорить на склоне лет
С Пушкиным, Сократом, Авиценной.

II

и ты меня любила
и я тебе любил
теперь меж нам льдина
точнее много льдин

а почему так вышло
и сам я не пойму
наверное умишка
не слишком — потому

наверное гордыня
измордовала нас
и нас располовиня
сама пришла в экстаз

но мерзкую гордыню
я усмирить хочу
и в горькую годину
мне это по плечу

мы люди мы едины
что тут ни говори
и пусть растают льдины
что у людей внутри

И ВСЕ-ТАКИ

Пусть протекает жизнь рутинно,
Пусть я у пропасти стою...
Но мне звонит Краснова Нина —
И продлевает жизнь мою.

Пусть нет в аптеке той микстуры,
Чтобы спасти меня могла,
Но вот письмо пришло от Юры
Казарина — и жизнь мила.

А вот письмо от Бирюкова,
От Пурина, от Ани Ма —
И жизнь моя не бестолкова,
А даже радостна весьма.

...Кровь холодна ли, горяча ли —
Господь все время — визави.
И все-таки страна печали
Не больше, чем страна любви.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДАВНЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ

А жизнь — это минное поле;
Повсюду воронки да рвы.
А смерть — точно царь на престоле;
Речет: «Ты живой? И доколе?
Тебе не сносить головы!»
Но я не сдаюсь. Тяжело ли,
Легко ли — иду и пою.
И фобии не побороли
Меня и надежду мою.

ЭТОТ МИР

Это мир насилия и лжи.
Но родился — значит, не тужи.
Но родился — радуйся, живи,
Открывая Божий мир любви.

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

ЗАМЕТКИ ПО ПУТИ

Рассказы

ТОВАРИЩИ ПО НЕСЧАСТЬЮ

«Дура! Дура! Дура!» — орала она, вцепившись когтистыми лапами в садовую ограду, слегка приседая на каждом крике и топорща неопрятные перья. На меня орала, между прочим. И не без причины: я была виновата перед ней, даже очень виновата.

Ведь это я, возвращаясь домой с продуктами из ближайшего магазина, ни с того ни с сего обратила внимание на какие-то уж больно громкие вороньи крики в скверике напротив. Подойдя из любопытства поближе, я увидела семейную сценку: старые вороны важно расхаживали между кустов, а их подросшие чада, почти уже неотличимые от взрослых птиц, бегали за ними следом и надсадно каркали, по детской привычке широко разевая довольно мощные клювы и требуя пищи. Родители то делали вид, что это их не касается вовсе, то, отыскав что-то в траве, заботливо вкладывали это «что-то» в требовательно раскрытые рты. Жадно проглотив еду, воронята на несколько секунд успокаивались и тут же снова начинали клянчить.

А рядом, поблескивая на солнышке переливчато-нежными шейками, кайфовали голуби, откормленные добросердечными старушками не хуже рождественских гусей. Они разомлели настолько, что потеряли всякую осторожность и даже не сидели, а, подогнув лапки, дремали в теплой и мягкой пыли.

Одна из ворон, с самым невозмутимым видом похаживая вокруг и поглядывая на эту голубиную идиллию, бочком-бочком пододвигалась все ближе к отдыхающим. И внезапно — раз — кинулась на голубей не хуже дворовой кошки. Стая взвилась, суматошно хлопая крыльями и мешая друг другу, но один растяпа замешкался и все-таки попался и трепыхался теперь, подмятый вороной, которая уже наладилась долбануть бедолагу в темечко.

«Кыш! Кыш!» — завопила я и ринулась в скверик, воинственно размахивая сумкой.

Хищница выпустила голубя, и тот, замерев на секунду, резко рванул вверх — к своим. Голубиная стая поднималась все выше, ярко и трепетно вспыхивая в лу-

Екатерина Владимировна Полянская родилась в 1967 году в Ленинграде. Окончила СПбГМУ им. И. П. Павлова. Поэт, переводчик с польского и сербского языков. Член Союза писателей России с 2002 года. Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», «Звезда», «Северная аврора», «Аврора», «Всерусский собор», «Южная звезда», «Немига литературная», «Сибирские огни», «Сетевая словесность», «Зинзивер» (интернет-журнал), «Дружба народов», «Москва», «Неман», «Урал», «Изящная словесность» и других. Автор семи стихотворных сборников. Стихи переводились на польский, болгарский, японский, английский, сербский и чешский языки. Живет в Санкт-Петербурге.

чах предвечернего солнца. Несколько мелких пестрых перьев медленно, словно бы нехотя, опускались на землю, то кружась, то замирая на мгновение в золотистом воздухе.

Опешившие было вороны быстро пришли в себя, взлетели и с яростными криками начали нарезать круги прямо над моей головой. Но я, зная повадки этих «божьих пташек», моментально разгадала их мстительные намерения и вовремя успела укрыться в подворотне — так что «отбомбились» они впустую.

Поняв, что возмездия не получилось, три вороны убрались прочь, тяжело взмахивая крыльями и картаво переругиваясь.

Но четвертая — самая крупная — осталась, усевшись на низенькую оградку напротив меня, взъерошила перья и начала громко орать, захлебываясь от злости: «Дура! Дура! Дур-ра! Приперлась! Все испортила! Пожрать не дала! Дура! Дура!»

И надо бы просто уйти домой, а я все стояла, словно загипнотизированная этими монотонно-резкими криками, и вороньи проклятия с треском взрывались в гулкой пустоте моей башки.

Внезапно налетевший из подворотни порыв ветра с грохотом захлопнул железную дверь парадной, и ветка березы размашисто хлестанула по моей щеке.

От неожиданной пощечины я встряхнулась: «Что за дела! С какой стати я тут торчу и выслушиваю оскорбления от какой-то паршивой вороны?» — и сделала шаг в сторону парадной.

Но ворона и не думала замолкать: она скандалила вовсю, как баба на коммунальной кухне.

Передернув плечами, я как можно непринужденнее достала из кармана пачку сигарет, закурила, медленно подошла к вороне и спокойно сказала: «Сама ты — дура! Ну что разоряешься, а? Да понимаю я, понимаю, что не в свое дело влезла. Но не могла ж я тебе позволить прямо у меня на глазах взять и убить голубя. И между прочим, если бы на тебя кто посильнее напал, я бы точно так же вступилась. Да. Так что кончай ругаться, лучше на вот — возьми поешь». С этими словами я отломила большой кусок булки и бросила его обиженной птице. Ворона булку не взяла, но перестала наконец каркать и топорщиться, склонила голову набок и как будто задумалась. И даже круглый ее глаз больше не горел такой непримиримой злобой, но глядел спокойно и устало.

И вот уже мы просто смотрели друг на друга, а кусок булки одиноко и как-то безнадежно лежал между нами в пыли. И только когда я, вздохнув, собралась уже повернуться и уйти прочь, ворона вдруг ворчливо, но уже беззлобно скрипнула, соскочила с оградки, с достоинством взяла выкуп, пару раз подпрыгнула, грузно оторвалась от земли и, неторопливо набирая высоту, потянулась к свинцово-серому просвету между крышами.

Ее тоже неодолимо затягивал в свою вечно крутящуюся воронку безжалостный водоворот повседневности.

ГЛОРИЯ

Я была ей совершенно не нужна — этой рыжей кобыле неопределенной породы, красивое имя которой — Глория — давно уже заменили на простенькое «Глашка». Выдали мне ее на те три недели, на которые мы с друзьями приехали в глухую Торзать, откликнувшись на просьбу одной знакомой — зоотехника — помочь ей восстанавливать местную конюшню и поголовье лошадей. Сразу скажу,

что попытка эта с треском провалилась ввиду яростного сопротивления местных жителей, рассматривавших конюшню исключительно как источник дармового фуража для своей скотины, но это — сюжет для другой истории.

Глория же была кобылой вполне справной: крупной, сильной, резвой, но к человеку совершенно равнодушной. Ни тебе — в ухо шумно подышать, ни тебе — лбом прислониться, ни — пофыркать навстречу. Весь ее облик, казалось, говорил: «Да, я знаю, что лошадь должна подчиняться человеку. И я — подчиняюсь. Что тебе еще-то надо?»

Но видать, человек так уж подловато устроен: очень ему хочется, чтобы ему не только служили, но и — любили. Вот и я всячески пыталась завоевать расположение Глории, хотя прекрасно понимала: ни к чему это. Все равно ведь уеду, так зачем приручать?

А все-таки задевало меня ее равнодушие. Но усилия мои ни к чему не приводили: кобыла хлеб с руки брала без всяких эмоций и тут же отворачивалась, а при попытке похлопать ее по шее или почесать — просто отходила в сторону.

Так оно все и продолжалось, пока зоотехнику не пришло в голову отправиться с нами в поход по лесным дорожкам и тропам подальше от деревни. А леса там, надо сказать, глухие — начало таежной зоны. В общем, заблудились мы по-настоящему и очень долго плутали верхами, только приблизительно понимая, какого направления надо держаться.

Стало смеркаться, всем было явно не по себе, кто-то вспомнил о волках, кто-то — об агрессивно настроенных местных. И только когда мы случайно выехали на узкую, сильно заросшую, но прямую лесную просеку, наша «предводительница» наконец сориентировалась. «Эта просека выходит к деревне», — коротко сказала она и пустила свою лошадь с места в карьер.

Все тут же рванули за ней, и я на Глории оказалась замыкающей.

И вот уже кони, управлять которыми стало практически невозможно, да и не нужно, несутся во весь опор к дому по узкой и колдобистой лесной просеке, сжатой с двух сторон почти непроходимым ельником. Привстав на стременах, я низко пригнулась к лошадиной шее, чтобы не быть вконец исхлестанной еловыми лапами и не напороться на какой-нибудь сломанный сук.

И вдруг моя правая нога потеряла опору и провалилась: лопнуло путлище стремени. Меня тут же начало швырять и колбасить, но выпрямиться в седле и поймать равновесие было совершенно невозможно: ветки проносились надо мной, почти задевая спину. Где-то под ложечкой появилась противная сосущая пустота, и стало ясно, что еще немного — и я просто свалюсь и останусь в этом темном и глухом лесу одна, потому что лошадь обязательно помчится вслед за другими — так велит ей могучий табунный инстинкт. И хватятся меня не раньше, чем все доскачут до дома... А тут ведь и правда — волки.

И вот когда силы мои были уже на исходе и я, устав цепляться, начала неуклонно сползать вбок и вниз, что-то вдруг резко изменилось: рывки и скачки прекратились, меня перестало швырять. Это лошадь неожиданно сама сократила галоп, потом перешла на короткую рысь, а потом и вовсе пошла шагом, дав мне возможность снова сесть в седло и отдышаться. Так мы потом рысцой-трусцой осторожно и добрались до дома, и ни разу Глория не сделала такой естественной для отставшей от табуна лошади попытки припустить во всю прыть за своими.

На конюшне я, спешившись, сразу вынула из кармана сухарь и протянула его Глории: «Спасибо, Глаша!»

И конечно же, она, как всегда, взяла угощение с самым равнодушным видом и, как всегда, отвернулась.

Благодарность моя была ей совершенно не нужна — точно так же, как и я сама.

ВОРОН

И все-таки на манеже было что-то не так. Вроде бы все прекрасно: раннее июньское утро, на площадке — ни души (я специально приехала сразу после ночного дежурства, чтобы отработать лошадь по холодку и в одиночестве), только легкая лиственная светотень едва заметно трепещет на песке. Но моя всегда послушная Камилла явно нервничала: вскидывала голову, прижимала уши и шла вперед не слишком охотно, хотя обычно ее энергию в начале занятия нужно было даже сдерживать.

Тревожность лошади невольно передалась мне: да, что-то не так. И вдруг я поняла, что не так: «не так» — это необычная, полная тишина на манеже, потому что вовсе нет ворон.

А ведь ворон вблизи конюшен всегда полным-полно. Лошадей они не боятся совсем: то по-хозяйски важно разгуливают по манежу, то подскакивают бочком, то деловито копаются в навозе, разыскивая зерна овса, то переругиваются, а то и — дерутся. Их громкие картавые крики разносятся над парком целый день, становясь просто звуковым фоном, на который уже почти не обращаешь внимания. И вот надо же — ни одной.

Отметив отсутствие ворон, я тут же перестала об этом думать и начала разминку, тем более что и лошадь вроде бы вполне успокоилась.

Для начала пустив кобылу шагом на почти свободном поводу и слегка покачиваясь в такт ее движению, я почти задремала в седле и не заметила, как мы приблизились к дальнему краю манежа, где начиналась огороженная жердями левада.

И вдруг что-то коротко вспыхнуло впереди ярким зеленоватым светом — словно косой луч солнца упал на осколок бутылочного стекла. В тот же миг лошадь метнулась вбок и, взбрыкивая, рванула галопом в сторону конюшни, да так, что я чуть было не вылетела из седла. Восстановив равновесие и подобрав повод, я не без труда перевела мгновенно взмокшую Камиллу в шаг и начала успокаивать, постепенно приводя ее в чувство. Но я знала: теперь обязательно надо заставить ее подойти туда, где она так сильно испугалась. Потому что лошадь должна повиноваться человеку — это закон.

И я, конечно, заставила ее пройти вдоль всей левады, после чего, как положено, похвалила, наклонившись и похлопав по шее.

И тут же увидела его — ворона. Огромный, антрацитово-черный, он неподвижно восседал на столбике ограждения и, казалось, бесстрастно смотрел вперед круглыми блестящими глазами. Черный клюв его, нацеленный на леваду, был остер и грозен. А там, внутри... Там собралось, кажется, все обычно такое крикливое и шебутное воронье Удельного парка. Так вот куда они все подевались! В немом оцепенении сидели они в леваде, покрывая ее сплошным серым ковром, и неотрывно глядя на ворона. А он так же молча глядел на них.

И казалось, что даже листья на деревьях не смеют шелохнуться и нарушить эту бездонную и бескрайнюю тишину — тишину ожидания. Застыли и мы с Камиллой, словно бы на время превратившись из всадника с лошадью просто в двух живых существ, случайно попавших в парализующее поле чужой тревоги и напряжения.

Первой очнулась лошадь и начала пофыркивать и попрашивать повод — ведь кони не выносят долгой неподвижности. А за ней и я мотнула головой, стряхивая странный морок, и уже собиралась продолжить тренировку, когда ворон слегка наклонил голову вбок, и солнечный луч снова зеленовато вспыхнул в его глазу. Огромная птица геральдически расправила крылья, повела мощным клювом в обе стороны, коротко и хрипло крикнула «Крра!» и — взлетела. Сделав круг над левадой и манежем, ворон полетел в глубину парка — прямо в сторону солнца, поднимаясь все выше, неторопливо взмахивая широкими крыльями и как будто растворяясь в потоках света. И все кумушки в серых безрукавках, разом задрав головы, провожали взглядами его неспешный полет, исполненный того же достоинства, что и его неподвижность.

Ворон улетел. Пришибленно помолчав с минуту, вся воронья стая вдруг словно бы взорвалась оглушительно-истеричным карканьем, и я с трудом удержала кобылу от очередного рывка вбок. Они просто орали, перебивая друг друга, словно торговки на базаре. Судя по всему, воронье сообщество горячо обсуждало некое послание или — повеление, которое ворон донес до них на своем настоящем, беззвучном для человека языке. После прений примерно половина стаи разом поднялась в воздух, сделала насколько кругов над манежем и, оглашая окрестности какими-то особенно горестными воплями, улетела в сторону, противоположную той, куда направился ворон. Оставшиеся птицы постепенно затихли и вернулись к своему обычному занятию, то есть — ковырянию в навозе. Но делали они это как-то уже по-другому, без обычного бодрого нахальства, я бы даже сказала — несколько смущенно.

С тех пор в Удельном парке ворон стало заметно меньше.

А ворона я больше не видела, только слышала еще несколько раз вдалеке его странный, словно бы нездешний, голос, наполняющий человеческое сердце необъяснимой тревогой и печалью.

УЛЫБКА

Ах, какая улыбка была у этого круглолицего паренька в пилотке и выцветшей гимнастерке, глядящего со слегка пожелтевшей военной фотокарточки! Свет, чуть приглушенный временем, как будто исходил из нее и вспыхивал где-то внутри меня, зарождая в душе теплую радость, а на лице — ответную улыбку. Никогда в жизни, ни — до, ни — после того не видела я таких задорных, таких чистых, таких светоносных улыбок. А если бы увидела — наверное, влюбилась бы сразу — окончательно и бесповоротно.

Фотография висела на стенде «Наши преподаватели — участники Великой Отечественной войны» в коридоре кафедры физиотерапии, и я, проходя мимо, случайно взглянула на нее и уже не могла оторваться. Завороженно смотрела я на эту удивительную улыбку, совершенно забыв о том, что перерыв между «парами» заканчивается, а я так и не успела выскочить перекурить. Но вот взгляд мой скользнул чуть ниже — к надписи, и я невольно вздрогнула от изумления: это была фотография нашего преподавателя — сухого, как щепка, желчного старика со скорбно поджатыми синюшными губами и бесцветными глазами, глубоко запавшими в темных глазницах. Старик этот не улыбался никогда, испытывая к студентам плохо скрываемую стойкую неприязнь, поскольку, видимо, не без оснований предполагал, что к предмету его никто не относится с должной серьезностью. Особенно навредить

он никому не мог: по физиотерапии не было даже отдельного зачета. Поэтому он с редкостной педантичностью делал то единственное, что было в его власти: безжалостно не допускал до занятия всех опоздавших хотя бы на пару секунд, что означало отработку всей темы в вечернее время.

«Что? Что? — резко и настойчиво застучало в висках. — Господи, что же должно было случиться, чтобы превратить улыбчивого парнишку-победителя в вечно раздраженного сухаря? Какая обида, какая неутолимая боль погасили его улыбку? Я никогда не узнаю об этом. Никогда».

«Ни-ко-гда, — тенькнуло в ответ где-то в глубине груди, скользнуло выше и сжало мне горло. — Ни-ко-гда».

Пытаясь глубоко вдохнуть, я судорожно глотнула воздух и вдруг увидела сутулую спину в мешковатом черном пиджаке — он уже входил в кабинет. Я еще раз взглянула на фотографию, пытаясь не то найти поддержку и ободрение в мальчишеской улыбке, не то — сохранить в себе ее свет, и рванулась к двери.

Но старик, не оборачиваясь, взглянул на часы, проскрипел: «Вы опоздали с перерыва. Я не допускаю вас» — и резко захлопнул передо мной дверную створку.

ПРОТЕСТ

«Чвак-чвак», — сказали мои сапоги, когда я переступила с ноги на ногу, пытаясь пристроить тяжеленные сумки с продуктами на относительно сухое место и прислонить их к столбику козырька у входа в супермаркет, чтобы перекурить. Плечи ныли, руки зябли, резкие порывы ноябрьского ветра подхватывали мерцающий в свете фонарей снег вперемешку с дождем и несли его почти параллельно огромной луже, в которой зыбко отражались неоновые огни рекламы, так что перекурить перед броском в метро надо было непременно. Не без труда пристроив сумки, я разогнулась, щелкнула зажигалкой и с наслаждением затянулась дымом.

«Шшш...» — медленно проехала мимо меня длинная блестящая машина и плавно затормозила где-то рядом.

Дверь машины хлопнула, «цок-цок-цок» — простучали каблучки, и за моей спиной кто-то смущенно кашлянул.

Обернувшись, я увидела хрупкую длинноногую даму неопределенного возраста, одетую очень стильно и явно «не с рынка», чем-то похожую на хорошо засушенный цветок, потерявший свежесть, но не утративший форму и краски. «Мадам, уже падают листья...» — отчего-то пронеслось в моей голове.

— Извините, пожалуйста, — нерешительно сказала дама, — у вас не найдется для меня сигаретки?

Отказывать в сигарете — тяжкий грех. Самой, бывало, приходилось «стрелять», оставшись без курева и без денег. Поэтому я, не задумываясь, ответила «Пожалуйста!», щелчком выбила сигарету из пачки и протянула ее незнакомке вместе с зажигалкой. Та поблагодарила, прикурила как-то очень неловко, вдохнула дым и закашлялась. Я отвернулась, ожидая, когда она уйдет и я наконец останусь одна, чтобы смотреть почти бездумно на мерцающий снегодождь, нахохленных голубей под карнизом дома напротив и людей, спешащих мимо по своим, не имеющим ко мне никакого отношения, делам.

Но дама не уходила. Она курила, почти не затягиваясь, надсадно кашляла и как бы ненароком перемещалась бочком так, чтобы снова оказаться передо мной. Она

явно пыталась еще что-то сказать. Общаться мне не хотелось совершенно, но и уходить с сумками, не докурив, было, конечно, глупо. И я просто молчала, стараясь не смотреть на случайную соседку.

Наконец дама не выдержала и, прокашлявшись в очередной раз, решилась.

— Извините, — негромко начала она, — я хотела вас спросить...

Придержав сумки, я повернулась и уже внимательнее посмотрела на ее ухоженное увядающее лицо с широко раскрытыми глазами, казавшимися еще больше от густого и яркого макияжа.

— Я хотела вас спросить, — продолжила она, и вдруг ее голос напряженно и едва ли не восторженно зазвенел: — Как вы думаете — вот мы тут стоим и курим, а могут нас за это оштрафовать? Ведь они наверняка нас видят!

— Кто — они? — переспросила я.

— Да милиция же! — дама перешла на громкий шепот и испуганно оглянулась.

Ее большие глаза раскрылись еще шире, и вся она в ожидании ответа словно бы подалась вперед и вверх.

— Знаете, — сухо сказала я, — вообще-то, супермаркет — не государственное учреждение, запретительной таблички нет, и мы стоим далеко от дверей. И от входа в метро тоже далеко. Но если дяденьке милиционеру очень захочется, то он, конечно же, найдет за что нас оштрафовать.

— Вот! — опять почти восторженно выкрикнула она. — Вот!

И снова перешла на громкий торопливый шепот:

— Вы понимаете, я никогда, никогда не курила. Никогда в жизни! Но теперь, теперь, когда приняли этот ужасный, этот несправедливый закон, дискриминирующий курящих, я поняла, что — обязана. Я просто обязана была закурить. Мне очень не нравится курить, мне становится плохо, я задыхаюсь. Но я делаю это принципиально. Да, принципиально! Почему вы улыбаетесь? Это мой протест, понимаете?

— Понимаю, — сказала я. И сочувственно вздохнув, подхватила сумки и направилась к метро. Странная легкость переполняла меня: ведь это людям принципиальным жить тяжело, а таким, как я — беспринципным, — невероятно легко.

Дмитрий ИВАНОВ

СТАРЫЙ ДРУГ

Пьеса

В пьесе действуют:

КИРИЛЛ — финансовый аналитик, человек успешный, не чуждый ностальгии
СОНЯ — жена Кирилла, художница, красивая, хрупкая, «с дыркой в душе»
ЖЕНЯ — безработный клоун, школьный друг Кирилла
ЛУКА — сын Кирилла и Сони, мальчик восьми лет
АНГЕЛЫ — ангелы, сопровождают Женю с детства
БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ И КОШКИ — рано или поздно появляются там, где появляется Женя
ПРОВОДНИЦА ВАГОНА — веселая молодая девушка, не знающая, что ее ждет впереди
ЖЕНЯ В ДЕТСТВЕ — мальчик лет восьми
УКРОТИТЕЛЬ ДЕМОНОВ — грозный мужчина с усами
ДЕМОНЫ — демоны
ФОКУСНИК — фокусник
КРОЛИК — белый, говорит о политике

АКТ 1

Сцена 1. Дом Кирилла и Сони, вечер перед Новым годом

Дом Кирилла и Сони украшен к Новому году, до которого остаются считаные часы. Дом большой, явно дорогой, с признаками хорошего вкуса. Соня накрывает на стол в гостиной. Ее муж Кирилл на кухне рассматривает принесенные из винного подвала бутылки вина. Кирилл ухоженный, улыбчивый. Соня рассеянная и несколько неуклюжая, но ей это, скорее, идет.

В глубине комнаты видны старинные часы на стене. Они стоят, показывают без четверти три часа, неизвестно чего, дня или ночи.

Соня. Кира. Можно тебя спросить? Только ты ответишь честно. Не «честно», а прям вот. Честно.

Кира *(рассматривает бутылки с вином, не может решить, какую открыть)*. Можно. Только я уже отвечал тебе на этот вопрос.

Дмитрий Владимирович Иванов родился в 1969 году в Кишиневе. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Пишет сценарии для кино, пьесы и прозу. По сценариям были сняты полнометражные фильмы и сериалы. Публиковался в журналах «Киносценарии», «Сноб», «Знамя». Книги выходили в издательствах «Эксмо», Лениздат, «Рипол-Классик».

С о н я . На какой?

К и р а . Когда я перестану мять. Или, как ты говоришь, «уродовать». Тюбик с зубной пастой.

С о н я . Я не об этом хотела спросить!

К и р а *(продолжает свою мысль, несмотря на возражение Сони)*. На старости лет, Сонь, научусь! Когда нечего будет делать, только ждать смерти. Некуда тратить энергию. А и энергии самой тоже не будет! Вот тогда, Сонь. Сфокусируюсь полностью на этой задаче. «Надо же перестать уродовать тюбик с пастой, это так бесит мою старушку!»

С о н я *(возмущенно смеется)*. Старушку?

Кирилл открывает бутылку вина, наливает в два бокала, смеется.

К и р а . Ну да. Старушка моя опять бранится. *(Изображает дрожащий старушечий голос.)* Ки-ираа... Тю-юубик...

С о н я *(смеется)*. Перестань!

Кирилл с бокалами входит в гостиную. Оба садятся за праздничный стол, еще неокончательно накрытый.

К и р а . Слушай, ты можешь мне объяснить, что с тобой происходит?

С о н я . В смысле? Вообще, в жизни? Могу, но это долго.

К и р а . Нет, не вообще. Когда ты видишь тюбик. Помятый. Это ведь даже не твой тюбик! У тебя есть свой. Тебе какая разница, мну я мой тюбик или нет? Почему тебя это раздражает?

С о н я . Не знаю. Наверное, потому что я ненормальная. Я бракованная, Кир.

К и р а . Почему?

С о н я . Ну потому, что ты прав. Была бы нормальная, не обращала бы внимания на такую фигню. А я на все обращаю внимания. Из-за этого всю жизнь мучаюсь. Сколько себя помню, не живу, а мучаюсь. А как перестать это делать, не знаю.

К и р а *(оптимистично поднимает бокал)*. Ладно! Мученица. Давай, с наступающим?

С о н я . С наступающим...

Чокаются, выпивают по глотку вина. Кира улыбается.

К и р а *(смеется)*. А можно и мне тебя спросить? Сонь, зачем тебе гномы?

С о н я . В смысле?

К и р а . Ну, ты купила гномов. Двоих. Двух. Садовых. Я видел.

С о н я . Ну, купила, да. И что?

К и р а . Зачем они тебе?

С о н я . Что значит — «зачем»? Для сада они... Садовые они...

К и р а . Да я понимаю. Но... Когда женщина покупает гномов... Это же обычно... Не от хорошей жизни?

С о н я *(смеется)*. Это где такое написано?

К и р а . Ну, как. Обычно, когда женщина разводит орхидеи. Сажает помидоры... Ну или гномы у нее, в саду. Это же обычно несчастная женщина. Вдова банкира, вдова бандита, вдова дирижера... Это понятно. Но ты же, слава богу, не вдова. Ты при муже, живом.

Соня *(смеется)*. Орхидеи, помидоры! Кира, блин, что ты несешь... Я не понимаю, что ты хочешь спросить? Несчастна ли я? При «живом муже»?

Кира. Нет, мне просто было интересно, зачем ты гномов купила. Двух. Двоих.

Соня *(пару секунд всерьез думает, потом неожиданно громко)*. Они были со скидкой!

Кира *(чуть не давится глотком вина, смеется)*. А, ну это другое дело... Так бы сразу и сказала!

Соня. Кира... Слушай. А тебе совсем не интересно, да?

Кира. Что?

Соня. О чем я хотела тебя спросить?

Кира. Когда?

Соня. В начале этого разговора, Кир! Я хотела тебя спросить. Но чтобы ты ответил честно. Максимально честно. Это так идиотско звучит! «Максимально честно». «Немаксимально честно» — это что такое? Это же просто — нечестно... Я опять запуталась. В своих мыслях, прости.

Кира. Ну, ты у нас творческий человек. Тебе можно.

Соня. Да, мне все можно. Так ты ответишь честно?

Кира. Сонь, ну говори уже, ну!

Соня. Кира... Скажи. Ты вообще веришь? Во всякое такое?

Кира. В какое — «такое»?

Кира смотрит на Соню. Соня смотрит на красивую высокую елку в гостиной. На елке горят гирлянды и поблескивают игрушки.

Кира. В смысле *(улыбается)*... В Деда Мороза, что ли?

Соня. Ну, необязательно прям в Деда Мороза... Мы же не дети. Уже... А ты себя ребенком помнишь, Кир?

Кира. Я?

Соня. Да, ты. Ты верил, тогда, во всякое такое? Во всякие... чудеса?

Кира. Ну... Да, конечно. Все дети верят.

Соня. Да. Это потому что детей все обманывают. Детям говорят, что добро победит. В конце. А это же... аморально!

Кира. Ну... А что еще делать? Говорить им правду, что ли?

Соня. Ну да. Можно так и сказать, честно. Дети, впереди вас ждет Ад. Готовьтесь, дети.

Кира *(смеется)*. Ну, и что у них будет за детство тогда? Это же не детство будет, а кошмар какой-то...

Соня. А что, лучше чтобы потом всю жизнь был кошмар?

Кира. Ну... Не знаю... Зато хоть детство. Хорошее было. У меня...

Соня. Нет, ты не веришь во всякое такое, Кир. И правильно делаешь. Потому что ты очень умный. А я верю. Потому что я дура.

Кира. Ты не дура, ты очень...

Соня. Ой, ну не надо, я тебя умоляю...

Соня встает и идет на кухню. Кирилл смотрит на нее удивленно, встает, идет за ней, со словами:

Кира. Да что с тобой сегодня, Сонь...

На кухне Соня выкладывает на тарелки еще несколько блюд.

Соня *(вдруг, возмущенно)*. Я не понимаю! Почему Новый год мы должны встречать с каким-то проходимцем?

Кира. Почему проходимцем? Он мой старый друг.

Соня. Твой старый друг, которого я никогда не видела. За десять лет совместной жизни. Я даже не знала, что он есть.

Кира. Ну, честно говоря, я и сам уже немножко...

Соня. Немножко — что? Немножко не знал, что он есть?

Кира. Ну, да... Ну он всегда так. Исчезает на годы, появляется потом, как снег на голову...

Соня смотрит в окно.

Соня. Снега нет. Почему опять на Новый год нет снега! Что это за Новый год такой! Это не Новый год, это какое-то издевательство.

Кира. Ну, Сонь, климат меняется...

Соня. Чего-чего?

Кира. Ну, климат на планете меняется, все меняется...

Соня. Да! А зачем? Меня кто-то спросил, хочу я, чтобы все менялось на планете, или нет? Ладно бы, менялось к лучшему! Так ведь нет. Если что-то, ну хоть что-то было хорошее. Обязательно на месте этого хорошего образуется какая-то... жопа!

Кира. Ну да. Нарастание хаоса.

Соня. Чего-чего?

Кира. Ну. Согласно закону термодинамики. Второму. В любой замкнутой системе нестабильность будет нарастать.

Соня. Ты хочешь сказать, есть такой закон? Что будет жопа?

Кира *(смеется)*. Ну да.

Соня. И что, хаос победит? Все равно победит? Как бы я ни старалась? *(Чуть не плачет.)* Все бесполезно, так, что ли? Зачем тогда я вообще живу на этом свете?

Кира *(подходит, пытается обнять жену)*. Сонь, ну ты что, ну это же закон физики, нельзя его так буквально трактовать...

Соня. А как еще его трактовать?

Кира. Сонюш, ну ты чего? У тебя что, эти?

Соня. Чего?

Кира. Ну. Критические дни, что ли?

Соня. У меня не дни! У меня вся жизнь! Такая... Критическая!

Кира *(смеется)*. Ну, Сонь, ну ты чего! Да прекрасная у тебя жизнь!

Соня. Да?

Кира. Да. Ну чем она не прекрасная? У тебя есть всё. И муж. Прекрасный.

Соня *(смотрит на мужа, усмехается)*. Да, муж вроде.... Ничего.

Кира. И дом прекрасный. Дизайнерский.

Соня. Да. И муж тоже дизайнерский...

Кира *(смеется)*. Да. И сад еще. С гномами!

Соня. Да. Я еще куплю их!

Кира. Купи, пожалуйста, еще гномов, много купи, целую толпу! Лишь бы ты улыбалась вот так.

С о н я *(утирает слезы, улыбается, обнимает Киру)*. Ладно... Кир! А он, вообще, кто, ты хотя бы расскажи...

К и р а. Кто? Женек? Ну, он мой старый друг.

С о н я. Ну, понятно. А вообще, он кто?

К и р а. Ну, он клоун.

С о н я *(усмехается)*. Чего?

К и р а. После школы окончил цирковое училище. На клоуна отучился...

С о н я. Это смешно. «Отучился на клоуна».

К и р а. Ну он в школе еще всегда что-то такое придумывал, изображал. Когда в школу шел, за ним всегда толпа собак бездомных увяжется и кошек тоже. Он их подкармливал, мать у него санитарка была в больнице, они бедно жили, она ему денег на буфет давать не могла, ну и даст ему с собой бутики какие-то, а он все — собакам и кошкам. Пока у нас уроки, они его у школы ждали и обратно его провожали до дома. Его завуч как-то вызвал, говорит: ты у нас тут вокруг школы давай не разводи бродячих животных! Они больные могут быть, лишайные. А он говорит: сами вы лишайный.

С о н я. Серьезно?

К и р а. Да. Чуть не выгнали его, маму его пожалели. Мы смеялись над ним. А он не обижался, ему нравилось, когда смеются над ним... Ну и вот после школы... стал клоуном.

С о н я. Потрясающе. Ну, и?

К и р а. Ну, и все. Работал в цирке, где-то там, в Новосибирске, в Иркутске... Нигде надолго не оставался, увольняли его.

С о н я. За что? Несмешные шутки были?

К и р а. Да нет, ну он... Выпивал. Клоуны, вообще, они же пьющие все...

С о н я. Да? Я не знала. Ну хотя да, говорят, в жизни юмористы — они довольно грустные люди...

К и р а. Ну и шутки тоже у него всегда были такие... На любителя.

С о н я. В смысле?

К и р а. Ну, мы когда в школе были. В восьмом классе. Учителя знали, что он любит придумывать всякое. Доверили ему выступить перед этими... Первоклашками. Тоже, кстати, на Новый год дело было...

С о н я. Ну, и?

К и р а. Ну, думали, он какие-то фокусы покажет... А он детям сказку рассказал. Про Красную Шапочку и Волка.

С о н я. Ну и что?

К и р а. Сказка такая. Шли, значит, по лесу как-то дровосеки. Искали Красную Шапочку. Пропавшую без вести. По пути к бабушке.

Кирилл наливает еще вина себе и жене.
Чокаются. Пьют по глотку.

С о н я *(смеется)*. Ну, и? По пути к бабушке пропала без вести, и что?

К и р а. Ну, идут дровосеки, значит, по лесу. Видят, под сосной волк лежит. Спит. Довольный такой. Во сне улыбается. Ну, дровосеки решили: улыбается — сытый, значит. Сытый — значит, Красную Шапочку съел. Ну, дровосеки волка замочили, недолго думая. Вспороли волку живот. А никакой Красной Шапочки там и нет. Травинки одни... И эти еще... одуванчики.

Соня удивленно смотрит на Кирилла. Вскакивает от возмущения со стула. На глазах у нее слезы.

Соня. Так нельзя! Нельзя так! Я... Я против! Такой сказки!

Кира. Ну понятное дело, что ты против. Все были против. Первоклашки ревели, его опять из школы исключить хотели, потом опять маму пожалели...

Соня. Да-а... Ну неудивительно, что его выгоняли отовсюду! И правильно делали! А нам он на Новый год зачем такой?

Кира. Сонь, ну я не мог отказать, мы не виделись, я не помню, сколько лет... Он позвонил, напросился, сказал, ему жить негде, ну и вот...

Соня *(возмущенно)*. Он что, у нас жить будет?

Кира *(смеется)*. Да нет, конечно! Просто встретит с нами... и пойдет...

Соня. Куда пойдет?

Кира. Ну... Я не знаю.. Дальше пойдет...

Соня. Куда? Ты же говоришь, ему жить негде?

Кира. Это не я говорю, это он говорит...

Соня. Слушай, ну круто, спасибо тебе! Всегда мечтала встречать Новый год с бомжом!

Кира. Сонь, он не бомж, он мой старый друг...

Соня. Друг? Что у вас общего могло быть, я не понимаю, с ним? У тебя? С клоуном?

Кира *(растерянно)*. Ну... Это же давно было, в детстве. В детстве, чтобы дружить... Много общего не надо!

В это время откуда-то с улицы, очень отдаленно, негромко, раздаются звуки. Похоже, как будто звучит хор голосов, высоких, на таком расстоянии невозможно понять, мужских или женских. Хор при этом звучит как слегка «расстроенный», никаким дирижером не управляемый. Соня и Кирилл переглядываются.

Соня. Что это? Что это такое?

Кира. Не знаю. У соседей, наверное.

Соня. У нас же соседи — юристы... Они что, поют?

Кира. Ну а почему... юристы... не могут петь?

Соня. Кирилл, ты что, пьяный уже?

Отдаленные звуки хора резко прерываются. Пару секунд Соня все еще прислушивается, держа в руках пару тарелок с блюдами. Голосов больше не слышно. Соня идет с тарелками обратно в гостиную. За ней снова увязывается Кира.

Соня проходит в гостиную. И вскрикивает от испуга, и едва не роняет тарелки, когда вдруг натыкается на человека, который стоит в гостиной у стола спиной к Соне и на ее пути. Это старый друг Кирилла — Женя. Женя худощавый, жилистый, сутуловатый.

Когда Женя оборачивается, его удивленно и радостно узнает Кирилл.

Кира. Женя?

Соня расслабляется на секунду, поняв, что в доме не грабитель, а друг Кирилла, о котором они только что говорили.

Но в следующую секунду Соня. снова вскрикивает и снова чуть не роняет тарелки. Потому что вдруг громко бьют «три часа» старинные часы на стене.

Соня и Кирилл потрясенно смотрят на часы, потом друг на друга, потом на гостя.

Гость — старый друг Киры, Женя, приветливо улыбается Кириллу и Соне.

Ж е н я. Ребята!

Сцена 2. Сад у дома Кирилла и Сони, вечер перед Новым годом

Вид через большие окна дома Кирилла и Сони на сад.

По темному саду у дома проходят едва различимые фигуры. Фигуры высокие, худые. Слышен тихий, как будто молитвенный, шепот.

Сцена 3. Дом Кирилла и Сони, вечер перед Новым годом

Бодрый и оптимистичный Кирилл проводит для Жени тур по дому. Кирилла вынужденно и неохотно сопровождает Соня. Завершается тур там, где начался — в гостиной.

Ж е н я. Хороший дом. Мне нравится, что богато, но со вкусом.

К и р а. Правда?

Ж е н я. Да. Плохо было бы, если богато, но без вкуса. Как у жлобов.

Кира секунду вопросительно смотрит на Женю. Потом оба «раскалываются», смеются. На них с легким недоумением смотрит Соня.

Кира подводит Женю к стене в гостиной. На стене старые часы, они идут. Кира смотрит на часы.

К и р а *(Соне)*. Слушай, ну правда, мистика какая-то. Это же мамы моей часы. Ты же помнишь их, они в маминой квартире были!

С о н я. Не помню.

К и р а. Ну как не помнишь? Они же всегда там были! Мамины часы! А у мамы они от ее мамы. Бабушки моей.

С о н я. Не помню.

К и р а *(рассказывает Жене)*. После того как мама умерла, они поломались. Не сразу. Или сразу. Не помню. Я хотел мастера найти, починить, но потом как-то... Ну вот так и висели тут. А ты появился, и смотри! Они починились! Сами! Они идут!

Ж е н я *(рассеянно)*. Да, мистика какая-то.

Женя смотрит на картины на стене.

Ж е н я. А это что?

К и р а. Картины.

Ж е н я. Что за картины?

К и р а. А, так это... *(Указывает на Соню, стоящую за их спинами.)* Она. Соня же у меня — художница.

Женя *(оборачивается, коротко смотрит на Соню)*. Да?

Кира. Да! Рисует, вообще, много, и маслом, и тушью, и чем хочешь. У нее выставки были!

Женя. Да ты что?

Кира. Да. В Москве, на Винзаводе, ну не персональная пока что, но много... Десять... *(Соне.)* Десять твоих работ там было или сколько?

Соня смущенно не отвечает.

Женя проходит вдоль картин. На картинах — букеты разных засохших цветов, в красивых вазах, на подоконниках, с видом на сад.

Женя *(со значением)*. Натюрморты. Понимаю.

Кира. Ну нет, это не совсем натюрморты. *(Соне.)* Это же не считается натюрморты, да, Сонь?

Женя. Цветы же мертвые. Ваза тоже. Не живая. Значит, натюрморты.

Соня делает жест типа «фейс палм», со значением «Господи, что он несет».

Женя. *(Соне, развернувшись к ней.)* Так вы, значит, творческая личность?

Кира *(за Соню)*. Да! *(Смеется.)* Вы с ней в чем-то похожи...

Соня *(удивленно)*. В чем?

Кира. Ну, я имел в виду... Он же тоже творческий...

Женя. *(Соне.)* Я клоун.

Соня. Я в курсе.

Кира. Ну вот, а ты художница. Собратья, можно сказать... Слушайте, надо же старый год проводить! Раз уж встретились! Да?

Женя. Да. Раз уж встретились. Да.

Женя смотрит коротко на Соню.

Соня смотрит на Женю вопросительно-враждебно.

Соня. А как вы попали? В дом?

Женя. Я... вошел. Дверь. Не закрыта была. На террасу...

Кира. Я сколько раз говорил: закрывай...

Соня. Да, я все время забываю... *(Жене.)* И вы всегда так в дома к людям вламываетесь?

Женя *(простодушно)*. Ну... Смотря к каким людям. К друзьям — да.

Соня хмуро смотрит на Женю.

Сцена 4. Сад у дома Кирилла и Сони, вечер перед Новым годом

Музыка. Вид через большие окна дома Кирилла и Сони на сад.

К окнам приближаются существа. Они подходят все ближе, потом приникают к окнам. Лица их нельзя рассмотреть. Существа подсматривают в окно, что происходит в доме. Двое из них даже толкаются, как дети, чтобы занять место получше у окна.

Сцена 5. Дом Кирилла и Сони, вечер перед Новым годом

Кира, Женя и Соня за столом в гостиной. Кира наливает вина. Поднимает тост.

К и р а. Ну что, друзья. Проводим старый год *(смотрит на Соню)*. Год был... непростым. Но трудные времена, они тоже, наверное, нужны. Чтобы после них хорошие моменты...

С о н я *(резковато)*. Господи, давайте уже выпьем, а.

Кира и Женя смотрят удивленно на Соню. Чокаются, выпивают.

К и р а. Жень, ты поешь, слышишь! Худой ты такой... А я вот тоже сейчас худею! Решил скинуть слегка. Я бегаю и плаваю. Много.

Ж е н я. Зачем?

К и р а. Что — зачем?

Ж е н я. Зачем бегаешь?

К и р а. Ну, как... Чтобы быть. В форме *(указав на блюда на столе)*. Это все не покупное, это все она. Не каждая художница так готовит, согласись?

Ж е н я. Не каждая.

К и р а. Художники, они же обычно не от мира сего. А она — нет. Готовит!

Ж е н я. Да. Повезло тебе. С ней. Я налью еще?

Кира кивает. Женя наливает всем еще вина.

Ж е н я. Спасибо вам. За... гостеприимство!

К и р а. Давай, Женек. Я страшно рад.

С о н я *(насмешливо-раздраженно)*. Так нельзя сказать по-русски!

К и р а. Почему?

С о н я. Потому что это глупо звучит. «Страшно рад». Что это такое — «страшно рад»? Ты так рад, что тебе страшно?

К и р а *(растерянно)*. Ну. Это же я...

Ж е н я. Это он от души.

Женя и Кира смеются. Выпивают. Соня хмуро смотрит на Женю и Киру, тоже делает пару глотков. Не может удержаться, пытается как-то задеть незваного гостя.

С о н я *(Жене)*. А вы, значит, вместе учились, да?

Ж е н я. Да. За одной партой.

К и р а. С первого класса по пятый. Или шестой?

Ж е н я. Шестой.

К и р а. Да. Потом рассадили нас. Мы болтали все время, мешали...

С о н я. Трогательно как. *(Жене.)* А я никогда раньше про вас не слышала *(глянув на Киру)*. Он про вас ничего не рассказывал. Только сегодня узнала. Что есть такой «старый друг».

Женя и Кира переглядываются и смеются. Их веселье Соню еще больше раздражает.

С о н я *(Жене)*. А вы, значит, клоун? По специальности?

Ж е н я. Ага.

С о н я . И в каких вы работали... цирках?

Ж е н я . Ой, ну... В разных. По всей стране. Фактически.

С о н я . А теперь вы, значит... «Фактически» безработный клоун?

Ж е н я . Да. А что делать. Профессия умирающая. Вокруг столько клоунов стало. Что мы, клоуны. Не выдерживаем конкуренции.

С о н я . Да что вы говорите?

Ж е н я . Да. *(Кире.)* Я еще по чуть-чуть?

К и р а . Да, давай...

Женя наливает всем еще вина.

С о н я . А на что же вы живете? Вы бомж, да? Вот так скитаетесь, по старым друзьям, кто-то покормит, кто-то пригреет?

Ж е н я . Ну... Как вам сказать. Сейчас не поскитаешься особо. Люди такие стали. Неприветливые. Негостеприимные. Никто просто так не пригреет.

С о н я . Да?

Ж е н я . Да. Вот раньше было много компаний. *(Кире.)* Было же такое, скажи? Компании. Собирались люди вместе. Выпивали. Закусывали. Общались. Пели люди за столом! Песни! «Ромашки спрятались, поникли лютики».

К и р а *(чуть не давится едой от смеха)*. Женек, прекращай... какие лютики...

Ж е н я *(продолжает)*. А теперь у всех на дверях что? Камеры. Чтобы заметить вовремя, что компания какая-то пытается проникнуть в помещение. И полицию вызвать.

К и р а . Да. Компании исчезли. Точно! Слушай, да! Я и не задумывался...

С о н я . А тебе они что, нужны? Компании? У тебя же своя есть компания. Успешная.

К и р а . Ну, это же он про другое... не про компании, а про «компании»...

Ж е н я . Да не только на дверях! На головах у людей камеры уже. Устанавливают.

К и р а . В смысле?

Ж е н я . Да вот недавно на улице видел мужика. У него на голове камера. Я говорю: зачем она тебе там? На голове. А он говорит: ну мало ли. Время сейчас, говорит, тревожное. Вдруг кто-то вторгнется в мое личное пространство. А у меня тут все пишется, говорит. Как на регистраторе в машине. И все передается сразу. В органы быстрого реагирования.

К и р а . Да ладно? *(Смеется.)* Ты шутишь! Да? *(Соне.)* Он шутит!

С о н я . Да. И как всегда, не смешно. Вас поэтому увольняли отовсюду, да? Потому что вы несмешной клоун, да?

Ж е н я *(не обращая внимания на Соню, говорит с Кирой)*. Кир! Скажи, вот у тебя есть личное пространство?

К и р а . У меня?

Ж е н я . Да. У тебя.

К и р а . Ну... Я не знаю... Наверное, есть...

Ж е н я . А у меня вот нет личного пространства! Где оно? *(Смотрит по сторонам.)* Нет его. Да и зачем оно мне? С ним же проблемы одни. Надо за ним ухаживать. Охранять его. Огораживать, окашивать. А у меня его нет. И ничего, живу ведь. Без личного пространства. И без этого еще... Как его... Без «личностного роста»! Куда мне расти как личности? Расти дальше уже некуда. Да и зачем?

Кира и Женя смеются. Соня понемногу закипает, глядя на них.
Женя наливает еще вина.

К и р а. Женек, если в таком темпе будем провожать старый год, можем новый не встретить!

Ж е н я. Да встретим, куда денемся...

Кира и Женя поднимают бокалы.

С о н я. Что, просто так пьем уже, без тостов, как бомжи? Может, безработный клоун скажет что-нибудь?

Ж е н я *(удивленно)*. Я?

С о н я. Да. Вы. Покажите, на что вы способны.

Ж е н я. Я вообще... Способен на многое.

С о н я *(смеется)*. Я не сомневаюсь.

Женя смотрит на бокал в своей руке. Потом смотрит в сторону окна.

Ж е н я. Новый год. Опять без снега. Что это такое. Это не новый год, это издевательство какое-то.

Соня и Кира на секунду замирают, удивленно смотрят на Женю.

Женя все так же смотрит в сторону окна. Говорит, как будто обращаясь к кому-то за окном.

Ж е н я. Ребятки! Снег!

На секунду гаснет весь свет.

Зажигается снова. Кира, Женя и Соня все так же столом. Соня и Кира смотрят в сторону окна. За окном идет снег.

Соня встает и идет к окну. За ней удивленно следует и Кира.

Женя остается за столом, наливает себе еще вина и пьет залпом, с выражением «пока они там ходят».

Сцена 6. Сад у дома Кирилла и Сони, вечер перед Новым годом

Вид через большие окна дома Кирилла и Сони на сад.

В саду валит снег, деревья и кусты в снегу.

К и р а. Это что такое. А? *(Смотрит на Соню.)* Это что такое?

Соня смотрит на снег за окном. Оборачивается, смотрит назад (в сторону стола, за которым сидит Женя).

Женя, не глядя на Соню и Киру, улыбается.

Сцена 7. Дом Кирилла и Сони, вечер перед Новым годом

Там же, в гостиной. Женя уже пьяный, стоит у стены с картинами, смотрит на картины, громко говорит, Кира пытается его усадить и успокоить.

Женя *(Кире)*. Отпусти меня! Что ты вторгаешься! В мое личное! Пространство! Я хочу высказаться. Как искусство... вед! *(Соне.)* «Художница»... Почему цветы у тебя мертвые? И вазы тоже! Никчемные картины у тебя! Ты никчемная художница!

Соня сидит за столом.

Соня *(смеется)*. Я знаю!

Кира *(Жене)*. Старичок, ну не надо, ну ты чего! *(Соне.)* Ты хорошая художница!

Соня. Нет. Он прав. *(Жене.)* Ну давай говори, говори, клоун несчастный.

Женя. Сами вы несчастная! А почему это вы говорите мне «ты»? Меня это как-то шокирует!

Соня. Потому что глупо обращаться к клоуну на «вы».

Женя. Хм. Да. Ты права! Я тогда тоже буду говорить тебе «ты»!

Соня. Ты уже это делаешь. Ты же сказал, какая я художница.

Женя. Да, я сказал! Это мой долг! Говорить правду!

Соня. Да, я понимаю. Это твой святой долг. Клоунский.

Кира. Соня, ну не начинай! Женек, ну сядь, ну я тебя очень прошу, ну не порть праздник, мы же тебя приняли как люди...

Женя. «Как люди». Что вы за люди! Эта рисует мертвечину! *(Переключается на Киру.)* А этот! «Аналитик финансовых рынков». Вот из-за таких, как ты, мир и катится! К чертовой матери! Неужели вы этого не чувствуете, а?

Кира. Чувствуем. Женек, ну хорош, а! Ну хватит!

Женя. Ты бы лучше не финансовые рынки, анализировал! А меня! Чем я хуже финансовых рынков? Деньги только всем интересны! Золотой телец. А Моисей предупреждал! А кто его слушал? А я? А как же я? Ты меня проанализируй, и ты охренеешь! Что ты обнаружишь!

Соня. Господи, ты реально клоун...

Женя. Да, я клоун! Это прекрасная профессия! Древнейшая! Мы как проститутки. Мы нужны людям. Да! Народу нужны клоуны, потому что с ними... не так страшно! Жить! А царям мы тоже нужны, потому что с нами не так грустно! Править! Жизнь коротка и вся состоит из... ошибок. Непоправимых. Да. Короткая жизнь. А как не удалась! Но! Сожалею ли я, что так прошла моя жизнь? Да ничего подобного. В целом все прошло гладко, да и с погодой повезло. Могло быть хуже. Вот как у вас, бедолаг. Тихая жизнь, уже наполовину загробная. Ищете оправдания для своей утонченной никчемности. Меняете перегоревшие лампочки и перегоревших друзей. Вы думаете, ваша интеллигентность спасет вас от геенны огненной? Знаете, что скажет геенна огненная, когда поглотит вас? Она спросит: «Нет ли добавки?» *(Соне.)* А она картины рисует, «художница»! *(Кире.)* А он рынки анализирует финансовые! Ну и кто из нас клоун несчастный, а?

Соня. Зато мы с ним хотя бы! Любим друг друга! А тебя никто не любит!

Женя. Вранье! Никого ты не любишь *(указав на Киру)*. Он просто верит, что у тебя есть «внутренний мир»! Сложный. Ты его в этот свой внутренний мир не пускаешь! Чтобы он и дальше верил, что он у тебя есть. А что там у тебя, в твоем внутреннем мире, а? Душа человека — потемки. А фонарик включишь — так и смотреть нечего. Как на картинах твоих! А тебе так удобно. Чтобы кто-то тебя жалел, такую «творческую», такую нелепую. И он тебя тоже не любит! Ты вообще не в его вкусе, если хочешь знать! Я его вкус знаю, потому что мы за одной партой сидели! С первого класса! По шестой! Ему нравятся кругленькие, складненькие! А ты не круг-

ленькая! Не складненькая! У тебя нос длинный. Ты думаешь, ты похожа на Анну Ахматову? Ты похожа на цаплю заблудившуюся! Смотрю на вас. И жить не хочется!

Соня смотрит на Женю и наконец вскипает.

С о н я. Пошел вон, скотина!
Ж е н я *(возмущенно)*. Ты что обзываешься!
С о н я. Пошел вон из моего дома!
Ж е н я. Обидеть клоуна — большой грех! Хуже, чем обидеть ребенка!

Соня подскакивает к Жене и пытается его вытолкать из комнаты.
Женя сопротивляется. Их пытается разнять Кира.
Вырвавшись, Женя вдруг отходит на несколько шагов в сторону от разгневанной Сони и растерянного Киры. И виновато, но при этом убежденно говорит им обоим.

Ж е н я. Да, я плохой человек! Я очень плохой человек. Но зато со мной разговаривают ангелы. Если бы вы знали, какие прекрасные у них голоса...

Сцена 8. Дом Кирилла и Сони. Новогодняя ночь

Кира и Соня вдвоем в гостиной, стоят у стола. Кира наливает шампанское в два бокала.

К и р а. Три минуты осталось. Давай скорее, а то Новый год пропустим...

Соня смотрит на третий, пустой бокал, в который Кира не налил шампанское. Смотрит на Киру. Кира отвечает на Сонин молчаливый вопрос.

К и р а. Ну, он же... Устал. Я уложил его.
С о н я. Где?
К и р а. В зеленой комнате...
С о н я *(удивленно)*. Ты что его, в соседней...
К и р а. Ну... да. А как они друг другу помешают...

В это время раздается звук — как будто кто-то стучит в окно, негромко, но настойчиво. Соня смотрит в сторону окна.

С о н я. Ты слышал?
К и р а. Что?
С о н я. Как будто стучал в окно... кто-то стучал.
К и р а. Сонь, кто мог стучать в окно, ты чего...
С о н я. Я не знаю.
К и р а. Жалко, конечно, что Женек так... Что с нами не встретит... Но будить его не будем, я думаю... Ну что *(смотрит на часы на руке)*. Две минуты *(смотрит на часы на стене)*. Надо же... Идут... Мамины часы...

Снова раздается тот же звук — стук в окно.

С о н я *(смотрит в сторону окна)*. Опять! Опять стучит кто-то!

К и р а . Сонь, не пугай меня. Никто не стучит!

Соня порывисто идет к окну. Смотрит в окно. За окном по-прежнему идет снег.

С о н я *(не оборачиваясь на Киру)*. Как он это сделал?
К и р а . Что?
С о н я . Снег. Не было же снега.
К и р а . Что значит — «сделал»... Просто... Не было снега, и пошел... Погода... Непредсказуемая.

Соня возвращается, проходит мимо стола, на ходу поставив свой бокал.

К и р а . Сонь, минута до Нового года!

Но Соня выходит из гостиной. Кира удивленно смотрит ей вслед. Смотрит в сторону окна. В окне видны существа. Одно из них прильнуло лицом, черты которого нельзя рассмотреть, к стеклу. Существо тихо стучит в окно. Кира смотрит в сторону окна, но он ничего подозрительного не видит и не слышит.

Сцена 9. Дом Кирилла и Сони. Зеленая комната. Новогодняя ночь

Действие происходит в «зеленой комнате». Комната оборудована как спортзал для ребенка: шведская стенка, канат, мячи, спортивные скамейки и цветные детские гантели на полу. Стены в комнате выкрашены в приглушенный зеленый цвет, таких же тонов жалюзи на окнах. Соня кричит и держит ноги Жени. Женя висит на шведской стенке. Он уже без сознания. В комнату вбегает Кира. С ходу бросается к Соне. Сначала тоже пытается держать ноги Жени. Потом бросает ноги Жени, влезает на шведскую стенку, пытается развязать узел одной рукой, но не может, хватается за узел двумя руками, из-за этого срывается, падает со шведской стенки и тоже кричит от отчаяния и боли.

АКТ 2

Сцена 1. Дом Кирилла и Сони. Новогодняя ночь. Гостиная

Позже. В гостиной за столом сидят Кира и Соня. Оба совершенно опустошенные. На столе нетронутая еда. Два бокала с растерявшим уже все пузырики шампанским. Кира говорит горестно.

К и р а . Новый год пропустили.

Соня смотрит на него отстраненно, усмехается устало.

К и р а . Ты знаешь. Он мне. Дал первые деньги. Женя.

Соня смотрит на Киру удивленно, и Кира поясняет.

К и р а . Я когда начинал, идеи у меня были, а денег не было. А идеи без денег — это что? Это мечты. А он тогда с гастролей вернулся. Зарубежных, с цирком своим.

Им там хорошо заплатили. В валюте. Твердой. И он мне все отдал, что у него было. Ну, и я их вложил... Дальше все пошло, компания моя... Женек был мой бизнес-ангел. Ну и вот. Как я мог ему отказать. Я не мог ему отказать. Ну я же не знал! Я думал, повидаемся. Давно не виделись. Я же не знал, что он... такое...

Соня в состоянии оцепенения слушает Киру. Потом вдруг смеется.

К и р а. Ты чего?

С о н я *(смеется)*. Ничего.

К и р а. Что ты смеешься? Что смешного-то?

С о н я. Ничего.

К и р а. Вот именно. Ничего смешного! Новый год пропустили! Человек у нас в доме чуть не... Что смешного?

Соня *(с трудом, через смех)*. Бизнес... клоун...

К и р а. Чего?

С о н я. Я подумала. Он твой. Не «бизнес-ангел». А бизнес... Ой, я не могу... Бизнес-клоун!

Соня смеется, как ребенок. Кира смотрит на Соню хмуро. Берет бокал.

К и р а. Ну что, давай...

С о н я *(все еще сквозь смех)*. Да, давай! «Год был непростым»...

Соня, не чокаясь и не глядя на Киру, выпивает залпом шампанское.

Кира смотрит на нее подавленно. Тоже делает пару глотков.

Потом Соня встает и идет к окну.

Существо за окном в саду с чертами лица, которые нельзя рассмотреть, прильнув к стеклу, смотрит на Соню.

Соня смотрит на существо за окном.

Произносит тихо.

С о н я. Ты кто?

Кира слышит это. Обернувшись от стола, удивленно смотрит на Соню.

К и р а. С кем ты разговариваешь?

Сцена 2. Дом Кирилла и Сони

Утром Кира в гардеробной одевается. Входит Соня. Удивленно смотрит на Киру. Кира уже в костюме, завязывает галстук.

С о н я. Ты куда?

К и р а. На работу.

С о н я. На какую работу? Праздники же...

К и р а. Ну да, но я же тебе говорил. Интервью попросили дать... «Чего ожидать от нового финансового года, во что вкладываться...» И так далее *(обернувшись к Соне)*. Не переживай. Он оклемается немного, проспится. И сразу уедет. Я вернусь, скажу ему.

С о н я . А куда он уедет? Ему же ехать некуда. Он же бомж.

К и р а . Ну... Да. Но нам какая разница, правильно? Мы и так уже. Натерпелись, такой Новый год долго не забуду...

С о н я . Да. Новый год действительно незабываемый... Кир, скажи. А ты вообще себя маленьким, ну в детстве, помнишь?

К и р а *(удивленно смотрит на Соню)*. Ну да, конечно.

С о н я . И что ты помнишь? Какие моменты?

К и р а *(задумывается)*. Ну... Помню... *(Задумывается уже с усилием и почти с тревогой, как будто ничего не может вспомнить, потом вдруг радостно.)* Помню, как мне подарили пистолет!

С о н я . В смысле, пистолет?

К и р а . Ну игрушечный такой. Синенький он был.

Соня с насмешкой смотрит на Киру. Кира надевает часы. Поправляет галстук, прическу. Придирчиво смотрит на себя в зеркало. Смотрит на свои зубы. Всем увиденным остается в целом доволен.

С о н я . Скажи. Почему ты бросил Алешу? Как ты мог так поступить? Он ведь ждал тебя. Надеялся на тебя.

Кира удивленно смотрит на Соню.

К и р а . Чего вдруг... Ты про это вспомнила?

С о н я . Просто захотела и вспомнила. Как ты мог его вот так бросить?

К и р а . Да я не бросил! Просто как-то...

С о н я . «Просто как-то» — что?

К и р а . Господи, ну я приходил, когда мог, ты же помнишь, я жил там рядом, квартиру снимал, две минуты пешком! А потом я переехал, и по работе начался ад, и...

С о н я . Ты предал его! Ты предатель!

К и р а *(взрывается)*. Да не предавал я никого! Соня! Что ты несешь такое вообще! Я же не обязан был! Я приходил, когда мог! Потом... больше не мог!

С о н я . Предатель!

К и р а . Перестань!

С о н я . Они его там убили!

К и р а . Кто? *(Усмехается.)* Да нет, как убили...

Кира меняется в лице. Смотрит на Соню, как будто хочет понять, шутит ли она. Но Соня совершенно серьезна.

К и р а *(искренне огорченно)*. Как убили? Алешу убили эти все? Ты что, узнавала? Ты приходила, что ли, потом, без меня?

С о н я . Я шучу. Я просто шучу не смешно. Как твой старый друг. Я ничего не узнавала. Я никуда не приходила. Я такой же предатель, как ты. Уходи. Видеть больше тебя не могу.

Соня смотрит еще секунду с неприязнью на Киру. И уходит.
Кира остается совершенно потерянный.

Сцена 3. Дом Кирилла и Сони

Позже. Соня и Женя за столом в гостиной. На столе накрыт завтрак. Вид у Жени тихий и виноватый.

Соня. Ты есть-то можешь? После этого... *(Насмешливо показывает жест «петля на шее».)*

Женя. Могу.

Соня. Ну, ешь тогда. Для кого я это все готовила, для себя, что ли... Сейчас психологи знаешь, что говорят людям?

Женя. Не знаю.

Соня. В смысле? А, ну хотя понятно, ты же бомж, а у бомжей не бывает психологов. Они говорят: «Нужно полюбить себя, и все будет ок. Нужно жить для себя». А я вот сколько ни пробовала, у меня не получается. Не могу полюбить себя. Ты не знаешь почему?

Женя. Знаю.

Соня. Да? Ну и почему?

Женя *(робко)*. Непонятно, за что любить себя?

Соня *(секунду удивленно смотрит на Женю)*. Да. Точно. Не понимаю, за что я должна себя полюбить. А жить для себя — так это вообще тупость. Это же значит жить, как какой-то... таракан, как какой-то комар малярийный... «Живите для себя». И это что, все? Ради чего тогда было это все? Искусство Возрождения. Храмы, фрески, картины. Чтобы в итоге «живите для себя»? Это же тупо, что, нет? Слушай, а как ты стал клоуном? Ты что, с детства так вот и хотел стать клоуном, что ли?

Женя. Ну... Да.

Соня. То есть ты себя не искал? Счастливый человек. А я вот до сих пор не знаю... Кем я буду, когда вырасту. Открой шампанское. Вчера ты себе напозволял. Сегодня я себе напозволяю. Напьюсь. Как Нико Пиросмани. «Жил был художник один. Много он бед перенес». Ну понятное дело, много бед перенес. Что еще мог перенести художник. Много удачных продаж?

Женя открывает шампанское. Чокаются, пьют.

Женя. А я в детстве не мог соревноваться.

Соня *(улыбается)*. В смысле, не мог соревноваться? С кем?

Женя. Ни с кем. В школу, когда я пошел. Там на уроке физкультуры. Надо было бегать наперегонки. А я очень быстро бегал. Быстрее всех. Но когда видел, что обогнал другого мальчика или девочку, я останавливался. И ждал их.

Соня. Почему?

Женя. Потому что... Ну а зачем? Я же и так знаю, что я быстрее добегу. Зачем их побеждать? Они же расстроятся.

Соня смотрит удивленно на Женю.

Соня. Да... Ну, с такими данными, да. Была одна дорога. В цирк.

Женя. Да.

Соня. Скажи, а на нас тебе вообще пофиг, да? Ну вот что было бы, если бы мы тебя не спасли? Что тогда? Как мы бы тогда дальше жили в этом доме, и вообще!

Ты специально к нам в гости приехал, чтобы испортить нам праздник, да? Ты завидуешь Кире, да, признайся, что у него есть все: и работа, и дом, и семья, а у тебя нет ничего, да?

Женя *(неожиданно легко)*. Да.

Соня растерянно смотрит на Женю.

Соня. Слушай, ну это же скотство. Вот так приехать и испортить праздник людям. Которые тебя приняли как человека!

Женя. Да.

Соня. Перестань соглашаться со всем, что я говорю! Бесишь ужасно!

Женя *(покорно)*. Ладно.

Некоторое время Женя подавленно жует, не поднимая глаз на Соню.
Соня смотрит на Женю. Встает из-за стола, идет к окну.
За окном медленно идет снег.

Соня. А как ты сделал снег? *(Уверенно.)* Не может быть, что ты это сделал. *(Тут же.)* Как ты это сделал?

Женя. Это не я. Это они.

Соня *(смотрит с насмешкой на Женю)*. Кто? Голоса в твоей голове? Ты больной на голову просто, я поняла...

Женя. Нет. Голоса у меня в голове, да, есть, но они снег не могут, они вообще ничего не могут. Могут только говорить *(шепотом):* «Женя, что ты делаешь, Женя!» А снег — это они. Ангелы.

Соня смотрит на Женю с насмешкой.

Соня. А в окно кто стучал? Кто-то стучал в окно. Я слышала. Тоже они? Ангелы?

Женя. Ага.

Соня смотрит на Женю уже не насмешливо, а серьезно.

Соня. Ты шутишь?

Женя. Нет. Не шучу.

Соня возвращается к столу. Становится за спиной Жени и кладет ему руки на плечи. Жене от этого неловко, он сидит с выражением лица, как на скамье подсудимых.

Соня. А знаешь, как мы с Кирой познакомились?

Сцена 4. Интервью Кирилла для ТВ

Кирилл жмурится от яркого света приборов. Он в телевизионной студии некой утренней программы. Кира в идеальном костюме, идеально причесанный, но от этого еще сильнее заметно, что вид у него совершенно потерянный. Журналистку, которая задает вопросы Кире, мы не видим. В кадре только Кира.

Голос журналистки за кадром. ...Так чего же нам всем ожидать от нового финансового года, во что вкладываться, расскажет наш гость, финансовый аналитик Кирилл *** *(фамилия звучит неразборчиво)*. Доброе утро, Кирилл!

Кира смотрит пару секунд в камеру. После паузы.

Кира. Доброе, утро... Ну, в целом... Прогноз на год... Оптимистичный...

Кирилл молчит несколько секунд.

Кира *(после паузы)*. Мир катится. Куда катится? К чертовой матери. Может, лучше вам не знать прогноз? Зачем вам его знать. А у меня в доме сейчас клоун. А в саду гномы. А скоро их будет еще больше. Успех? Финансовый? Да. Самый лучший способ заглушить боль. А Моисей предупреждал. А кто его слушал? Клоуны, несмешные. Что вы пристали ко мне. Рассказывать про будущее я вам должен... Я вам не Ванга. Не мучайте меня. Что я вам плохого сделал? Разве я так хотел жить? Нет, не так. Что со мной не так? Все со мной не так. Где тот ребенок, которым я был? Почему он не протягивает больше мне руку?

Кира снова на какое-то время замолкает. После паузы.

Кира. Ну вот, вкратце. Так...

За кадром слышен голос журналистки.

Голос журналистки за кадром. Это же не пошло в эфир? Серьезно, это что, пошло в эфир?

Кира улыбается, как будто освободился от тяжелой ноши.

Сцена 5. Дом Кирилла и Сони

С того же места: Соня стоит за спиной Жени у стола, положив ему руки на плечи.

Соня. Мы познакомились с Кирой в зоопарке.

Женя усмехается.

Соня. Да. Это смешно, можешь смеяться. Меня в детстве бабушка с дедушкой водили в зоопарк. Потому что мои родители развелись. Сначала зачем-то полюбили друг друга, потом зачем-то родили меня, потом развелись. Ну и вот. А бабушка с дедушкой меня по субботам, значит, в зоопарк. Сейчас я думаю, они наверное, считали, что это хороший способ рассказать ребенку, что его ждет в будущем. Показать зверей в клетках. Ну и вот. Потом дедушка с бабушкой умерли. А я все равно так и ходила в зоопарк. По привычке. И там однажды увидела Киру. Он туда приходил, по выходным тоже. Подкармливал там обезьяну Алешу. Там был такой молодой шимпанзе. Алеша. Изгой. Его все остальные обезьяны обижали, щипали, кидались

в него какашками, ну, у них так принято, у шимпанзе... А Кира его подкармливал. Так и познакомились. Мы потом говорили с местным, зоопарковским биологом. Я его спросила: что Алеша этот бедный делает не так? Почему он стал изгоем?

Соня садится рядом с Женей на соседний стул. Смотрит на Женю в упор, отчего Жене неловко.

Ж е н я. И что биолог сказал?

С о н я. Он сказал... *(Изображает голос биолога.)* «Трудно сказать однозначно. Животные чувствуют отклонения какие-то. Есть, видимо, у Алеши какая-то мутация. Из-за которой они считают, что он не такой, как они». Ну, и вот. А я вот думаю, у Алеши был какой-то талант. Талант — это же мутация. У меня вот нет таланта. Молчи, ничего не говори, я же знаю, я же не дура. Но раз у меня нет мутации, значит, я нормальная? Но нормальная должна «полюбить себя», «жить для себя». А я когда смотрю в зеркало, я вообще не понимаю, что это вообще такое, кто это вообще такое. У меня все есть, у меня должно быть счастье, а у меня вместо счастья — дырка в душе. Почему так? Ты не знаешь?

Женя смотрит на Соню, молчит.

Сцена 6. Сад у дома Кирилла и Сони

В саду у дома Кирилла и Сони. Три фигуры (Ангелы) стоят вокруг дерева. Дерево все в снегу. Одна из фигур протягивает руки к дереву и трясет ветви. С дерева обрушивается куча снега и осыпается на две другие фигуры. Две фигуры стоят несколько секунд явно в легком шоке. Смотрят друг на друга, потом на третьего, который это сделал. Потом все три фигуры смеются — смеются они беззвучно, но можно понять, что они это делают, потому что их плечи чуть подрагивают и они наклоняют коротко головы влево-вправо.

Сцена 7. Дом Кирилла и Сони

Соня и Женя стоят вдвоем на террасе. На плечи у обоих накинуты пледы. С террасы вид на сад.

Ж е н я *(продолжает рассказ, начало которого мы не слышим)*. Да, давно. В детстве перед сном мама свет в комнате выключит. Я лежу. Чувствую, я тут не один... Ну и однажды говорю им шепотом: «Эй, вы, кто там есть. Покажитесь. Хоть на секунду». А они говорят: «Мы покажемся, если ты скажешь, на что ты согласен...»

С о н я. Ну, и... Дальше?

Ж е н я. Ну, я говорю: «Эй, вы, кто там есть. Я согласен не жить, а мучиться с дыркой в душе. Только на секунду покажитесь». *(Соне.)* Нет, ну конечно, если бы я тогда знал, что они не на секунду покажутся, а так и останутся со мной навсегда, я бы, конечно, не согласился. Но я маленький был, не мог оценить последствия.

Соня смотрит на Женю.

С о н я. А почему они тебя не спасали, когда ты... Нам с Кирой пришлось вместо них.

Женя *(весело)*. А так они же не обязаны. Они же не ангелы-спасатели. Они ангелы-хранители.

Соня. Что же они хранят? Не твою разве жизнь?

Женя *(смеется)*. Да нет, ну что ты. Мою жизнь какой смысл хранить, что в ней такого ценного.

Соня. А что тогда они хранят?

Женя *(шепотом)*. Тайну.

Соня смотрит на Женю слегка подавленно.

Женя. А кто живет там? На втором этаже. Я слышал. Там кто-то ходит. Ночью.

Соня *(после короткой паузы)*. Да. Это... Мой сын. Наш с Кирой сын. Его зовут Лука. Это значит — «свет». Это я имя придумала. Когда его родила. Точнее, потом. Когда его родила, не могла ничего придумывать. Под наркозом была. А имя красивое, да?

Женя смотрит на Соню. Явно хочет спросить, но не спрашивает. Соня отвечает на не заданный Женей вопрос.

Соня. Он с нами не был за столом, потому что он вообще с нами редко... Редко спускается. По врачам его водили, думали, может, он... Но врачи диагноз никакой так и не смогли... Говорят — просто у него такая особенность. Может, мутация какая-то непонятная... Как у того шимпанзе. У Алеши.

Женя. А что он делает?

Соня. Кто, Лука? Ну, он... Сидит один в своей комнате. Днем читает. Он с пяти лет читает. И не детские сказки. А про Вселенную, Стивена Хокинга, про черные дыры. Ужас какой-то... А по ночам ходит. Как лунатик. Или у окна сидит. В окно смотрит. А на что там смотреть... Сад у нас за окном, больше ничего. Как он может быть все время один, я не понимаю, я бы с ума сошла...

Женя. А он не один.

Соня удивленно смотрит на Женю.
Женя смотрит в сторону сада.
Соня смотрит туда же, куда смотрит Женя.
В саду деревья все в снегу. Только на одном дереве нет снега: снег с дерева стряхнули.

Сцена 8. У дома Кирилла и Сони

Вечер, уже стемнело. Кира подходит к дому и видит костер.
Подходит ближе. У костра стоит Соня.
В костре горят картины Сони. Соня зачарованно смотрит на сгорающие в огне холсты и рамы.

Кира *(испуганно)*. Ты что делаешь?

Соня. Смотрю.

Кира *(после короткой паузы)*. Зачем ты... Это же твои, они же...

Соня. Иди домой, Кир.

Кира несколько секунд смотрит на Соню, на горящие картины. Уходит.
Соня смотрит на огонь.

Сцена 9. Дом Кирилла и Сони

Кира в комнате с Женей. Женя сидит на стуле, Кира садится на диван, но ему не сидится, встает, садится на стул, но и там ему не сидится. Ходит, пока не останавливается, нависая над сидящим Женей.

К и р а. У тебя номер привязан к банку?

Ж е н я. Какой номер...

К и р а *(резко)*. Номер телефона твой! Привязан? Куда-нибудь, к банку какому-то? Переведу тебе денег. Чтобы ты уехал. Сколько тебе нужно: сто, двести, триста? Могу больше, но тебе же чем больше дашь, тем быстрее пропьешь... Говори номер!

Ж е н я. У меня нет номера.

К и р а. Что значит — нет? У тебя нет телефона?

Женя только пожимает плечами в ответ.

К и р а. А как же... как же ты мне звонил? Ты же мне звонил! Когда сказал, что... проездом тут...

Ж е н я. Попросил позвонить. У дяди Степы.

К и р а *(удивленно)*. У кого?

Женя делает такое лунатическое лицо, какое делают дети, когда наизусть декламируют заученные стихи, без выражения вообще, как телеграмму:

Ж е н я.

Что случилось? На вокзале
Плачет мальчик лет пяти:
Потерял он маму в зале.
Как теперь ее найти?
Все милицию зовут.
А она уж тут как тут.
Дядя Степа не спеша
Поднимает малыша...

К и р а *(резко)*. Хватит!

Кира смотрит опустошенно и устало на Женю.

К и р а. Какого черта, скажи, а? Какого черта я вообще согласился, чтобы ты к нам приехал, а?

Ж е н я *(пожимает плечами)*. Я не знаю... *(Предполагает.)* Ты просто добрый?

Сцена 10. Дом Кирилла и Сони

Позже, вечером. Соня в комнате, оборудованной как мастерская. Стоит у чистого натянутого холста. Позади у стены на стуле сидит Женя.

С о н я. Что же мне нарисовать? Художник же должен не просто рисовать. Художник должен высказываться. А о чем я хочу высказаться? Ну, наверное, о себе. И что же мне рассказать о себе? О себе мне проще оставить все как есть. Пустой холст...

Ж е н я. Нарисуй утро.

С о н я. Что?

Ж е н я. Утро. Нарисуй.

С о н я *(оборачивается, смотрит на Женю)*. В смысле, утро. Что, просто утро?

Ж е н я. Ну нет, не просто утро. Утро... Медведя.

Соня несколько секунд молчит, потом ее захватывает смех изнутри.

С о н я. Что за бред. Какое утро медведя! Я тут высказаться пытаюсь, а ты... *(Сквозь смех.)* Так вот почему тебя выгоняли из всех... цирков! У тебя шутки не смешные! *(Смеется.)*

В этот момент в мастерскую входит Кира. Сердито смотрит на Женю, потом удивленно на Соню, которая смеется.

К и р а *(Соне)*. Ты чего?

Соня указывает Кире на чистый холст и сквозь приступы хохота сообщает.

С о н я. Утро медведя! Утром медведь такой просыпается. Смотрит по сторонам... И говорит...

Ж е н я *(подхватывает)*. «За что?»

Соне от этого совсем худо, она сгибается от смеха пополам, как это делают дети, когда смеются от души. Женя тоже улыбается, глядя на Соню.

Кира, ничего не понимая, смотрит на Женю и Соню.

К и р а. Вы что, бухие, что ли, я не пойму?

Соня от этого вопроса смеется еще заразительнее.

Вдруг Соня перестает смеяться. Хватается за шею, потом где-то в области груди, живота, потом опять в области шеи, как будто почувствовав что-то не то внутри. Кира смотрит на нее с тревогой, подходит ближе.

К и р а. Сонь, ты чего? Что с тобой, Соня?

С о н я *(изумленно, как будто даже с испугом)*. Дырка! В душе!

К и р а. Чего?

С о н я. Дырка в душе у меня пропала! Нет ее. Не чувствую ее...

Кира удивленно смотрит на Соню.

Сцена 11. Дом Кирилла и Сони. Комната Луки

Ночью Соня входит в комнату сына. И удивленно замирает при входе.

Женя и Лука — сын Киры и Сони, мальчик лет восьми, вдвоем сидят на полу перед окном. Смотрят в окно. За окном темнота.

Женя оборачивается к Соне и говорит шепотом, как будто они в театре.

Ж е н я. Проходи, сейчас начнется...

Соня проходит в комнату. Смотрит на Луку.
Лука, задрав голову, смотрит на Соню, потом снова смотрит в окно.
Соня садится с ними рядом на пол. Тоже шепотом спрашивает Женю, несколько настороженно.

С о н я. Что начнется?
Ж е н я *(доверительно)*. Цирк ангелов.

Сцена 12. «Цирк ангелов»

То, что происходит в окне (то, что видят трое). Цирк ангелов.
Грозного вида усатый мужчина в черном костюме, с красным бархатным подсумком на поясе, с хлыстом в руке.
Женя шепотом поясняет Соне.

Ж е н я. Укротитель демонов.

На двух тумбах сидят два демона. Это существа, похожие на больших лохматых черных собак, с грустными собачьими глазами и черными крыльями за спинами.
Укротитель грозно щелкает хлыстом. Подает команду «голос». Демоны издают звуки, похожие на громкий лай. Из пастей у них при этом вырывается огонь.
Укротитель достает из бархатного подсумка на поясе и дает демонам кусочки поощрительного лакомства, похожего на кубики желтого сахара. Демоны жадно хватают подачку.
Женя шепотом сообщает Соне.

Ж е н я. Знаешь, чем он их кормит?
С о н я. Чем?
Ж е н я. Душами людей.

Соня удивленно смотрит на Женю, потом на Луку.
Лука кивает матери с выражением «так и есть».
Женя тихо говорит Соне.

Ж е н я. Сейчас будет фокусник... Иллюзионист!

Фокусник — красивый мужчина с лицом проходимца, в костюме Hugo Boss, показывает публике пустой черный цилиндр. Потом делает все необходимые таинственные пассы руками. И достает из цилиндра белого кролика.
Кролик некоторое время смотрит красными глазами на публику: Луку, Соню и Женю.
Потом Кролик говорит, голос у него старческий, склочный.

К р о л и к. Всё просрали. Всю легкую промышленность просрали. Всю тяжелую промышленность просрали. Полимеры просрали. Ядерную физику просрали. Безвозвратно просрали. Академию наук просрали...

Лука смеется первым, к нему присоединяется Женя. Соня смотрит на Кролика, который продолжает перечислять всё, что безвозвратно просрано. Соня тоже уже готова смеяться, но видно, что в этот момент сильно сомневается во вменяемости присутствующих и в своей тоже.

Свет в окне гаснет.

Зажигается снова. И это финальный номер. Воздушный цирк ангелов. Три ангела исполняют трюки на трапециях. Подхватывают друг друга за руки, перелетают с одной трапеции на другую. В моменты перелетов ангелы иногда расправляют крылья, а иногда, наоборот, складывают их, как птицы в момент пикирования.

Лука восхищенно смотрит на воздушный цирк ангелов.

Сцена 13. Дом Кирилла и Сони

Позже. Ночь. В гостиной горят гирлянды на елке.

У дивана стоит Кира. Он смотрит на Соню и Женю.

Соня и Женя спят на диване, укрывшись одним пледом и прижавшись друг к другу. Соня во сне едва заметно улыбается.

Кира несколько секунд смотрит на эту картину.

Медленно подходит ближе. Решившись, бросается сверху на Женю и душит его, накрыв его голову пледом. Соня от этого просыпается. Ничего не понимая, в первый момент просто сваливается с дивана на пол. Вскакивает, видит, что происходит, кричит на Киру.

С о н я. Ты что делаешь?

Кира только зло шипит, душит Женю.

К и р а. Жили! Мы! Хорошо! Жили! Без тебя!

Женя снизу пытается сопротивляться, но Кира сидит на нем сверху, и он явно сильней. Соня бросается к Кире, пытается его оттащить.

Но Кира в ответ коротко и сильно толкает Соню так, что она отлетает и падает на пол.

Соня изумленно, испуганно смотрит на Киру.

Обернувшись к Соне и продолжая душить Женю, Кира тихо, но очень убедительно говорит Соне.

К и р а. Не мешай. А то я. И тебя. Задушу...

Соня теряет дар речи, впадает в ступор. Просто смотрит, как Кира душит Женю.

Женя еще какое-то время дергается под Кирой. Потом его ноги и руки несколько раз вздрагивают. И безвольно расслабляются.

Кира сползает на пол, садится на полу, полностью обессиленный.

Соня смотрит на Женю на диване, накрытого пледом с головой, с раскинутыми в стороны руками.

Потрясенно смотрит на Киру.

С о н я. Ты что сделал, а? Что ты сделал, Кира?

Кира утирает пот с лица, часто дышит. Повторяет тихо и упрямо.

К и р а. Мы хорошо жили. Без него. Мы хорошо жили.

Пауза. Соня смотрит на лежащего без движения Женю. Губы ее дрожат.

Вдруг руки Жени откидывают плед с лица. Женя привстает. Улыбается, смотрит на Киру и Соню.

Ж е н я *(весело)*. Придурки! И что бы вы делали с телом, а? Вам же пришлось бы избавиться как-то от тела! Моего! А как? Вы что, меня бы... Распилили? Как... *(Хохочет.)* Как в цирке!

Соня еще более потрясенно, чем парой секунд ранее, когда смотрела на «мертвого Женю», теперь смотрит на него, живого и улыбающегося. Потом у Сони случается приступ истерического смеха. Она смеется в голос, лежа на полу.

Женя тоже потешается, показывая пантомиму, как Кира и Соня вдвоем пилят Женю.

Кира сидит на полу в полном оцепенении.

АКТ 3.

Сцена 1. Вокзал

Ночью Кира ведет Женю по перрону, придерживая его крепко за локоть, как полицейский ведет преступника. Женя не сопротивляется, только иногда спотыкается, потому что Кира идет слишком быстро и Женя не успевает переставлять ноги в таком темпе. Наконец Кира останавливается. Достает из кармана билет Жени, отдает ему билет.

Женя что-то хочет сказать ему на прощание, но Кира, не прощаясь и не оборачиваясь, тут же уходит.

Женя смотрит ему вслед какое-то время.

Потом отходит на пару шагов в сторону. Садится на скамейку на перроне.

Смотрит в ту сторону, где вдали, из темноты, уже виден светящийся глаз прибывающего поезда.

К Жене подходят с нескольких сторон — сначала одна кошка, потом еще одна и еще одна. Потом собака, потом еще одна и еще одна. Бродячие кошки и собаки смотрят на Женю.

Женя роется по карманам. Достает из кармана нечто замотанное в несколько слоев праздничных новогодних салфеток (со стола в доме Киры и Сони). Разворачивает слои салфеток. Там внутри угощение. Женя говорит собакам и кошкам.

Ж е н я. Так, тут вот у меня для вас что? Тут вот у меня для вас торт. *(С сомнением рассматривает развалившееся месиво.)* Наполеон? Да. Наполеон. И рыба вот тут у меня. Форель. Может быть, даже семга. Вот, держите. С Новым годом, звери...

Женя раздает угощение собакам и кошкам. Собаки и кошки едят.

Сцена 2. Комната в доме родителей Жени

Воспоминание Жени. Мальчик лет восьми (Женя в детстве) сидит на стуле у трюмо. На трюмо разложена нехитрая косметика, принадлежащая матери Жени.

Женя с серьезным видом профессионального актера в гримерке гримируется в клоуна.

Когда образ клоуна — как его понимает ребенок — готов, мальчик смотрит на себя в зеркало.

Женя в детстве. Меня зовут клоун Женя.. И вот моя первая шутка. Колобок от бабушки ушел. И от дедушки ушел. И от волка ушел. От медведя ушел. А от лисы не ушел, потому что лиса очень хитрая. Она ему сказала, что он поет хорошо. Колобок обрадовался. И погиб. Но вы не расстраивайтесь. Это просто сказка такая. На самом деле Колобок не погиб. Потому что... Никуда не пошел!

Женя в детстве смотрит в зеркало, улыбается.

Сцена 3. Купе в поезде

Ночью Женя сидит в купе, дверь купе открывается резко. Молодая хорошенькая проводница говорит Жене с веселым укором.

Проводница. Вы что это ребенка своего чуть не забыли, а, мужчина?

Женя с удивлением смотрит на Луку, который стоит рядом с проводницей и смотрит на Женю.

Сцена 4. Перрон

Позже. Женя и Лука на перроне. Останавливается поезд, который идет в обратную сторону. Женя разговаривает с Лукой. При этом Лука ничего не говорит, но Женя как будто отвечает на его вопросы.

Женя. Нельзя со мной, потому что нельзя. Потому что у меня ничего нет. Что значит «тебе ничего и не нужно»? Тебе много чего нужно. Ты ребенок. Тебе нужны... Тетрадки. Фломастеры. Комната, детская. Пижамка. А я клоун. У меня ничего нет. Я бомж. Жить на улице? Можно, да. Но летом. А сейчас, посмотри по сторонам, где ты видишь лето? Сейчас зима. А лето через полгода. А полгода — это много. Дожить еще надо. Так что давай домой. Домой приедешь, на меня все вали. Маме с папой скажешь, это я тебя сбил с пути. Что значит «с какого»? С правильного. Но ты всё осознал. И вот вернулся. На правильный. Понял?

Лука печально смотрит на Женю.
Женя поспешно, пока Лука ничего не сказал, сажает его в вагон.
Поезд уезжает.
Женя смотрит вслед поезду. Пауза.
Потом к Жене подходят ангелы, их трое. Видим их со спины.
Женя говорит им.

Женя. Давайте с ним...

Ангелы разговаривают так, что каждый из них произносит только одно слово из фразы, но без интервалов, так что получается слитная фраза. Голоса у ангелов высокие, хрустальные.

Ангел 1. А?
Ангел 2. Как же?
Ангел 3. Ты?
Женя. Я без вас обойдусь!
Ангел 1. Не.
Ангел 2. Обойдешься.
Ангел 3. Ты.
Ангел 1. Без.
Ангел 2. Нас.
Ангел 3. Женя.
Женя *(сердито)*. Давайте, ну!

Ангелы еще секунду стоят с протестующим видом. Потом переглядываются коротко. Пожимают по очереди плечами со значением «не согласны, но подчиняемся». И шумно, как стая площадных голубей, захлопав серыми крыльями, улетают.

Женя остается на перроне.

Сцена 5. Кабинет психолога

Действие происходит спустя некоторое время после описанных событий (после Нового года, в начале весны).

Кира и Соня на приеме у семейного психолога. Они сидят на диване рядом, но неблизко, с одинаковым вежливым выражением на лицах.

Психолога мы не видим.

Голос семейного психолога. Ладно, я поняла, эта история с шимпанзе, она... Давайте мы ее пока что, как мы с вами говорили, отложим в отдельный шкафчик, а шкафчик закроем пока что на ключ. А что еще доставляет вам дискомфорт, Софья, в ваших отношениях с Кириллом?

Соня задумывается. После паузы.

Соня. Тюбик с пастой. Зубной. Он. Мнет.

Сцена 6. Комната в доме Кирилла и Сони

В доме Кирилла и Сони у зеркала на стене стоит Лука.
На лице у него наивно сделанный клоунский грим.
Лука смотрит на себя в зеркало.

Лука. Меня зовут клоун Лука. И вот моя первая шутка.

Занавес

Александр РЫЖКОВ

* * *

В морщинах пыльная дорога
Кроит окраину страны
От многолюдного истока
До устья тихой глубины.
По сторонам такой дороги
Дома стоят, как сундуки.
Над ними кружатся сороки.
В них клада нет, лишь старики.
Зудит нечесаное поле.
Скелеты тракторов на нем.
Дворнягам воля, что неволя.
Зарос пожарный водоем.
В морщинах пыльная дорога
Кроит окраину страны,
И два оставленных порога
Дорогой той разделены.

* * *

От Бога бежал, но покорно молился,
Сжимая в ладони чернеющий крест.
Менял адреса, пропадать научился
Игрок в дурака, собиратель невест.

Чем дальше петляли хромые дороги,
Тем реже встречал верстовые столбы.
Когда-то ватагой здесь шли скоморохи
И песни роняли из медной трубы...

Чем чаще искал у гадалок ответы,
Тем меньше случалось искомых чудес.
Выдумывал сам прописные заветы
Мудрец подворотен, безумец небес.

Александр Михайлович Рыжков родился в 1988 году. Автор книг стихов «Адресаты» и «Столбы», а также многих журнально-газетных публикаций. Финалист Всероссийской литературной премии им. А. И. Казинцева в номинации «Открытие». Обладатель премии «Слово-2022». Участник литературного десанта при аппарате Президента РФ в зону проведения СВО. Основатель первого Литературного музея в Рыбинске.

От Бога бежал, но покорно молился,
Сжимая в ладони чернеющий крест.
Но снова в начало пути провалился
Сквозь омут, кругами протоптанных мест...

ЗА КАВЫЧКАМИ МОРЩИН

Натерты мозоли на совести,
Скопилась на разуме пыль.
Из твердой породы духовности
Сколочен добротный костыль.

Получены были по глупости
Досадные раны причин.
Лечились ошибками трудности,
Грубели кавычки морщин.

Оправдано сердцебиение —
Любви сохранен окоем,
А то, что внушало сомнения,
Расколото тем костылем.

АДРЕСАТЫ

Вспоминаю квадратные метры,
Где на окнах в стаканах окурки,
Где с фасада поволжские ветры
Обдирали слои штукатурки...

В каплях краски скрипучие ножки
Табуретки на лестничной клетке,
Где таскали подвальные кошки
Из фарфоровых блюдец объедки.

Там, внутри, за обшарпанной дверью,
В малой комнате время застыло.
Может быть, я вернусь и поверю,
Счастье... кажется, здесь оно было.

* * *

На кафеле снежное тесто,
И в лифте сожженные кнопки.
Недавно был выкуп невесты —
Остались разбитые стопки.

Повсюду железные двери.
В глазок кто-то смотрит прицельно.
Друг другу сегодня не верим,
Хоть рядом живем, но отдельно.
Где масса сомнений критична,
Закончились мирные темы...
И грустно, что это привычно.
Мы — часть неисправной системы.

* * *

Вновь за домом
дворник жжет
ворох листьев желтых.
С дымом в воздухе витает
пасмурная грусть.
В прошлогодних башмаках,
до смерти затертых,
тротуарами иду,
силясь не уснуть.

В подворотнях мужики,
что худые голуби.
В ноги нам рассыпалась
опавшая листва.
Башмаками подниму
золотые всполохи.
Видно, дворник не дошел
до этого двора.

Этим утром стало мне
многое понятно.
Ощущаю я себя
опавшею листвой.
Жухнуть под ногами же,
право, неприятно.
Лучше ты сожги меня,
дворник дорогой.

ТАЛАЯ ВОДА

Весна. Знакомая окрестность.
В свалявшемся снегу бычки.
Вокруг умеренная бедность,
Смотрю сквозь темные очки.
Провинциальная картина:
Бетонный рубленый фасад.
Ворчит соседка Валентина:
«Вернуть бы Сталина назад...»
Играют дети на площадке,
Сидит на лавочке старик.
За остовом кирпичной кладки
Освоил угол борщевик.
Шпана гуляет под гитару
На трубах в глубине двора.
Шансону вторят провода.
Несет ручьем по тротуару
Кораблик талая вода.

* * *

Где пригород — парочка станций,
Забытая службами глушь
Под грифом казенных инстанций,
В архивах сварливых чинуш.
Там шрамом железной дороги
Разрезан район пополам.
Прохожие смотрят под ноги,
Пиная пластмассовый хлам.
А небо заглянет им в лица
Из мутных коричневых луж.
В ногах облаков вереница,
Что клин неприкаянных душ.

* * *

Поезд заснул. Стоянки. Платформы.
Тесный уют с дорожными снами.
Лес. Силуэты причудливой формы.
Свет выдирает пространство кусками.
Сутки идет проходной до Самары.
Еду на верхней своей боковушке.
Окон пунктиры, вагоны — футляры...
Заперто время в железной ловушке.
Мне не уснуть, побреду по вагону,
Словно в бреду, элементом в составе.
В тамбуре думается по-другому
С чайным стаканом в латунной оправе.

СЕРВИЗ

На кухне сидели подруги.
Детей уложила хозяйка.
«Давай же, родная, от скуки
Покрепче чего наливай-ка!»
Три чашки — остатки сервиза,
В двух водка — хмельная водица.
Пусть рвутся с душевного низа
Слова, обстоятельства, лица...

Где судьбы как нити беседы,
А жизнь словно пестрая скатерть.
На ней соль и сахар — соседи,
Кому пьедестал, кому паперть.
И молотым сыплются перцем
Слова: виноват, виновата.
На чашках и в треснутом сердце
В узоры вплетенная дата.

На кромках сошла позолота.
А водки совсем не осталось.
Уже почти утро. Суббота.
Подруга домой собиралась.
«Прими мой совет, дорогая,
Себя он, поверь мне, не судит.
Ты, радость моя, молодая,
Тебя же достойный полюбит».

Уехала. Чувства остались.
«Зараза, видали умнее!»
Предметы и мысли менялись
Местами внутри галереи.
Хозяйка так долго хранила
Полезный на свадьбу подарок.
Остатки сервиза разбила —
Тех чувств затушила огарок.

* * *

За окнами высится храм
С колоннами и куполами.
В квартире потертый диван,
Пристроенный между шкафами,
Вещами заваленный стул,
Завязаны стопками книги,
Бесформенный пыльный баул,
Икон невеселые лики.
На полке пылится стакан,
В нем горстка рублей и копеек.
Соседствует старый варган
С будильником без батареек.
Здесь брошены на пол ковры,
Они прослужили полвека.
Портрет одинокой норы.
Но нет уже человека.

ТРИОЛЕТ ПРО БИЛЕТ

Автобус под номером осень,
Листом пожелтевшим билет.
К вокзалу простуженных весен
Автобус под номером осень
Сквозь редкую снежную проседь
Мотает спидометр лет.
Автобус под номером осень,
Листом пожелтевшим билет...

СОЛНЕЧНОЕ ПЯТНО

Снег колючей рукой мне отвесил
Замороченных дней оплеуху.
Промотал я, пока куролесил,
Гонорар, внешний вид и науку.
По хрустящей морозной глазури
Вдоль аллеи из сахарных елей
Шел отчаянно к литературе,
Нес в груди три десятка апрелей.

Но кабинки завода так близко,
Соцпакет, вечерами шабашки...
Был бы пропуск — вторая прописка,
Шел бы утром в опрятной рубашке.
Не пришлось бы читать там до ночи
Ни стихов, ни статей полувнятных.
Получалось бы будни пророчить,
Без гаданий на солнечных пятнах.

* * *

На дне колодца серого двора
У мусорки два пьяницы кричали,
Хабар делили, спорили с утра.
Толпой уже промчались заводчане.
Закинули бутылки и картон,
Жестянки да заношенные кеды,
И в банке недоеденный бульон
Заботливо оставили соседи...
Все понимают. Выродилась злость.
Хрущевки как панельные бараки.
Как бы самим под старость не пришлось
Осваивать те мусорные баки.

* * *

В стране дураков и дорог,
Где сила восходит от правды,
С последней, как правило, парты
Внимал за уроком урок.

Повесою был из повес,
Послушником общего фона,
Но все же над сталью жаргона
Уроки имели свой вес.

Тяжелый, но праведный рок
Струной распугает тревогу.
Лишь умный подсыплет дорогу —
Простой, но полезный урок.

* * *

На площади утки. Для них раскидал
Остатки черствеющей булки.
Маршрутку из старого центра я ждал —
Мой дом здесь, мои переулки...
Касается куполом неба собор.
Гудит колокольное эхо.
Старинных фасадов белеет фарфор.
Маршрутка пришла. Я уехал.

Все дальше от центра... Смотрю сквозь окно
Железной брюзжащей коробки.
И чувство такое, что еду на дно.
Водой прибывают высотки.
А в пасмурной серости тонет квартал.
Пора выходить из маршрутки.
В бетонную глубь мой маршрут протекал,
Куда не слетаются утки.

Евгений КУЗНЕЦОВ

СОЧИНЕНИЕ

Рассказ

Россия была, есть и всегда будет литературоцентричной страной, и спекулятивные разговоры о том, что хороших писателей нынче мало — вранье. Касаются они в основном только коммерческих, монетизированных литераторов, шныряющих около начальства в чаянии крошек с барского стола и благих «пожеланий» этого начальства.

Я уже писал, что в каждом большом, а то и уездном городе России есть крупный, качественный писатель, и это чепуха, что только в условиях несвободы возникает интересная литература. Скорее, наоборот. Цензура и единомыслие, слава богу, теперь прямо запрещены Конституцией РФ, и то, что пишется сегодня, вряд ли могло быть опубликовано до перестройки, когда редактор был первым цензором писателя и все мы коллективно боялись, «как бы чего не вышло».

Я имею право об этом говорить не только потому, что меня приняли и тут же выгнали практически ни за что на *десять лет* из Союза писателей СССР, а потому, что люблю свою страну, изъездил всю *мою великую Россию,* работал на Севере, много раз вел творческие семинары в Липках, Красноярске, Челябинске, Иркутске, а теперь вот и в Литинституте снова набрал курс прозаиков, слушателей Высших литературных курсов.

Должен заметить, что ВЛК я считаю уникальным изобретением Иосифа Сталина и Максима Горького при всей сложности моего отношения к этим двум персонажам нашей истории. Это курсы, из которых вылупились Астафьев и Айтматов, это для тех, кто уже имеет другую, кормящую его профессию, обладает немалым жизненным опытом, но тем не менее умеет и учится писать *лучше других*. Это ноу-хау Литературного института, и это невероятно полезно для нынешней русской литературы с агрессивным наступлением на нее цифровых технологий и обезличенного искусственного интеллекта.

Предлагаю вам прочитать рассказ «Сочинение» известного пока что мало кому, кроме меня, Евгения Кузнецова, 39 лет, живущего в поселке Старая Вичуга Ивановской области, в 30 километрах от Кинешмы, юриста по образованию. Он на ранней пенсии, пишет увлекательную прозу и диссертацию о малоизвестном зодчем Гаудиенцио Маричелли, итальянце, который не хуже нас с вами любил нашу Россию, отчего и настроил в конце XVIII — начале XIX века множество дворцов, домов и храмов не только в столичном Петербурге, но и в Казани, Шуе, Костроме, Иваново-Вознесенске. Некоторые из этих зданий уцелели, многие сдуру были разрушены.

И хотя короткая и ясная проза Кузнецова совсем, казалось бы, о другом, о войне с *теми фашистами,* она, на мой взгляд, глубоко современна. Ее жуткие детали уповают на то, что, дай бог, описанные зверства и подлость уже никогда больше не повторятся. И что происхождение, казалось бы, сугубо русского россиянина, россиянки не имеет превалирующего значения для оценки его или ее личности.

Евгений ПОПОВ

«Только бы успеть! Только бы не упасть! Туда они точно не сунутся!» — думала она, удирая прочь от хаты. Зеленое чавкающее болото отделяли от деревенских огородов густые заросли ивняка и рогоза.

— Бяжы, Ксанка, бяжы-ы-ы... — голос старухи прервал выстрел, прозвучавший как удар топора по сушине.

«Люгер, — безошибочно определила оружие девчонка по звуку выстрела, — офицерье пожаловало. Ну, Василек им и задаст!» — храбрилась она, а у самой лицо мятно холодело от слез и встречного ветра.

Мария Степановна, которую вся деревня звала «Баманей» и которую только что за спиной беглянки застрелил оккупант, была ее единственным родным человеком. Отца не знал никто, кроме рано умершей матери, и Оксанка осталась одна, когда ей не было еще и шести, и одинокая старушка взяла сироту к себе. Был еще Василек, хоть и старше ее на целых два года, но пятнадцать все одно — слишком мало для отправки на фронт, поэтому он при первой же возможности сбежал к партизанам. Но как только отряд начал «шустрить» в родных лесах, парень дал о себе весточку, и шустрая девка в свои тринадцать не побоялась носить в отряд продукты и ценные сведения. Рискованно, опасно! Но разве думают об этом влюбленные?

— Не встреча со связным, а настоящее свидание! — шутил командир отряда, и суровые мужики группы прикрытия, каждый день поливающие землю родной Белоруссии своей и немецкой кровью, улыбались и отворачивались. Любовь и на войне не терпит чужих глаз. Кто-то смахивал слезу и умилялся, кто-то сжимал кулаки, потому что их детям, расстрелянным, сожженным заживо или замученным в лагерях, уже не суждено вот так украдкой целоваться за деревенскими огородами.

Оксанка бежала что было сил. В спину не стреляли, и речь уже была не различима на немецкую и белорусскую. Все! Выдохлась! Она сбавила темп. Но прежде чем нырнуть под старую, почти горизонтально выросшую иву, она увидела злую оскалившуюся морду. «Лучше бы волк», — только и успела подумать она, как Петька дыхнул на нее перегаром и сжал мерзкими лапищами.

— Поймал! Поймал, герр лейтенант!

— Тащить ее сюда! — крикнул в ответ офицер с сильным немецким акцентом.

— Петька, тебя же как предателя расстреляют! Пусти, гад! — барахталась и злобно угрожала девушка, пытаясь вырваться или хотя бы укусить пособника фашистов.

— Ага, но сначалу теби́! — заржал он в ответ и добавил: — Нас уж два года обещанием кормят, шо Храсна армия при́дет! И хде ж оне? А? А энто власть!

Он взвалил девушку на плечо, как коромысло, отчего подол длинного старенького, но еще нарядного белого сарафана задрался, обнажив бедра и ягодицы. Это не ускользнуло от взглядов карателей и полицаев, и полетели непристойности и улюлюканье. Хуже смерти для девушки был позор — такой уж воспитала ее баба Маня, такими было и большинство ровесниц.

Ей не давали спать уже вторые сутки. Сарай. Допрос. Побои. Еще допрос, снова побои. Она теряла сознание и приходила в себя в том же сарае. Во рту вкус крови и соломы, которой она оттирала лицо после «бесед» с офицером.

— Дура ты, Ксанка! Дура и есть! — говорил ей сидящий снаружи у двери сарая Петька. — Показала бы, куда нести записку до партизан, и жила бы себе, как я живу...

— Сдохнуть лучше, чем жить, как ты, подстилка немецкая!

— Я подстилка?! — возмутился сторож. — А ты... — не мог он подобрать подходящего слова, — а ты, с..., я тебе... Ты у меня... Поглядим еще, хто подстилка!

Он не договорил, а она услышала, как Петька поднялся и принялся отворять дверь сарая. «Опять бить будут», — подумала она и сжала кулаки. Но это были

не полицаи, что обычно тащили ее на допрос. В светлом проеме она увидела стройную фигуру молодого офицера и согнувшегося перед ним Петьку.

— Она есть молчать? — спросил офицер.

— Так точно! Молчит, герр лейтенант! — не разгибая спины, рапортовал Петька.

— Если ты не говорить, я расстрелять всех твой родня! — на ломаном русском объявил фриц, глядя ей в лицо сверху вниз.

— Господин офицер, — встал навытяжку Петька, — у нее никого нет, кроме старухи, которой вы еще вчера башку прострелили!

— Если она не заговорить, я повесить эту russische Schlampe[1] и рядом тебя!

— Герр офицер, — сказал Петька и бросил торжествующий взгляд на пленницу, — она, это... еще не того... — не договорил Петька, а Оксана уже все поняла. Сжалась в комок, подтянула худенькие коленки к лицу, перепачканному запекшейся кровью, и округлила вытаращенные от ужаса глаза. Понял все и офицер. Впервые за два дня допросов он увидел в глазах девчонки страх. Она боялась не смерти, не пыток — это он уже пробовал...

— Молодец, Пе́тер! На, — сказал офицер и, повернувшись в три четверти, бросил к входу в сарай пачку сигарет, — иди погуляй пока! — добавил он, глядя на испуганную пленницу. Она сидела, вжималась спиной в бревенчатую стену и обхватывала ноги онемевшими руками.

— Битте нихт, герр офицер! Битте нихт![2] — повторяла она шепотом одними опухшими и пересохшими губами надвигающейся фигуре. Пока офицер, растягивая удовольствие от ужаса жертвы, медленно подходил, за его спиной Петька ползал на коленях, собирая в пыли рассыпавшиеся сигареты. Он смотрел в ее полные страха глаза. Собрав все, встал и, не отряхнув коленей, стал притворять дверь. «Немецкая подстилка!» — сказал он ей на прощание. Он скалился. Он торжествовал.

Мария Степановна была «старого режиму», как говорили у них в деревне. Ходила в церковь, брала с собой и девочку. «Молись, Ксанка, и если сильно хотеть и искренне молиться, то Бог даст», — говорила Баманя. Сейчас же ей хотелось только одного — умереть. Боль она могла терпеть, надругательство ранило сильнее, а позор жалил уже смертельно. Она не представляла, как посмотрит в глаза своему Васильку... Перегрызть глотку гаду Петьке — даже ради мести жить уже не хотелось. Она закатила глаза и пыталась силой воли отключить сознание, хотя бы провалиться в обморок, чтобы не чувствовать, не сознавать... Вдруг в бедро ее кольнуло что-то металлическое. Она открыла глаза. Еще раз. Не показалось. После третьего раза она чуть подалась вперед.

— Oh, es gefällt dir schon![3] — прерывисто продышал ей в лицо офицер.

— Да... — еле слышно прошептала она, не поняв дословно, но уловив общий смысл.

Он заулыбался и стал более напорист, а она прижала его к себе и запечатала поцелуем стон удовольствия... переходящий в крик. Он так и не успел понять, что это его офицерский нож, висевший на съехавшей портупее, воткнулся ему в аккурат под левую лопатку...

«Вот так моя прабабушка убила моего биологического прадедушку», — заканчивалось это школьное сочинение десятиклассницы, которое мне довелось прочесть на ежегодном конкурсе в честь освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

---

[1] Русскую потаскуху (нем.).

[2] Bitte nicht, Herr Offizier! Bitte nicht (нем.) — Пожалуйста, не надо, господин офицер! Пожалуйста, не надо!

[3] О, тебе уже нравится (нем.).

Владимир КОЧНЕВ

РАССКАЗЫ

ПРО ЧЕРНОГО КОТА

Вика считала себя современным художником. Проучившись четыре года в Академии ваяния и зодчества, среди мольбертов и пошарпаных стен, коридоров с копиями античных скульптур, отливающих почему-то лиловатым светом вместо мраморного, она бросила учебу, увлеклась концептуализмом и авангардом и изобрела собственное направление — «атматизм», тусила с современными художниками, которые выставлялись в подвале старого полуразвалившегося дома эпохи конструктивизма, где на стенах зимой висели огромные сосульки, а внутри коридоров витал запах общежития.

Академики, учившие ее прежде живописи, хватались за головы, новые друзья (часть которых была просто-напросто старыми друзьями) относились настороженно... Работ ее никто не понимал. Ни критики, ни коллеги, правда, на выставки кое-что брали.

То она приклеивала мертвого воробья к холсту и рисовала вокруг квадратики с овалами, то собирала сухие цветы, украшая ими лошадиный череп. Ей казалось, она делает современные яркие и оригинальные вещи, но отклик был совсем слабый.

— Ты идешь по старому пути! — говорили одни. — Попробуй что-то иное.

— Бред какой-то! — говорили другие. — Зачем этот полуавангард, полунепонятно что! Это уже сто лет назад устарело. У тебя замечательные способности живописца, что-то бы ближе к традиционным формам выражения ты бы делала. Китайская живопись сейчас о-го-го! Посмотри!

Все ей советовали работать как-то иначе. Но иначе она не могла. Не могла и зарабатывать на искусстве. Ей было интересно делать так, как она делала, и все остальное не приносило ей чувство удовлетворения. Она проводила выставки, но на них почти никто не приходил. Делала накрутку в соцсетях и писала длинные душераздирающие посты, но все равно никто не смотрел. Количество комментариев и лайков было минимальным.

И хотя многие отмечали явный талант или «способности», но большого отклика не было.

Личных отношений у нее тоже не было. Она считала, что человека надо принимать целиком. Он должен понимать тебя полностью, а не частично (со всеми твоими шизофрениями, задвигами и ковыряниями в носу).

Владимир Борисович Кочнев родился в 1983 году в г. Чайковском. Учился в Литинституте, лауреат премии «Дебют-2007» (поэзия), лауреат Студенческой премии им. Максимилиана Волошина (2013). В 2013 году вышла первая книга стихов «Маленькие волки» (издательство «Воймега»), в 2017-м — «В порту Шанхая». Публиковался в журналах (как поэт, прозаик и критик): «Урал», «Арион», «Дети Ра», «Тверской бульвар», «Октябрь», «Вещь» «Луч» и др. В 2021 году вышла книга рассказов «Таксист и 17 раз» (СПб.: Скифия-Принт).

То есть если ей, например, захотелось вдруг поговорить про черного кота из фильма «Москин токкинс», то надо подержать тему.

А если о проклятой Девятой симфонии Баха — тоже поддержать.

А если ей захотелось ночью выйти и пойти искать дешевое кафе с гамбургерами и апельсиновым соком — надо пойти вместе.

Взамен она готова была на подобные же поступки.

А раз таковых не находилось (кавалеры были либо ленивы, либо туповаты, либо и то и другое и при общении с Викой начинали через некоторое время крутить пальцем у виска и сливаться) — то и ладно, наплевать, лучше жить одной.

После работы она приходила домой и до ночи проектировала свои работы, потом засыпала с включенным на столе компом.

Однажды она проснулась от какого-то муторного беспокойного сна — ей снился некто высокий и черный, в шляпе, который медленно и неостановимо приближался из тумана и делал это нелепо и поэтапно, рука-нога-корпус, рука-нога-корпус, мелькнувший край пальто, ладонь, улыбка — он и подходил в каком-то фиолетовом облаке и расплывчато и оставался на месте.

А потом этот кто-то внезапно цепко схватил ее за запястье, которое она из-за какого-то паралича не смогла отдернуть — тут-то она и проснулась, — и действительно посмотрела на правую руку, на которой будто краснело пятно от захвата (видимо, отлежала), потом поднялась, взглянула на шумящий комп — и увидела недавно оставленное сообщение. Кто-то написал ей в ВК часов в пять утра, буквально полчаса назад.

«Дорогая Вика, — писал неизвестный, а Вика читала это сквозь мутную пленку непроснувшихся глаз, — мне очень понравились ваши работы. Я был на всех двадцати ваших выставках, точнее, на девятнадцати! На одну не успел, потому что болел. Они восхитительны!! Я бы хотел приобрести ваши работы. Но не знаю, сколько они стоят и продаются ли. Может быть, мы встретимся и обсудим это?»

Сердце Вики забилось сильнее. Она поднялась, не дочитав, зашла в ванную, открыла кран и умылась холодной водой. Потом еще раз умылась. Вода струилась по лбу и щекам, шумно ударяясь о белое внизу. Вика закрыла кран. Потом тщательно вытерлась колким полотенцем, открыла дверь ванной, чтобы выйти, но не перешагнула порог, а так и осталась стоять, замерев, потом тряхнула головой, вернулась к крану, открыла его снова и умылась еще раз. «Ничего себе! — подумала она. — Неужели у меня прошло уже двадцать выставок? М-да! И все двадцать ни одного положительного отклика. Так, вялые похлопывания-одобрения (как шлепки друг о друга сонных ладоней) от ближайших друзей и знакомых».

А тут... Может быть, он сумасшедший или маньяк?. Она вернулась за комп, кликнула мышкой, зашла на аккаунт писавшего, но там не было фото в аватарке — пустой квадратик, а в ленте только какие-то скучные посты с репостами афоризмов или кадры разных фильмов, современных и не очень.

Ничего нельзя было сказать определенно о человеке, ведущем такой аккаунт, кроме того, что он не очень заморачивается тем, чтобы вести аккаунт. Имя — Алексей Федорович.

Вика немного подумала. Шутка. Розыгрыш? И какую цену назначить за работы? Сколько у этого человека денег? Сколько он может потратить: десять тысяч? Сто тысяч? Двести тысяч?

Вика не особо разбиралась в продажах, но знала, что цена зависит только от того, сколько у человека денег.

Скажешь ему двадцать, а он может потратить только пять, и облом. Скажешь пять — а он готов был выложить пятьдесят. Потеряет уважение и тоже сольется.

Некоторые из ее знакомых художников продавали работы и по сто тысяч, и больше. Для Вики эти цифры казались астрономическими.

Или вообще подарить? Вика работала секретарем в фирме. Зарплата ее в принципе устраивала. А клиент ведь разовый. Подарить — даже интереснее.

«Спасибо! — стала писать она сообщение. — А можно узнать, кто вы и чем занимаетесь? Вас так и зовут Алексей Федорович?»

Несколько секунд она смотрела на то, что написала, потом на три мигавшие точки, означавшие, что кто-то по ту сторону сети нажимает на клавиши.

«Да, — написали в ответ, — так и зовут. Приходите сегодня. Кафе „Третья труба“ в два часа дня».

Написав это, неизвестный свалил из онлайна и больше не появился. Может, лег спать или еще что.

«Странный, — подумал она, — даже не спросил, могу ли я в это время».

В три часа она зашла в кафе, за столиками никого не было, кроме парочки целующихся подростков в одном углу и мужчины в возрасте, в сером костюме в другом.

— Вика!!! — помахал мужчина. — Идите сюда!!! Я вас сразу узнал!!

Это был старик, лет пятидесяти пяти-шестидесяти.

«Ваще пипец, — подумала Вика, — ну вот... А...»

— Алексей Федорович? — сказала она. — Гм... очень любопытно...

— Да,— закивал мужчина, — садитесь сюда! — подвигаясь и показывая на стул. — Пожалуйста, закажите себе что-нибудь, не стесняйтесь! — Он сунул ей красненькое меню. — Вы не представляете, как я рад вас видеть!!! Я, знаете, представлял, какая вы в жизни. Ну конечно, видел на фото, но ведь в жизни все совсем другое, иногда хуже, чем на фото, а вы гораздо интереснее, такая волшебная!!!

Вика испытывала какую-то смесь испуга, шока, неловкости и интереса. Первым желанием было уйти, но она решила остаться и успокоиться. Потом ей стало даже любопытно.

Он говорил, выглядел и двигался несколько старомодно, как старый патефон из музея, но было в этом что-то необычайно галантное. Он явно к ней подкатывал, и Вика не знала, что делать и как на это реагировать. Мужчины редко к ней приставали, чаще она слышала рассказы подруг, и тогда их откровения казались ей ужасно смешными, но сейчас ей хотелось то ли убежать, то ли закричать.

Она механически открыла меню. Ткнула пальцем в два-три блюда. Есть не хотелось. Пропало настроение.

Они сделали заказ. Старик взял стакан с трубкой и тянул сок со свистом.

— Я бы хотел купить коня с черепом, — сказал он, сделав затяг. — Как она называется, эта работа?

— Х пять.

— А почему Х пять?

— Потому что Х пять.

— Понимаю,— сказал старик.

— Вот здесь пятнадцать тысяч. — Он достал аккуратный белый конверт и передал ей.

— «Время, вперед», — сказала Вика.

— Что?

— Другой вариант названия «Время, вперед».

— А, — сказал старик, — да-да, конечно.

Можно было вставать и уходить, Вика повернулась, высматривая официанта, чтобы расплатиться за свою часть обеда, и тут в бок ее что-то кольнуло и перехватило дыхание, и все, что было вокруг — белые столики, темная стойка вдали, голос, два подростка, голос Алексея Федоровича, неудобная поза, деньги, картины, лошадиные черепа, — сложилось в какую-то странную мозаику, которая разлетелась на куски и опять собралась, но уже иначе, и ей показалось, что она уже видела все это, и встречала этого человека, может, когда-то давно или недавно, может, он правда был на одной ее выставке и примелькался, а может, шел за ней следом. Или они в автобусе сталкивались.

— Поговорим, — спросил старик,— если вы не спешите?

— Поговорим, — сказала Вика. В конце концов, день был свободен, ее никто не ждал.

Они помолчали.

— Вика, мне очень понравились ваши работы, — снова сказал он.

«Старый пердун ты, — подумала Вика. — Даже сказать тебе нечего!»

Ей захотелось ткнуть в него вилкой.

Во сне ей виделся молодой джентльмен в темном плаще. Впрочем, она уже не была уверена в своих фантазиях. Почему молодой, разве они выкладывают, пишут имя, отчество и не выкладывают фото в пабликах?

— Расскажите, как вы их создаете? — вдруг нашелся Алексей Федорович.

— Ну, знаете...

Вика наморщила лоб, как будто давала интервью перед камерой модному каналу. Сотни раз она представляла, что ее так спросят, и формулировала будущий ответ, но время шло, ее так никто и не спросил, кроме старика в старом пиджаке, и вот теперь она поняла, что слова разбегаются, как тараканы, и ей даже сказать нечего.

— Ну, — сказала она, — сперва приходит образ, и это как молния, а потом остается только это сделать. Я, как правило, ничего не меняю, все приходит целиком — образ, картинка. И все, что остается, только это воплотить. Мои коллеги говорят, что так нельзя, что должен быть некий поиск, улучшение, апгрейд, проработка различных вариантов, но я не согласна...

Она осеклась. Она схватила сок и стала пить через трубочку... получилось както резко.

Скомканно.

Старик молчал, склонив голову.

— Ну и правильно, — сказал он. — Я с этим согласен. У вас очень красивая ладонь.

Он двинул руку вперед. «Сейчас он меня коснется!» — подумала Вика. Она напряглась, как будто давно этого ожидала и боялась. «Ну вот, началось», — подумала она.

Однако он лишь убрал какую-то крошку со стола.

И снова заговорил он ней.

Вика с удивлением обнаружила, что ей с ним приятно. Он был странным, своеобразным, но не противным, и пахло от него как-то нормально, легким тонким одеколоном. Не как от других стариков — чем-то затхлым и давнопрошедшим.

Надо сказать, Вика резко чувствовала пошлость, с некоторыми даже сидеть рядом не могла. Именно поэтому ей было сложно с людьми. Пошлость покрывала почти всех ее знакомых.

Что-то было не так с людьми; они и жили, и одновременно нет. Лгали себе и друг другу. Думали одно, говорили третье, мечтали о десятом. Это было и в детях, и в со-

баководах, и в шоферах на красивых авто, и в супружеских парах, подростках в стареньких дамочках с сумочками. Вика, возможно, и картины-то делала не из любви к искусству, а потому, что они восстанавливали изначально правильный порядок вещей. Без пошлости. Простой и настоящий.

Алексей кашлянул и сказал:

— Я написал стихотворение. Вы меня вдохновили. Позвольте, прочту.

Он еще прокашлялся.

Потом достал большую клетчатую тетрадь раскрыл и стал читать:

Я познакомился с чудесным,
и мой ребенок плакал...
как будто слышал песни...
и т. д.

Стихи были так себе. Смесь Бальмонта и Брюсова, насколько Вика могла судить вообще о стихах, и все было так себе. Но кафе было неплохое, и деньги у него были.

— Так себе, — сказала Вика, — если честно, но некоторые моменты хороши, рифма в паре мест удачная.

Принесли бутылку вина и два бокала. Старик плеснул себе, отпил и сказал:

— Все думаю о ваших работах. Вот этот череп, например, с кусками полыни. Это же трагизм и одновременно восторг бытия... А шкура кошки вместе с ромашками — это же метафора нашего постиндустриального существования, когда мы перестаем видеть живое в объектах и все мертвеет. Художники копировали природу, потом они пытались оживить мертвое — машины, заводы, персонифицировать, очеловечить, а теперь мертвая природа пытается имитировать нас и это... это.. тут бы мне не хотелось цитировать Фуко, но до этого он, кажется, даже не додумался, потому что жил в другую эпоху.

«Хорошо говорит», — подумала Вика, удивившись.

— А вы кто по образованию? — спросила Вика.

— Я — электрик.

— Гм, — сказала Вика.

— Ну да... люблю технику, электричество, но читать об искусстве тоже люблю, у меня большая библиотека, репродукций много. Авангард, модернизм, поп-арт. Особо не понимаю, если честно, но изучать люблю.

«Может, еще что-нибудь купит, — подумала Вика, — раз уж пошло на то. Надо и правда сделать каталог, а то из телефона не всегда удобно показывать, как-то по-плебейски получается».

Они пошли гулять. Электрик стал рассказывать о работе.

— А вообще, я раньше работал в НИИ. Изобретал разные шутки, некоторые до сих пор используются в военной технике, однако мои взгляды начальству казались слишком абсурдными, невоплотимыми тогда (сейчас до них додумались, через двадцать лет), и я ушел на пенсию, сейчас вот по совместительству.

Они шли по улице. Вике было не очень комфортно, что она идет с ним, она прикрывала лицо: вдруг кто увидит. Кое-кто, похоже, действительно увидел.

— Знаете, первое свое изобретение я совершил в двенадцать лет. Мы с пацанами стащили кучу полуиспорченой техники, моторы всякие старые и сконструировали летательный аппарат. Мой отец тоже был инженером... И он почти полетел...

— Что значит почти? –спросила Вика.

— Ну, подлетел на два метра, а потом спикировал, я ушиб колено, а мой друг сломал ногу. После этого я немного испугался, но ненадолго, в четырнадцать была изобретена-собрана молотилка, потом кофеварка, потом... тут уже обходились без жертв. Бомба для фейерверка...

Вика слушала вполуха, не все понимая и не зная терминов, однако человек был увлеченный, и это само по себе завораживало.

Они прошли несколько улиц и зашли в еще одно кафе. Потом зашли в еще одно.

Старик хотел ей показать какой-то любопытный музей, но тот оказался закрыт.

— Да-да, я был женат, — сказал он, хотя Вика его не спрашивала ни о чем таком. Но он говорил так, будто она спросила. — Сейчас разведен. У меня пятеро детей. Все они постоянно названивают. Но все уже, если честно, надоели. Я, знаете, все пытался найти человека, с которым можно делать что-то интересное, например, забраться на крышу дома или бродить весь день по ночному городу.

— Или поговорить про черного кота, — сказала Вика.

— Что-что? — спросил он. — Да-да, про черного кота. Ну что, тут все кафе закрыты, можно еще посидеть у меня какое-то время. Заодно покажу вам изобретения, и посоветуете, куда можно было бы в квартире повесить вашу работу. И возможно, какие-то другие работы, которые я чуть позже захочу купить. Я вот в дизайне не разбираюсь совсем.

Вика думала несколько секунд. «Ну не изнасилует же он меня», — решила она. А потом ей стало любопытно.

Они поднялись к нему. Это была большая квартира с длинным коридором и множеством комнат, но повсюду здесь лежали разные части механизмов. Инструменты, подшипники, части шпал, какие-то моторы, механизмы, шестеренки и много-много всего еще, названия которых Вика и не знала.

«Боже мой, — подумала она, — у него не все в порядке с головой. У него дома как у концептуального художника. А я считала, это я ненормальная!» Она вспомнила одного скульптора, который собирал фигуры животных из таких вот старых и ржавых механизмов и обломков металлолома.

Но безумие нового знакомого, кажется, простиралось куда дальше.

— Я, видите, еще слесарь и любитель-механик. Очень люблю чинить и проектировать. Несколько моих изобретений были использованы в министерстве трамвайных путей. Я часто им туда пишу, предлагаю нововведения разные, технические решения. Предлагал ведь сделать так, чтобы трамвай не скрипел при развороте и уменьшить трение об рельсы, чем понизить изнашиваемость колес, это можно было сделать за счет вот такого механизма...

Он подвел ее к столу, на котором было много разных колесиков, длинных железок, подшипников. Вика, чуть подумав, поняла, что это сильно уменьшенная и искаженная схема колесного транспорта.

Вика пришла в восторг. «Да он гений!» — подумала она.

Алексей повел ее дальше, показывая чертежи, схемы и разные аппараты. Они лежали на полу, шкафах, стульях, диване, были прислонены к стене, маленькие и большие. И вместе с тем выглядели почему-то не анархично, а гармонично.

— Ну как вам?

— Потрясающе!— сказала Вика.

Тут он ее и поцеловал.

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ

Она ждала, что он подойдет, но он не подошел.

Она была совсем с другим мужчиной, который ей надоел, но она сидела рядом с ним, и ей было неудобно уходить от него. С этим мужчиной уже все было понятно, и с его руками, и с его поцелуями. За четыре недели он так и не пробудил в ней страсти.

И она не знала, что у них будет, но с ним становилось скучно.

Но этот мужчина, в аккуратном пиджаке и черных ботинках, был рядом, и ухаживал, и приносил ей цветы, завернутые в прозрачную упаковку, и сумки с продуктами, и целовал ее, и они смотрели старое голливудское кино, обнявшись, лежа в кровати.

Иногда ей казалось, что она любит его, и она радовалась, когда он пишет и приходит, а иногда было смертельно однообразно — ведь он так и не смог возбудить ее, коснуться темных и пугающих ее саму уголков души, и, возможно, с ним было что-то не так, с его пальцами и прикосновениями, он был слишком вежлив, деликатен, смазлив, а ей нравились грубые и недоступные самцы, готовые взять ее силою, может, немного дикие и неуклюжие, за такими она готова была сама пойти на край света. Однажды она даже прыгнула с парашютом, чтобы ближе познакомиться с огромным двухметровым десантником с серыми стальными глазами (он был инструктором), но что делать, сейчас она была ограничена в движениях, к тому же женщине предписываются скромность и выжидание. Но от этого ей надоело выжидать.

А вот со вторым было еще непонятно что, и он был этим ей интересен.

И когда она была здесь одна в прошлый раз (без первого — назовем его Игорь), второй подошел к ней и стал разговаривать, назовем его Сергей (он еще не видел их вдвоем с Игорем). Он сказал, как его зовут, представился, тогда он ей не понравился, напугал ее. Он был юрист, невысокий, кряжистый, в поношенном свитере и больших кривых очках — так выглядели обычно юристы с низким чеком, не очень удачливые и уверенные в плане клиентов — потрепанные крепкие мужики с быстрой реакцией и накрученными нервами, готовые, кажется, взорваться при неосторожном нажатии и бешено что-то закричать.

Он говорил, что работает в Москве за большие деньги, но сам почему-то был здесь, а не в Москве. И потом, после обмена фразами, он стал трогать ее за фаланги пальцев и полез дальше, вверх по запястьям к плечам, тогда она крикнула, одернула его, чтобы убрал руки, и он извинился, потом сказал, что она ему понравилась и он бы мог помочь с семейным бизнесом ее родителей, что есть специальные скидки на бизнес сейчас и он может помочь ей с этим, пришлет нужную форму, бумаги для заявления, и взял ее контакт.

И на следующий день он звонил и писал. И сперва она не брала трубку, но он звонил и звонил, а она сидела одна в своей квартире, и ей стало интересно, и его настойчивость ее поразила, и она решила ответить.

Они немного поговорили о делах, а потом он внезапно сказал, что поведет ее в особый вегетарианский ресторан, в котором она еще не была, и ей стало очень интересно.

И они договорились на вечер, но он перезвонил и перенес свидание, и они договорились через два дня.

Он опять перезвонил и сказал, что у него важная встреча в этот день. Он ведь был юрист, и ему нужно было зарабатывать и ходить в суд и работать с клиентами. Делать кучу бумажной работы. Ничего не поделаешь.

Так произошло три раза подряд, она обиделась и перестала брать трубку.

А потом она опять пошла в бар с первым. И там снова был этот юрист в неуклюжих очках, и она рассказала первому про него. Рассказала, что тот познакомился с ней и звал в ресторан и как все было.

И первый разозлился, обиделся и распереживался, но ничего не сделал. Ведь, в конце концов, они не спали, и у них не было отношений, просто он за ней ухаживал.

И просто они сидели вместе и иногда целовались.

Потом они обнимались на старом диване, смотря на сцену, где пели лохматые гитаристы, и немного соединяли губы, и первый не заметил, когда дверь распахнулась и с мороза зашел юрист в поношенной куртке, потому что не знал, что это юрист, а она заметила, но не сказала. А юрист их увидел, и его очки посверкали, словно он пожевал бумаги из своего кейса и никак не мог проглотить, он как-то сразу поблек, потек, словно поганка, но постарался не подать виду и выглядеть бодрым, веселым, он резко очертил губы, прошел вперед и вбок, к барной стойке, подальше от их глаз.

Он напился в тот день, и она решила, что он напился из-за нее, хотя он напивался и до этого, он всегда напивался, когда приходил в бар, но в этот раз особенно сильно, что поделать, дела сердечные...

К ней он приблизиться не решился.

И они обнимались с первым, а потом поехали к ней домой еще пообщаться. А ночью, когда первый немного пообжимал ее и ушел, выпив чаю, юрист написал ей:

«Ну что, ушел твой мужик?»

Это было в три часа ночи.

Она растерялась, смотрела на сообщение, ерзая на подушке, и не знала, что ответить, потому что это было очень глупо что-то отвечать.

Но сейчас, когда они сидели с первым, она вдруг поймала себя на мысли, что хочет, чтобы он подошел к ней, чтобы что-то сказал, чтобы устроил скандал, драку ради нее, дал Игорю по морде, хоть что-нибудь. Что ее так достало, что ей импонируют его наглость, упертость и грубость. Ведь она помнит его настойчивость и внимание, и ей приятно.

И у нее созрел план, она даже взяла свою черную маленькую сумочку под видом, что идет в туалет, чтобы дать возможность ему подойти, и юрист понял это, но первый что-то почувствовал, пошел следом и не дал им заговорить, у него иногда срабатывали мозги.

Потом они вдвоем вернулись на кресла у сцены.

Но через некоторое время Игорь, помявшись и пожевав что-то внутри рта, сказал:

— Знаешь, у тебя такой вид, словно ты рядом со мной как в тюрьме сидишь, будто мучаешься. Может, мне следует отойти и не мешать, оставить тебя одну?

— Нет, — сказала она, — нет. Не уходи. Останься.

Станислав ГОЛЬДФАРБ

«ГДЕ-ТО В ГОРОДЕ, НАД БЕЛОЙ РЕКОЙ...»

Беглые заметки об иркутском времени Юрия Левитанского

С чем-чем, а с литераторами Иркутску везло. И не «вдруг», а с завидным постоянством (от первого русского романиста Полевого до современных авторов). А между «до» и «после», между литературных эпох то бриллиантами, то золотыми блестками — десятки и десятки имен прозаиков и поэтов, чьи книги читали весь СССР и современная Россия, да и «зарубеж» тоже. Конечно, каждая провинция может предъявить свои жемчужины литературного цеха, но когда из одной молодежной иркутской газеты выходит несколько десятков литературных имен (в газете «Советская молодежь» работали Распутин и Вампилов, Ма́рина, Шастин, Кобенков, Сухаревская, теснейшим образом были связаны Уткин и Алтаузен, Марк Сергеев и Машкин, Дмитрий Сергеев и Скуратов, Дворецкий и Седых, Гурулев и Суворов...), стоит вспомнить прекрасного М. К. Азадовского с его теориями иркутских литературных гнезд и «агрессивного» краеведения.

В очередной раз Иркутску повезло несказанно в 1945 году. Сюда в составе фронтовой редакции газеты «За Родину!» прибыл двадцати трех лет от роду молодой журналист Юрий Левитанский. Год в паспорте — признак внешний. А по факту этот лейтенант уже изрядно отведал пороху: и ранен был фашистом, и ордена имел, и, как говорится, пол-Европы прошагал. Европой, как мы видим, не обошлось, судьба приготовила ему еще и японского милитариста. Так вот и кочевал с войны на войну.

В первой своей книжке «Путь солдата», изданной в Иркутске в 1947 году, многое навеяно гобийской пустыней, китайскими равнинами, монгольскими степями.

У Ляо-Хэ

Как миражи в пустыне, за Хинганом
Песок и степь исчезли без следа.
Неделю кряду ливнем окаянным
Нас хлещет озверевшая вода.

Станислав Иосифович Гольдфарб родился в 1956 году. Писатель, доктор исторических наук, профессор Иркутского университета. Почетный гражданин Иркутской области, дважды лауреат национальной премии «Медиаменеджер России» (2010, 2021). В 2024 году удостоен специального диплома национальной премии «Книга года-2024» за книгу «Сунгоркин, или Как закалялась „Комсомольская правда“». Лауреат премии Министерства цифрового развития и Союза журналистов Москвы за 2025 год в номинации «Лучшая книга, написанная журналистом».

В покатую китайскую равнину
Она течет, как будто по столу.
И за пять дней не сделать половину
Дороги от Линь-Дуна до Кайлу.
Осколки гор, тяжелые, как танки,
Вода швыряет вниз, осатанев.
В ней пробудились бешенство атаки
И рукопашной беспощадный гнев...
А в сумерки открылось перед нами
Упрямое течение реки.
Здесь брода нет, и только под ногами
Ползут, ползут и катятся пески.
Но мы шагнули прямо в непогоду,
Хлеставшую взъяренною волной.
Мы все прошли сквозь ледяную воду,
Солдатский скарб неся над головой...
Вот точно так, захлебываясь пеной
Клокочущих и шумных переправ,
Любовь к Отчизне ношею бесценной
Я надо всем пронес, не расплескав.

Лейтенант, слава богу, и на японской войне остался жив. Он осел в Иркутске, а спустя время перевез сюда из Фрунзе родителей — семейное гнездо было сформировано. Иркутск, по словам самого Левитанского, в то время показался ему Парижем. Парижем не Парижем, а вот на столичный Петербург в отдельных уголках походил — иначе и быть не могло: с XVII века здесь работали питерские зодчие.

С точки зрения географии Иркутск — глубокий тыл. Но война между тем, как и везде, чувствовалась на каждом шагу: вся промышленность (или почти вся) — с оборонными заказами. Из Иркутска улетали военные самолеты, с местного засекреченного предприятия отправлялись танки. Патронные заводы работали круглосуточно — производили снаряды и прочую взрывоопасную технику. Шили одежду. А еще Иркутск стал госпитальной столицей на востоке страны. Даже Байкал и тот служил. Добытая в нем продукция закатывалась в банки и тоже уходила на фронт. Вычерпывали из Байкала все, что можно, в итоге к 50–60-м годам XX века живности сильно поубавилось — ввели запрет на лов.

В 1945-м город из чисто тылового все-таки стал приобретать прифронтовые черты: вот-вот грядет война с Японией. Военные эшелоны идут и идут в сторону Байкала, оттуда дальше — на восток. На Кругобайкальской дороге — часовые. Поговаривали, что даже подводную лодку завезли, дабы перестраховаться от диверсий на тоннелях, коих на Кругобайкалке десятки.

Но и культурная составляющая никуда не делась. Театры и кинотеатры, вузы, научные коллективы. Сады и скверы. Небольшой, компактный, с правильной планировкой и утопающий в зелени исторический Иркутск, застроенный в те годы деревянными и каменными домами вперемешку, уютен и неспешен. Чуть ли не каждый сотый взрослый — учащийся вуза, техникума, училища или рабфака. Между прочим, в городе с двухсоттысячным населением издается 15 газет с разовым тиражом 137,9 тысячи экземпляров. Добавим, Иркутск никогда не был пролетарским —

типично мещанский — жители, главным образом, врачи и учителя, военные и ученые, студенты, инженеры...

Левитанский без особых проблем влился в городскую иркутскую повседневность. Она была частью, как у всех (бытовая), а частью, как у избранных (литературная работа). А «между» столько, казалось бы, бесполезного, проходного, ненужного... Ах, кабы Левитанский никогда не ходил с авоськой по иркутским магазинам, не колол дров, не растапливал печку, не тратил время на шумные застолья, не бродил по городскому лесу, любил только одну женщину, не ссорился с партийными органами и больше просиживал за письменным столом...

А кто даст ответ, случился бы на земле без всего этого известный нам Левитанский? А может, кажущиеся лишними детали и слова как раз и рождали тот поэтический свет и то левитанское слово, которых это пространство еще не знало.

Вот кто точно заметил появление Левитанского, так это местная творческая интеллигенция. И хотя это еще не был тот, поздний Левитанский, она тут же разглядела, сколь необычен был его голос, такой красивый, такой самостоятельный и мощный.

В ожидании дел невиданных,
из чужой страны
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришел с войны.
Огляделся. Над белым бережком
бегут облака.
Горожанки проносят бережно
куски молока.
И скользят, на глаза на самые
натянув платок.
И полозья скрежещут санные,
и звенит ледок.
Очень белое все и светлое —
ах, как снег слепит!
Начинаю житье оседлое,
позабытый быт.
Пыль очищена, грязь соскоблена,
и — конец войне.
Ничего у меня не скоплено,
все мое — на мне.
Я себя в этом мире пробую,
я вхожу в права.
То с ведерком стою над прорубью,
то колю дрова.
Растолку картофель отваренный —
и обед готов.
Скудно карточки отоварены
хлебом тех годов.

Но шинелька на мне починена,
нигде ни пятна.
Ребятишки глядят почтительно
на мои ордена.
И пока я гремлю, орудуя
кочергой в печи,
все им чудится —
бьют орудия,
трубят трубачи.
Но снежинок ночных кружение,
заоконный свет —
словно полное отрешение
от прошедших лет.
Ходят ходики полусонные,
и стоят у стены
сапоги мои, привезенные
из чужой страны.

Первое место работы Левитанского в Иркутске — многотиражка «Советский боец». Она мало чем отличалась от типового военного издания. Газета призвана была решать конкретную задачу — распространять в частях Восточно-Сибирского военного округа общественно-политическую информацию. Но вот состав редакции! Здесь публиковались практически все известные в ту пору иркутские прозаики и поэты, профессора Иркутского госуниверситета, деятели культуры и искусства. Здесь стихи Александра Гайдая, старшего брата кинорежиссера Леонида Гайдая (Алек-

сандр Гайдай был начальником отдела культуры и быта в газете), статьи патриарха сибирской исторической науки Ф. Кудрявцева, отрывки из книг секретаря Иркутского отделения Союза писателей СССР Г. Кунгурова (автор прекрасной книги «Артамошка Лузин»), будущего руководителя Союза писателей СССР Г. Маркова... С 1946 года в газете активно работал иркутский поэт Марк Сергеев, поднявший на мировую высоту тему жен декабристов, отправившихся вслед за мужьями на «край света». С 1947 года литсотрудником в «Советском бойце» стал известный впоследствии драматург и прозаик Игнатий Дворецкий. В общем, такой своеобразный иркутский «Гудок». На какое-то время редакция «Советского бойца» стала чуть ли не главным литературным салоном Иркутска...

Мы не знаем с точностью до дня или недели, когда Левитанский переступил порог местного отделения Союза писателей, но доподлинно известно о его появлении у здешних литераторов в декабре 1945 года. Проходила традиционная «литературная пятница». Так называли регулярные встречи литераторов, где обсуждали книги, встречались с «интересными людьми», слушали композиторов, артистов, ученых, руководителей города и области. Эта декабрьская «литпятница» была посвящена встрече с молодыми поэтами. Слушали стихи Левитанского...

«Как» слушали, что сказали — неизвестно. Нет никаких источников. Следующее публичное появление — январь 1946-го. И вновь «литературная пятница», стихи молодых — его стихи. Это новые мотивы, которые принимаются хорошо местными словесниками.

Кто сказал, что в Сибири холодно?
Ерунда!
Солнце брызнуло,
льды расколоты,
подо льдом — вода.
Тянет из лесу
запах прелости
листьев прошлого года.
Не апрель на дворе,
а прелести.
Ах, какая погода!
За околицей,
где распутица,
впору новой листве распутаться.

В птичьем пении,
в нетерпении
почка лопнет
и вдруг — распустится.
И уже искупаться тянешься.
Ну и жарит же!
Вот так лето!
Зазеваешься –
не оглянешься
и поджаришься, как котлета.

Зазвенит июль косовицею,
ниже свесятся ветви сада,
понесется рыжей лисицею
по лесам пора листопада.
Станет все золотым и розовым,
голубое вверху и синее.
Под березою —
подберезовик,
под осиною —
подосиновик.
Отгорят рябины
рубинами перезревших ягод.
Вьюги крыльями голубиными
на поляны лесные лягут.
Звери глубже под снег зароются,
спать в берлогах —
одна забота им.
Ну, а что мороз?
На здоровьице!
Нам не холодно:
мы работаем!

...Война уже закончилась, Левитанский вместе с редакцией возвращается в Иркутск, но демобилизацией, что называется, не пахло. Помог Георгий Мокеевич Мар-

ков. Он и позднее помогал-выручал коллегу по литературному цеху. Это по его просьбе Левитанский получил должность завлита в Иркутском театре музыкальной комедии и комнату в гостинице.

В театре проработал совсем немного — с августа 1947-го по январь 1948-го. Следом появилась новая запись в трудовой — работа в Иркутском отделении Союза писателей СССР — Левитанский стал литконсультантом по работе с молодежью. Поэт Сергей Иоффе писал: «Мне вспоминаются шумные „литературные понедельники“ при редакции „Советской молодежи“, куда я — робкий девятиклассник — приходил вместе со своими товарищами... те понедельники, когда заседаниями литературного объединения руководил Юрий Левитанский, были для нас (да и для всех) особенными. Словно бы отступало куда-то все мелкое, ненастоящее, суетное, и сама Поэзия владела нами в эти часы...

Шли годы, робкие школьники превращались в довольно бойких студентов, новые, совсем уже взрослые интересы безраздельно владели нами... но (удивительное дело!) мы по-прежнему благоговели перед стихами Юрия Левитанского, он был нам все так же интересен и близок. Можно было подумать, что поэт пристально наблюдает за нами, чутко улавливает все наши душевные бури, точно угадывает зарождающиеся в наших умах недоуменные вопросы».

Городские впечатления о первых годах иркутского времени наполнили стихотворение «Воспоминанье об оранжевых абажурах»:

В этом городе шел снег
и светились оранжевые абажуры,
в каждом окне
по оранжевому абажуру.
Я ходил по улицам
и заглядывал в окна.
В этот город я вернулся с войны,
у меня было все впереди,
не было лишь квартиры,
комнаты,
угла,
крова.
Снова и снова
ходил я по улицам
и заглядывал в окна.
Под оранжевыми абажурами
люди пили свой чай
с послевоенным пайковым хлебом.
Оранжевые абажуры были моей мечтой,
символом
всей несправедливости мира,
в котором,
как мне казалось,
лишь у меня одного
не было никакого пристанища,
комнаты,
угла,
крова.
У меня было все впереди,
все впереди настолько,
что я не мог оценить размеров
своего богатства.
— Скажите, пожалуйста, —
спрашивал я, —
здесь не сдается угол?
А в городе шел снег
и светились оранжевые абажуры,
оранжевые тюльпаны
за тюлевой шторкой метели,
оранжевая кожура мандаринов
на новогоднем снегу.

Он описывал Иркутск и свои первые впечатления от этой совершенно новой для него жизни, пока еще не устроенной. В 23 года многие бытовые неурядицы не играют существенной роли. Он входил в гражданскую жизнь именно так, как писал: в шинельке, в сапогах, без друзей и долгов, совершенно один в этом городе, но уже твердо знающий свою дальнейшую стезю.

Я ходил от здания к зданию,
Из квартала в квартал.
Незнакомых улиц названия,
Как стихи, читал.
Здесь мы стали друзьями давними,
В каждом доме ждут:
За окошком с цветными ставнями —
Земляки живут.

О том, что сложно жилось в Иркутске, он обмолвился однажды: «Всех содержал, ко мне моя жена Марина пришла с портфельчиком, ничего у нас не было. Сам я долгое время ходил в шинели, помню, мечтал съесть целиком буханку хлеба...»

Буханка хлеба несколько раз будет всплывать в его стихах как некий образ военного лихолетья.

Каждое утро
ходит отец за хлебом.
В булочной рядом
он покупает хлеб.
Он возвращается
с черным и белым хлебом
и режет торжественно
черный и белый хлеб.
Сердится мама:
— Куда вам так много хлеба!
Вот и вчерашний даже
не съели хлеб... —
Но завтра опять берет он
две булки хлеба
и режет старательно
черный и белый хлеб.
Милые, полно,
чего уж тут пререкаться!
Ведь между вами
других разногласий нет.
...О, голодная память
далеких эвакуаций,
трудная память
наших военных лет!

Военная тема еще долго оставалась в творчестве Левитанского главной. И первые книги, и работа в окружной газете пропитаны его диалогом с военными годами, с героями лихолетья и с теми служилыми, которые пытаются встроиться, вписаться в мирную жизнь.

1947 год. Первый значимый личный юбилей — Левитанскому 25. Нет никаких намеков на то, отмечал ли он эту двадцать пятую зиму за столом, в кругу коллег или, может быть, уехал в какой-нибудь район или близлежащий городок с концертом.

К 1947 году относятся многие стихи, написанные им и вошедшие в первую книжку «Солдатская дорога», изданную в следующем, 1948 году в Иркутске. И если только представить, допустить, что этими строчками он зашифровал свое настроение двадцать пятой зимы, то это будет той самой зацепочкой для понимания его мыслей, идей, чувств, наконец.

Не называя стихотворений, не разделяя их по темам, просто вырву из них строки, которые для любого человека могут быть значимы и особенно дороги... И для самого Левитанского, безусловно, тоже — в силу их смысла и содержания:

Благословенна участь
Пришедших с этой войны...
Но жизнь,
Уходя вперед,
О прошлом напоминает.

* * *

В звании
гвардейского солдата
он четыре года воевал.
Тихий врач из медсанбата
удивлялся:
как он выживал!
Выживал!..

* * *

Открой окно!
Сегодня на рассвете
Неслыханные песни входят в сны.
От Ангары донесся теплый ветер,
Наполненный дыханием весны...

Получается, что двадцать пятую зиму встречал он с мыслями о военной службе, о чести, о будничной жизни служилого человека. Много писал в окружную газету, разговаривал с читателями и совсем по-мальчишески спорил с ветеранами литературного цеха. Он был, скорее всего, счастлив от тех перемен, которые происходили на его глазах в городе, ставшем для него родным. И конечно, не мог предположить, что над его головой занесен дамоклов меч идеологической силы, которая должна была погрести под собой совсем еще молодого человека. В разное время громили Асеева, Ахматову, Сельвинского, Чуковского, а в провинциях спешно искали своих асеевых и ахматовых. Разворачивалась кампания против «безродных космополитов». 28 сентября 1947 года появилось соответствующее постановление Иркутского обкома ВКП(б). Обычные, ни к чему не обязывающие, обезличенные формулировки, пересыпанные возгласами «усилить», «улучшить», «обязать»...

В Иркутске в «космополиты» пытались записать поэтов Елену Жилкину и Юрия Левитанского. К счастью, в интеллигентном Иркутске фокус не удался. Исторические гены интернационального Иркутска на этот раз сработали. В Доме писателей оказалось больше благоразумных и порядочных людей.

Ю. Левитанский рассказывал: «Я тоже попал в свое время в космополиты... в Иркутске. Поскольку там больше не было ни одной подходящей кандидатуры. Полагалось каждому городу иметь своих космополитов. А там просто больше никого не было. Я только что демобилизовался. Это был 47-й год. Это отдельная история — длинный рассказ. Как все это было: как из меня, мальчишки, попили крови. Хотя мне все это было просто непонятно, потому что я действительно был замечательным патриотом. И писал стихи сугубо патриотические, и даже более чем. Я тогда совсем ничего не понимал, как это могло быть. Потом, позже, мне уже объяснили, что к чему. А найти что-либо крамольное во мне было трудно: я единственный среди писателей Иркутска, кто был на войне. <...>

Я только что демобилизовался и поехал в Москву на побывку. Я только увидел ее, Москву, впервые после войны: я ошалел, обалдел — Москва тогда казалась мне лучшим городом в мире. Вернувшись, я написал длинное такое стихотворение, оно называлось „Встреча с Москвой“, — полное любви к Москве, к этому городу.

Наивное, но достаточно чистое и по-своему, может быть, неплохое. Оно начиналось такими строчками:

„Я снова первый раз в Москве“.

Проходит очередной городской актив... И секретарь горкома — до сих пор даже помню ее фамилию: некто Мусина — рассказывает: „Есть у нас некоторые люди, которые, не зная русского языка, тоже, видите ли, берутся писать. Вот некто Левитанский — «Я снова первый раз в Москве»... Так я вас спрашиваю, товарищи, «снова» или же «первый раз»?“

Я был еще мальчишкой, совсем еще дурачок. Я гордился, что такую хорошую строчку придумал: снова в первый раз...

Но это же стена. Все. Значит, первое уже есть: не знает русского языка... Я сначала не понял. Я не понял ни черта и обращался ко всем.

„Ну вы же понимаете!“ А мне говорят: „Ну да, конечно, но с другой стороны...“ И все. Это стена.

„Не знает русского языка“ — это, конечно, уже кое-что, но еще пока маловато.

А я только что родителей привез — все были голые, раздетые, голодные. Поэтому я не гнушался никакими жанрами и подрабатывал в местной военной газете — я там работал во всех жанрах, скажем, в жанре солдатского юмора. Получал там какие-то жалкие крохи. Сделал я очередную страничку, где, как вы понимаете, разоблачал американских поджигателей войны... Там было одно стихотворение — если можно это назвать стихотворением, — которое было написано по мотивам популярной в ту пору песни „Хороша страна Болгария!“ А я сделал так: „Хороша страна Америка! Ну а чем же хороша?“ И дальше я разоблачал изо всех сил поджигателей войны, — будь здоров как!

Газета закрытая. Окружная военная газета... Приезжает полковник из ПУРа, собирает актив и говорит: „Товарищи, у вас в военной газете публикуются проамериканские стихи...“ Это сейчас смешно! То же был 47-й год! Цитируется только одна строчка: „Хороша страна Америка!..“ Та-а-ак... Прибегает покойный ныне братишка (он учился тогда в университете): ты что, с ума сошел? Как так можно — „Хороша страна Америка!“ Это же каждому не покажешь! Дальше-то там идет такое: с этими поджигателями я у-у-ух как расправляюсь! А цитируется только одна строчка...

Значит, „русского языка не знает“ и „написал проамериканские стихи“! Этого уже во-о-от как достаточно! 47-й год! И пошло, пошло, пошло, пошло...

Не знаю, чем бы это закончилось, — меня бы в порошок стерли... Я же был молоденький, совсем дурачок. Я не понимал и даже не мог понять — как! Как это я? Какой же я... это самое... космополит!

Надо отдать должное Георгию Маркову, который потом стал главой нашего Союза писателей: каким бы он ни был, но человек он был не злой и никогда не имел национальных предрассудков, как почти все сибиряки в прежние времена...

Так вот — Марков. Когда уже дело дошло до последней точки, — что со мной делать? (За это тогда уже, конечно, не расстреливали, но я бы нигде не смог опубликовать ни единой строчки, не смог ничего заработать — полная беда.). Когда дошло до самого последнего момента, Марков, как всегда, спокойно так сказал: „Товарищи дорогие, я так считаю: Юрий Давидович — человек молодой... Давайте так запишем в протоколе: «Допустил политически неточную формулировку...“ Я и тогда не понял — там не было ничего неточного абсолютно... Я не понимал, что для меня это было спасением — не „грубая политическая ошибка“, а „политически неточная формулировка“. Практически он меня спас, чего я никогда забыть не мог. Так я был космополитом».

В 1947 году Ю. Левитанский делает первую попытку вернуться в Москву через обучение на заочном отделении Литературного института. В институт поэт не попал. Случилась трагедия: погиб его брат. Страшное горе для семьи, и Левитанский решил остаться с родителями, помочь им пережить трагедию...

«Слушаю, слушаю, слушаю!» — этими словами заканчивалось одно из стихотворений, которое по времени относится к иркутскому житию Левитанского. Слова в буквальном смысле передают настроение поэта, который все еще присматривается к тому, что происходит во внешнем мире, что происходит с ним самим. Но он не просто слушает — он участник этого калейдоскопа событий, которыми была так богата сибирская жизнь конца 40-х годов. Нередко и сам создает поводы, которые вызывают в обществе всплеск эмоций. Дни наполнены литературной работой, общественной занятостью. Он участвует в заседаниях редколлегии альманаха «Новая Сибирь», работает с молодыми поэтами. Выступает в составе писательских бригад перед жителями сел, леспромхозовских участков, пишет в местные газеты... 15 июля 1947 года произошло действительно важное событие: иркутские писатели рассматривали его заявление о приеме в союз.

Из протокола заседания:

Вопрос: Каковы перспективы роста?

Ответ: Работаю над книгой стихов о Советской армии после войны. Эта книга внесена в план издательства на 1949 год. Есть заготовки для повести о молодежи.

Вопрос: Какие общественные обязанности выполняет Ю. Левитанский?

Ответ: Работаю в газете «Советский боец» и выполняю отдельные поручения отделения Союза советских писателей.

Кунгуров: Предлагаю рекомендовать и просить принять в ССП. Но нужно более активно принимать участие в общественной жизни города и области. Выступать с очерками и статьями в газете, вступить в общество по распространению политических и научных знаний.

Ольхон: Присоединяюсь к предложению Кунгурова. Мои замечания: в последнее время Ю. Левитанский отмалчивается на обсуждениях.

Марков: Мы считаем Ю. Левитанского талантливым поэтом и поэтому можем ставить вопрос о приеме его в члены Союза писателей. Замечания насчет недостаточной общественной работы нужно учесть.

...Первая песня об Иркутске написана на его стихи. 25 апреля 1948 года в газете «Восточно-Сибирская правда» опубликованы текст и ноты «Песни о нашем городе». Музыку написал здешний композитор Ю. Матвеев. Это была первая песня об Иркутске, и ее пел весь город, свидетельств тому немало.

Первые обсуждения стихов всех будущих иркутских поэтов по традиции проходили на заседаниях Иркутской писательской организации и отчего-то становились самыми «злыми». Словно бы испытуемого специально пробовали на «зубок» — выдержит ли, не замкнется, а то, может, и вовсе начнет со всеми соглашаться. Поэт Марк Сергеев вспоминал: «Поэзия Юрия Левитанского будоражила, заставляла по-иному взглянуть на мир. Помню грозную баталию в Союзе писателей, который к тому времени уже переехал из „Восточно-Сибирской правды“ в собственный особняк на улице Пятой Армии. В новом цикле стихотворений Юрия Левитанского был своеобразный импрессионистический этюд о Байкале. Мы привыкли к формулам „священное море“, „седой Байкал“, „могучий старик“. А тут озеро-море виделось поэту границей земли и лазури, оно горело ежевикой и дикой малиной.

Почему-то стихотворение это вызвало резкое неприятие у Анатолия Ольхона. Левитанский ему возражал, причем весьма спокойно, но не без иронии. Тогда Ольхон бросил: „Вы талантливый нахал“, на что фронтовик отрикошетил: „А вы нахал неталантливый“. Но вот что интересно. Этот нелицеприятный диалог не привел к непримиримой ссоре, как это бывает подчас. Мы все, участники „литературной пятницы“, восприняли это как мимолетную словесную дуэль»...

Впрочем, страсти первых часов и дней как-то улеглись, и тот же Ольхон вскоре голосовал на бюро за прием Ю. Левитанского в Союз писателей.

Осенью 1948 года в Иркутском госуниверситете состоялась конференция, посвященная разбору альманаха «Новая Сибирь». И сам формат, и широкое обсуждение были отголоском недавних постановлений ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Но читатели, конечно, пришли прежде всего на встречу с литераторами. Левитанского читающая публика пропустить не могла. Его откровенно хвалили. Впрочем, многие отмечали грустные нотки, которые появились в его поэзии (возможно, это было связано с тем, что Левитанский болел. Он даже просил у Литфонда безвозмездное пособие для приобретения путевки в санаторий — предстояло лечение после тяжелой операции).

М. Сергеев, выступая на этой конференции, сказал: «За последнее время альманах „Новая Сибирь“ значительно перестроил свою работу, стал помещать много нового. Вот стихи Левитанского, появившиеся в альманахе только после войны, по своей значимости имеют всесоюзное значение, и недаром на конференции в Москве эти стихи были отмечены, как совершенно новые по тематике. Недаром о книге Левитанского „Солдатская дорога“ помещены прекрасные рецензии в „Литературной газете“ и журнале „Знамя“».

В сентябре 1949 года в Иркутске открылась Творческая конференция писателей Иркутской области. Подготовку к ней начали заблаговременно, было принято специальное постановление бюро обкома ВКП(б). Все сибирско-дальневосточные Союзы писателей должны были принять участие в Иркутской конференции.

Порядок проведения конференции утвердили следующий: первым должен был выступать первый секретарь Иркутского обкома ВКП(б) А. П. Ефимов с докладом «Перспективы развития Восточной Сибири и задачи писателей Иркутской области»; политическую преемственность курса партии должен был отражать доклад ответственного секретаря Иркутской писательской организации И. Молчанова «Работа иркутских писателей после постановления ЦК ВКП(б) о журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Разумеется, ожидался доклад кого-то из крупных литературных чиновников. После этих трех выступлений начинался собственно литературный разговор о творчестве иркутских литераторов.

После выхода постановления секретариата СП СССР работа закипела. Ход подготовки неоднократно обсуждался на бюро ОК ВКП(б), на сессиях областного Совета депутатов трудящихся.

20 сентября 1949 года конференция начала свою работу. Накануне выяснилось, что К. Симонов не приедет. Вместо него делегацию Союза писателей возглавил Борис Горбатов.

С докладом «О работе писателей Иркутской области после постановления ЦК ВКП(б) о журналах „Звезда“ и „Ленинград“» выступал секретарь Иркутской писательской организации И. И. Молчанов-Сибирский.

Он отметил поэтический дар Юрия Левитанского. Это произошло на утреннем заседании 21 сентября 1949 года: «Наши поэтические ряды после войны пополнились очень свежим дарованием. В наши ряды вступил поэт Юрий Левитанский. После первого удачного сборника стихов „Солдатская дорога“ Юрий Левитанский выступил со вторым сборником „В таежном гарнизоне“. Левитанский одним из первых включился в освещение послевоенной жизни Советской армии. Цикл „В таежном гарнизоне“ показывает напряженный будничный труд воинов Сибири, их боевую учебу в годы послевоенной Сталинской пятилетки. Во второй книге лучше, чем в первой, освещаются темы социалистического строительства в Сибири. Но это только начало. Лучшие стихотворения цикла второй книги — „Генеральный план“, „Комсомольская юность“ — показывают, что автор находится на правильном пути, но ему предстоит сделать очень многое, чтобы развернуть дарование. Острая полемическая направленность и жизнерадостность, присущие лучшим произведениям, должны вытеснить у поэта легковесность, созерцательность и красивость, которые портят порою очень хорошее стихотворение. Перед Юрием Левитанским вплотную стоит задача — изучение нашей жизни, жизни предприятий Иркутской области. Юрий Левитанский должен очень глубоко окунуться в жизнь предприятий, для того чтобы создать новые произведения, посвященные теме труда, а труд, как говорил Горький, является основным героем наших произведений. Здесь, на творческой конференции, я должен высказать претензии к Юрию Левитанскому, чтобы он быстрее осуществлял затянувшуюся творческую командировку на завод Куйбышева. Уже несколько месяцев Юрий Левитанский при помощи обкома партии связался с заводом, побывал там, очень заинтересовался, загорелся. Нужно, чтобы тот огонек, который зажегся на этом заводе, запылал ярким пламенем и превратился в поэму о лучших людях нашего замечательного завода...»

Это выступление Молчанова было очень нужным и важным для поэта. На фоне той турбулентности, что постоянно возникала вокруг его имени, требовалась официальная «защитная» оценка.

Левитанскому в 1949 году исполнилось 27 лет, и это уже известный поэт Сибири. Он в обойме тех, кого постоянно упоминают и цитируют в газетах, журналах, с трибун конференций и совещаний.

Примерно так и сделал знаменитый директор Иркутского драматического театра Волин, ко мнению которого прислушивались и власть, и творческая интеллигенция: «Многие произведения иркутян К. Седых, Г. Маркова, П. Маляревского, И. Молчанова, Ю. Левитанского по праву вошли в большую литературу нашей страны, они по праву заслужили популярность у широкой общественности».

Его выступление также было важным, поскольку накануне на одном из совещаний о ходе подготовки конференции прозвучали серьезные нападки Кунгурова на Левитанского и Дворецкого. И они были далеко не литературного плана.

В защиту поэта тогда поднялся драматург П. Маляревский, завлит Иркутского драматического театра, человек всероссийской известности, лауреат Сталинской премии, всегда выступавший резко и позволявший себе нелицеприятные высказывания в адрес местной власти. «Мы слышали выступление Кунгурова, который решил задним числом найти в нашей литературе хотя бы парочку Померанцевых и остановил свой выбор на мне и Юрии Левитанском. Правда, в его выступлении мы выглядели как раскаявшиеся Померанцевы, которые осознали свои ошибки. Я не хочу рассказывать и вводить вас в подробности того разговора, что был у меня с Гавриилом Филипповичем Кунгуровым. Но могу заверить собрание, что только

очень болезненная фантазия могла усмотреть в моих высказываниях какое-то сочувствие взглядам Померанцева.

Зная болезненную склонность и притязания Гавриила Филипповича к сенсациям (аплодисменты), думаю, что такое же основание для обвинения со стороны его и Юрия Давидовича Левитанского. Я это говорю вовсе не для того, чтобы утверждать тезис о непогрешимости своих творческих взглядов. Я много ошибался и ошибаюсь, много колебался. Как у каждого из нас, и даже у Гавриила Филипповича, но если эти ошибочные взгляды были, если вы знали о них, то надо было говорить об этом раньше, в другом месте. У нас бывают партийные собрания, надо было на этих партийных собраниях вскрыть и показать больные места, которые имеются за мной и за Левитанским. Показать, как в моей повести и в стихах Левитанского сказались эти ошибки».

Мимо творчества молодого Левитанского не прошел и глава выездной делегации Горбатов: «Живет здесь у вас талантливый человек Юрий Левитанский. Он приехал позже в поэтический отряд иркутских поэтов и сразу заявил о себе энергично, интересно, индивидуально. Есть у него и своя тема, и свой хороший публицистический порыв в поэзии.

Мне нравится, что он пишет вольно. Мне нравится, что иногда он строит свои стихи как вольную поэтическую речь. Его публицистика настоящая, органичная, уверенная, всегда согревает поэзию. И, конечно, глубоко неправы многие образованные наши критики, а на самом деле выдающие свое невежество в области вкуса, утверждающие, что настоящая поэзия существует в полный разворот там, где существует только пейзаж, только лирическое чувство, какой-то признак отвлеченности. Неверно. И поэтому лучшие газетные строки представляют собой иногда большую политическую ценность, чем стихотворения, написанные в так называемом журнальном плане. Вот почему лично я выступил так горячо в защиту газетной поэзии на страницах „Культура и жизнь“. Я считаю, что настоящее гражданское чувство, политическое чувство, партийное чувство присутствуют в настоящей поэзии как составная и основная его часть.

И у Левитанского эти свойства поэта и публициста, разговаривающего с современниками о современности, разговаривающего на языке человека партийного, заинтересовавшегося тем, что делается вокруг, являются его отличительной чертой...»

На конференции выступал поэт Александр Яшин, который, как считается, сыграл важную роль в судьбе Левитанского: поспособствовал его переезду в Москву.

«Юрий Левитанский — это настоящий поэт. Я не знаю, можно ли мне злоупотреблять временем, но мне хочется процитировать его стихи, это речь поэта. Причем свежий, поэтический язык, и это чувствуется даже без всякого клейма... Это язык поэта...»

А это из выступления лауреата Сталинской премии, автора романа «Даурия» К. Седых: «Мне очень нравится поэтический голос Юрия Левитанского. Когда читаешь его стихи, то чувствуешь, что товарищ очень хорошо и плодотворно учился у наших мастеров советской поэзии. Он владеет очень образным словом, умеет находить соответствующую форму для выражений, наконец, для жанровых сцен, для жанровых картин из жизни офицеров и бойцов, особенно в последнее время».

Совещание 1949 года стало для Левитанского настоящим прорывом. Его заметили и в столице, он получил всесоюзную известность, что во многом облегчало судьбу рукописей, позволяло надеяться на творческие поездки, на более внимательное отношение столичных издательств. Оставалось ждать новых книг в Москве и сибирских издательствах. И они не преминули появиться.

В 50-х годах он стал играть заметную роль в литературной жизни края. И потому, когда стало известно о Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве, мероприятии, безусловно, статусном и важном для литератора, в состав участников от Иркутской писательской организации был включен и Левитанский.

В 1950 году Левитанский просил отправить его в Бодайбо. Формально для работы над циклом стихов о стахановцах Золотой Лены. Но поездка осуществилась только спустя год. В июле—августе 1951 года Левитанский едет в творческую командировку на север — на реку Лену. В отчете он писал: «В июле—августе 1951 года я получил от Союза писателей творческую командировку на реку Лену (Заярск, Усть-Кут, Осетрово, Киренск, Бодайбо). Срок командировки — один месяц. В итоге поездки написал ряд стихотворений, которые вошли в книгу, готовящуюся сейчас в Иркутском издательстве, и публиковались в московской и сибирской периодической печати».

Ленские впечатления вошли в книгу «Листья летят», изданную в Иркутске в 1956 году.

Я не был там какой уж год.
По праздности? По лени?
Высокий белый пароход
спускается по Лене.
Кружится чайка за бортом,
и на скамейке, с краю
с широкоскулым якутом
я в шахматы играю.
Подходит к нам его жена.
Она садится слева.
Какая у него жена –
ну просто королева!
Какие у нее глаза!
Коса у ней какая!
Я грустно отвожу глаза,
ладью передвигая.
Притом я смутно сознаю,
что нравлюсь королеве.
Я каждым ходом создаю
угрозу королеве.
Исход неясен до поры,
но если б она знала,
как я страшусь конца игры
и как я жду финала!
Но не за мной последний ход.
И белый, в черном дыме,
в Якутск уходит пароход.
А я сижу в Витиме.
Как долго тянется гудок.
Как медленно светлеет.
На палубе ее платок.
Он для меня светлеет.
Потом проходит целый год.
Вода не убывает.
Высокий белый пароход
все дальше уплывает.
Там зябко на исходе дня.
И лето на исходе.
И странно мне, что нет меня
на этом пароходе...
О, захолустные места!
Скрипучие ступени!
И деревянного моста
железное терпенье.
Там женщина среди цветов
идет, меня не зная,
и ягоды семи цветов –
как радуга лесная.

В следующем стихотворении Бодайбо уже совсем близко. Витим! Эпические начала присущи почти всем его северным стихам. Вольно или невольно читатель проникался этой широтой, этой суровостью, этой открытостью ландшафтов и характеров.

Не брести мне сушею,
а по северным рекам плыть!
Я люблю присущую
этим северным рекам прыть.

Мне на палубе слышно,
как плещет внизу Витим,
как ревет Витим,
в двух шагах невидим.
Или вот это:
Здесь обычай древний...
Не нарушат.
В деревянный ставень постучи —
чай заварят,
валенки просушат,
теплых щей достанут из печи.

Северный цикл — это уже совсем близко к знакомой нам по 60—70-м годам поэзии Левитанского. Такое чудесное сплетение слов, образов, такая музыка, такое объяснение в любви...

Стрежень,
плёсы,
тиховодье Лены.
Это словно повесть о тебе:
с каждым перекатом — перемены,
как в твоей изменчивой судьбе...

12 января 1952 года на очередной «литературной пятнице» состоялся творческий отчет Ю. Левитанского. Сценарий включал в себя чтение стихов, обсуждение и дискуссию. Вначале Юрий Давидович рассказывал о своей работе, о том, что много времени и сил потратил на новую поэму о рабочих, которую предполагает закончить к весне. Еще написал книгу стихов «В защиту детей».

В эти годы Левитанский вообще писал много детских стихов. В этом же году в Иркутском областном издательстве выходит еще одна «детская книга» — «Самое дорогое». Эпиграфом взяты строки Николая Островского: «Самое дорогое у человека — это жизнь». Как и в предыдущем сборнике, много публицистики, всеобщих призывов, коими сплошь и рядом были наполнены страницы советских газет 50-х годов. И у меня нет ни капли сомнения, что строки складывались искренне, с верою и убежденностью в правоте. Разве он сам не видел смерть товарищей по оружию, уничтоженные города и деревни, изуверства фашистов?..

У девочки были золотые пряди,
а пальцы — в синих пятнышках чернил...
Ее у сквера
просто шутки ради
немецкий группенфюрер застрелил.
Он был мастак
в делах такого рода.
Но год прошел,
а может, день всего —
и партизаны
именем народа
на виселицу вздернули его.

Никто не знает,
где его останки,
когда травою сорной поросли...
А на могиле юной парижанки
подснежники весною расцвели.

Мне кажется, что хотя стихи и писались по «случаю», но этот реальный эпизод страшной войны, когда-то услышанный или прочитанный, так врезался в память Левитанского, что только ждал случая, чтобы воплотиться в поэтическую фразу.

В эти годы в творчестве поэта стали все чаще проявляться фольклорные напевы, сибирская удаль, стихи искрились хорошим настроением и любовью к сибирской стороне, ее природе.

Первые строфы стихотворения из сборника «Самое дорогое» он назвал «Медвежий угол».

Даже в теплых горницах
окна заморожены.
Срубы пятистенные
вьюгой заворожены.
Снег на одеянии
огородных пугал.
Ну и расстояние!
Медвежий угол!..

Как жар-птицы сказочные
стран необычайных,
вспыхивают красочные
вывески на чайных.
Курам на смех петухи
зычно заливаются,
голос радиоволны
перекрыть стараются.

Тридцатилетие Левитанский отметил двумя сборниками — «Наши дни» (Молодая гвардия, 1952) и «Утро нового года» (Новосибирск, 1952). Если верить стихам, то Левитанский и в самом деле не хотел как-то отмечать эту дату.

Не люблю именинные даты.
Подводя ежедневный итог,
с неосознанным чувством утраты
календарный срываю листок.
Я с непрожитых чисел снимаю
отслужившее службу число –
будто сильной рукой поднимаю,
заношу над водою весло...

Мы точно знаем, что Новый год он встречает по адресу: улица 5-я Красноармейская, д. 1, кв. 23. Здесь живет его семья — он и Марина. Мы точно знаем, что в это время он активно занимается общественной работой: Левитанский — член бюро отделения Союза писателей, член редколлегии альманаха «Новая Сибирь», член художественного совета областной филармонии, член Общества по распространению знаний.

Любопытную миссию в сентябре 1952 года выполняли Ю. Левитанский и И. Луговской. Их командировали на две недели в Улан-Удэ «для организации помощи бурят-монгольским писателям в подготовке к юбилею республики».

А в августе в Москве в издательстве «Молодая гвардия» выходит сборник «Наши дни» — итоговый, наработанный за прошедшие годы.

В 1953 году он все еще связан с Иркутской писательской организацией. Наверное, внутренне он был уже готов уехать из Сибири, но затягивается перевод из кандидатов в члены Союза писателей СССР. Без этого формального акта окончательно менять место жительства не имеет смысла. Ему 31 год — есть уже книги, и не одна, положительная пресса, узнаваемость и, конечно, свой голос. Но, увы, нет решения о приеме.

13 апреля 1953 года ответственный секретарь Иркутского отделения И. Молчанов в очередной раз запрашивает «большой» союз: «Прошу вас сообщить, как продвигаются вопросы о переводе из кандидатов в члены ССП Ю. Д. Левитанского...»

21 июля в адрес Иркутского отделения Союза писателей наконец-то приходит протокол правления СП СССР. Кандидата в члены Союза писателей поэта Левитанского (кандидат с 1949-го) решили в члены не переводить. Приняли решение воздержаться ввиду того, что «предоставленный им новый сборник стихов не дает оснований для перевода». Это, конечно, было неожиданное решение. Что сыграло роль именно в таком событийном ряде, сказать сложно. Отъезд в столицу откладывался на неопределенное время.

С 1954 года Левитанский руководил Иркутским областным объединением начинающих литераторов. Все остальное время насыщено встречами, выступлениями, работой...

12 марта состоялась очередная «литературная пятница», посвященная его творчеству. Обсуждали новые стихи.

На обсуждении обычно резко критичные местные корифеи Маляревский, Седых, что называется, поплыли. Это было так необычно для них.

П. Маляревский: Я прослушал целый цикл стихов — они очень интересны, как новый шаг вперед в развитии поэта и к обсуждению общих вопросов поэзии. В этих стихах радуют глубокая человеческая взволнованность и наличие большой поэтической мысли...

Р. Смирнов: Стихи волнуют. Я с тревогою следил, как работает поэт. Стихи, прочитанные сегодня, дают повод убедиться в новом шаге. В каждом стихотворении чувствуется мысль. Какая ответственность быть поэтом!

К. Седых: Я с огромным наслаждением прослушал стихи Левитанского. После таких стихов хочется жить, работать, творить. Они удивляют силой эмоций и заставляют думать, что ты сам не можешь писать стихов. В чем беда поэтов последних 15 лет: все в стихах исключительно страдали. Здесь у Левитанского вижу откровенный поэтический разговор. Мне они дороги тем, что в них есть незабываемые строчки. Много настоящей взволнованности, борение есть и большое раздумье.

Г. Марков: Когда прочувствуешь то, что согревает сердце и душу, то требуется время на неспешное раздумье, для того чтобы помочь товарищу собраться с силами пробежать последние сто метров. Стихи Левитанского меня тронули и взволновали. Что меня трогает в этих стихах? Верное и необычно глубокое ощущение нашей эпохи и яркое ее отражение, Ю. Левитанский дает полнокровное выражение страстей нашей эпохи. Не могу согласиться с высказыванием Смирнова, что здесь что-то нетипичное. Последние 15 лет было много ординарности... Левитанский сумел отойти от стандарта. Он оттолкнулся от общечеловеческого, не боясь писать о печали, о грусти. Думаю, что этот большой шаг вперед не исчерпает все возможности.

А. Ф. Абрамович: ...Была опасность, возникшая в 1949 году, когда он играл фразами. Поэт проделал большую и трудную работу... Поэт избежал опасности стать политическим стихотворцем. Разбор последних стихов приоткрывает дру-

> гую опасность — он стал писать слишком красиво. Стихотворение «Пейзаж» ложно красиво, автор кокетничает... У Левитанского не хватает богатства содержания. То, что он видит, он пишет об этом, но нельзя играть с темой ради темы... Нельзя играть с темой. Нельзя сказать «шлепает лист». Нельзя пренебрегать семантикой.

Не знаю, что могло насторожить университетского филолога профессора Абрамовича. Прекрасное — даже чудесное — стихотворение, читая которое меньше всего задумываешься о конструкциях поэтического слова. Поистине левитановская симфония.

Пейзаж

Горящей осени упорство!
Сжигая рощи за собой,
она ведет единоборство,
хотя проигрывает бой.
Идет бесшумный поединок,
но в нем схлестнулись не шутя
тугие нити паутинок
с тугими каплями дождя.
И после краткой подготовки,
над перелеском покружив,
повалят листья, как листовки, –
сдавайся, мол, покуда жив.
И сдачи первая примета –
белесый иней на лугу.
Ах, птицы,
ваша песня спета,
и я помочь вам не могу...
Таков пейзаж. И если даже
его озвучить вы могли б –
чего-то главного в пейзаже
недостает, и он погиб.
И все не то, все не годится –
и эта синь, и эта даль,
и даже птица,
ибо птица –
второстепенная деталь.

Но, как бы радуясь заминке,
пока я с вами говорю,
проходит женщина в косынке
по золотому сентябрю.
Она высматривает грузди,
она выслушивает тишь,
и отраженье этой грусти
в ее глазах не разглядишь.
Она в бору — как в заселенном
во всю длину и глубину
огромном озере зеленом,
где тропка стелется по дну,
где, издалека залетая,
лучи скользят наискосок
и, словно рыбка золотая,
летит березовый листок.
То простодушно-величава,
то целомудренно-тиха,
она идет,
и здесь начало
картины, музыки, стиха.
А предыдущая страница,
где разноцветье по лесам,
затем, чтоб было с чем сравниться
ее губам, ее глазам.

Впрочем, Абрамович был не одинок в своей критике. На этой «литературной пятнице» поэта активно критиковали за «украшательство», за то, что «нет современника». Обнаружили слишком много «акмеистического», «любования природой». Ссылались на выступление Дворецкого и убеждали, что «рано петь дифирамбы». Не преминули вспомнить о «постановлении партии о литературе», об «упадничестве».

Удивительно, что именно «старики», которые считались ретроградами, вновь вступились за поэта. Маляревский мягко заметил, что все это выдумано, что стихи Левитанского, наоборот, будят хорошие чувства, хорошие мелодии в человеке, и, намекая на Абрамовича, заключил, что стихи — это не отчет кандидата наук.

В 1955 году Литературный институт им. Горького вновь объявил набор на Высшие литературные курсы. В этот раз Иркутская писательская организация согласи-

лась с поездкой на курсы Ю. Левитанского и И. Дворецкого. Комиссия по приему одобрила обоих.

...Ему 33 года. И это один из главных поворотов в его литературной судьбе. Он едет в столицу, где температура литературной жизни неизмеримо выше, чем в любой провинции. Иркутский период в жизни поэта оставался в прошлом. До 1958 года Левитанский числился в Иркутской писательской организации. 3 мая он обратился с просьбой снять его с учета, чтобы встать на учет в Московской писательской организации. На выписке Комитета Союза писателей РСФСР есть нешуточная по тем временам приписка: «Предупредить тов. Левитанского Ю. Д., что МО СП РСФСР не берет на себя никаких обязательств по предоставлению ему жилплощади».

«У каждого писателя есть в родной литературе особенно близкий, самый заповедный уголок, духовное пристанище», — писал Юрий Болдырев в предисловии к книге «Ю. Левитанский. Стихотворения» (М., 2005). Автор предисловия имел в виду А. П. Чехова, которого Ю. Левитанский сам называл своим учителем.

Но если представить себе духовный уголок на географическом ландшафте России, то, мне кажется, Сибирь вполне могла удовлетворить замечательного российского поэта Юрия Левитанского.

Сибирь в его книгах частенько становилась малой родиной, мерилом того настоящего, что, собственно говоря, и отличает поэзию от непоэзии. Он редко в стихах признавался в любви к северной земле, но если уж говорил, то так, что сомнений не вызывало:

К морю стремился,
морем дышал на юге.
Но когда мое сердце
слушать начнут врачи —
они услышат отчетливо
посвист вьюги
и голос филина,
ухающего в ночи.
Бьет кабарга копытцами
дробно-дробно.
Бьется над логом
сохатого трубный зов.
Это Сибирь
в груди моей
дышит ровно
всей протяженностью
древних своих лесов.
Это во мне
снега по весне не тают
и ноздреватый наст
у краев примят.
Птицы Сибири
в груди у меня
летают.
Реки Сибири
в крови у меня
гремят.

Это во мне
медведи заводят игры,
грузно кряжи качаются
на волне.
Ветер низовый.
Кедры роняют иглы.
Хвойные иглы —
это во мне, во мне.
Это во мне поднялся
и не стихает
ветер низовый,
рвущийся напролом.
Смолка
по старой лиственнице стекает.
Бьет копалуха раненая
крылом.
Я ухожу из вьюги,
из белой вьюги.
Лодка моя качается
на волне.
Еду куда-то,
морем дышу на юге.
Белые вьюги
глухо гудят во мне.

Татьяна ТИКУНОВА

ПРОГУЛКА ПО СТРЕЛКЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Ты открыт всем на свете ветрам,
Стрелкой гордо подставив им грудь.
А. Розенбаум

Если спросите, где лучше начать знакомство с Васильевским, отвечу: не на Васильевском. Начинайте на Троицком мосту. Я люблю смотреть оттуда на остров — в просторе меж небом и Невой он кажется огромным кораблем, медленно плывущим по волнам. Не случайно этот вид часто пишут художники, да и прохожие останавливаются на мосту, фотографируют. А. Дюма когда-то тоже любовался Васильевским островом с этой точки и был восхищен: «Я не знаю, есть ли в мире какой-нибудь вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой...» А какие там бывают закаты!..

Как нос корабля, рассекает невские воды Стрелка — восточная часть острова. Она же разделяет реку на два рукава — Большую и Малую Неву, которые с двух сторон обнимают Васильевский, а потом уходят за горизонт — в Финский залив. Стрелка — это сердце парадного Васильевского, одно из любимых туристами мест, где сосредоточились наука, культура, история. Впрочем, местные жители и молодожены Стрелку тоже жалуют (а еще байкеры и любители латиноамериканских танцев — непременно встретите их летом у Ростральных колонн). И я люблю прийти сюда, спуститься к Неве, посмотреть на Петропавловку, постоять, подумать, послушать плеск волн или песни уличных музыкантов — они здесь тоже частые гости, особенно в белые ночи.

О том, как выглядит Стрелка, знают даже те, кто ни разу не был в Петербурге: она изображена на 50-рублевой купюре. Хотя таким это место стало, конечно, не сразу.

По картам конца XVII — начала XVIII века видно, что Васильевский остров практически весь покрыт лесом, а с запада сильно заболочен. Тем не менее люди там жили: на Стрелке находилась мыза шведского военачальника Делагарди, куда он приезжал охотиться, заселен был берег Малой Невы (у истока реки Смоленки). В за-

Татьяна Тикунова родилась в 1984 году в г. Рыбинске Ярославской области. Окончила юридический факультет ЯрГУ им. П. Г. Демидова, факультет журналистики СПбГУ. Прозаик, фотограф, экскурсовод, автор блога «Вдохновленная Петербургом» в соцсети «ВКонтакте», выпускница «Института Петербурга». Публиковалась в литературных журналах «Причал», «День и ночь», «Юность», «Веретено», «Нева», «Странник». В 2021 году выпустила дебютный сборник эссе и зарисовок из жизни «О героях и людях». В настоящее время работает над путеводителем по Васильевскому острову.

падной части, на взморье, стояло несколько лоцманских домиков — из-за многочисленных мелей в устье Невы без услуг опытных мореходов обойтись было нельзя[1].

После побед русских в Северной войне и основания Петербурга Васильевский стал частью нового города. Постепенно территорию осушали, вырубали леса, подсыпали и укрепляли берега. Однако в первые годы существования Петербурга остров почти не застраивался, за исключением Стрелки — места более возвышенного и менее затопляемого. Там находились артиллерийская батарея, защищавшая город, несколько домов и ветряных лесопильных мельниц — продувалось это место хорошо, а растущий Петербург остро нуждался в строительных материалах. Недалеко возвели сначала деревянный, а затем и каменный дворец князя Меншикова. Вокруг дворца разбили обширный сад. От сада до взморья, где стояли домики лоцманов, прорубили просеку, положившую начало будущему Большому проспекту.

Но в целом Васильевский был местом диким, где мало кто хотел жить. Неизвестный автор в «Описании Санкт-Петербурга и Кроншлота» (1710—1711), упоминая дворец Меншикова, отмечал, что «на всем остальном пространстве этот остров, имеющий до двух миль протяжения, еще покрыт кустарником, наиболее олешником, между которым пасутся коровы, лошади и мелкий скот, а иногда попадаются также и олени».

Добавляла минусов и плохая транспортная доступность: добраться в другие части города можно было только по воде, постоянных мостов через Неву в те времена еще не строили. Во время шторма, ледохода и ледостава маячила перспектива оказаться отрезанным от «большой петербургской земли». Так что желающих пойти в василеостровские Робинзоны практически не находилось. Основными центрами городской застройки были Петропавловская крепость и Адмиралтейство.

Все изменилось в конце 1715 года, когда Петр I повелел «купецким людям» строить мазанки и каменные дома «на Васильевском острову». Это был первый указ о застройке острова, а уже в 1716 году места под строительство горожанам стали отдавать только там. У Петра возникла идея сделать Васильевский центром Петербурга, и он, как всегда энергично, принялся ее воплощать. Скорее всего, на это место выбор пал как раз из-за малозастроенности, поскольку хаотичная застройка новой столицы (а ею Петербург стал в 1712 году) вовсе не входила в государевы планы. На Васильевском можно было создать все «с нуля» и как царской душе угодно. А Петр желал, чтобы было похоже на его любимый Амстердам.

В том же 1716 году за дело взялся архитектор Д. Трезини. При разработке проекта застройки острова он взял за образец регулярный город европейского типа с сетью прямых, геометрически правильных каналов. Главные должны были идти параллельно берегу Большой Невы, а второстепенные — под прямым углом к ним. Планировочной осью служила та самая просека, проложенная через весь остров от дворца Меншикова.

Устройство каналов предполагалось не только потому, что «красиво», но и с практическими целями: они должны были уменьшить напор воды при наводнениях, частых в устье Невы, и осушить болотистый Васильевский. В случае нападения каждый становился рвом, который не так-то просто преодолеть. А если неприятель все-таки смог бы захватить первый ряд укреплений, то можно было открыть шлюзы и все затопить водой из каналов. В мирное же время этой водой предполагалось тушить по-

[1] О том, что Васильевский остров был не совсем уж необитаем во времена еще более древние, свидетельствует найденный в районе Галерной гавани клад серебряных монет IX—XI веков. Возможно, тогда в устье Невы проходили торги — она уже в эпоху раннего средневековья была важнейшим водным путем.

жары. Вот сколько плюсов сразу! Нынешние прямые строгие проспекты и линии Васильевского — память о тех каналах, о несбывшемся Петербурге — Нью-Амстердаме...

В 1717-м Петр пригласил из Франции знаменитого Ж.-Б. Леблона, назначив его «генерал-архитектором». В качестве первого задания в новой должности предписывалось подготовить генеральный план Петербурга. Леблон не подвел. Сделан проект был «с великим поспешанием» — за четыре дня, но тщательно. По мысли архитектора, Петербург должен был сочетать красоту и удобство столицы с мощью города-крепости, для чего создавалась сложная система оборонительных укреплений. Планировались кварталы, каждый из которых имел бы все необходимое для жителей: рынки, парки и т. д. Каналы также предусматривались, при этом суши в Северной Венеции оставалось бы еще меньше, чем у ее тезки. В местах пересечения водных путей предполагались обширные площади с общественными зданиями, памятниками и фонтанами. Примерно в районе современных 9-й и 10-й линий, между Большим и Средним проспектами, планировался императорский дворец с большим садом.

Несмотря на одобрение Петра, проект «идеального города» Леблона остался неосуществленным: слишком дорого бы он обошелся, да и природные условия в расчет не принимались. Застройка на Васильевском острове продолжалась по плану Трезини с последующими корректировками, но некоторые идеи «генерала-архитектора» все же повлияли на нее.

Участки на берегу Большой Невы и набережных будущих каналов отводились самым «именитым» и состоятельным людям — тем, кто мог на свои средства построить хорошие дома. А строить их надлежало не как кому вздумается, а по специально разработанному Леблоном проекту. На невском берегу дома предполагались двухэтажные каменные, на каналах — тоже каменные, но одноэтажные, дальше допускались и деревянные. Ряды прямых улиц с «образцовыми» зданиями создавали бы облик совершенно нового города — «Парадиза», непохожего на старые русские.

Но на бумаге-то все гладко, а вот на практике... Вплоть до 1719 года застройка Васильевского острова шла очень медленно. Купцы и «именитые» дворяне никак не желали селиться на новом месте. Поэтому власть включила административный ресурс. С 1719-го по 1725 год был издан ряд указов, заставлявших людей строить дома на Васильевском и переезжать туда под угрозой всевозможных кар, вплоть до конфискации имущества.

Грозно, ничего не скажешь, но что в итоге? На плане Петербурга 1725 года видно, что Васильевский к концу царствования Петра был застроен не более чем на четверть: на Стрелке и по берегу Большой Невы. На западе (где когда-то жили лоцманы) появилась Галерная гавань, построенная Трезини в 1722 году, и при ней Галерная слобода.

Камер-юнкер Ф. Берхгольц в дневнике (запись от 11 марта 1725 года) так описывал Васильевский остров: «Там воздвигнуто уже большое количество прекрасных каменных домов, особенно вдоль по берегу Невы... Но большая часть этих домов внутри еще не отделана. <...> Улицы хотя уже проведены, но до сих пор, кроме больших, идущих по берегу, еще мало застроены; только там и сям стоят отдельные дома, но и они со временем большею частью будут снесены. Кроме князя Меншикова и некоторых других, еще немногие из здешних вельмож живут на этом острове, потому что почти все владельцы его имеют дома и в других местах города».

Итак, несмотря на все усилия, мечтам Петра о центре города на Васильевском не суждено было сбыться. Со смертью царя-реформатора в январе 1725 года об этой идее и вовсе забыли...

Что же касается *Стрелки,* то по первоначальным планам Трезини и Леблона, в этом отношении мало отличавшимся друг от друга, она должна была стать районом «элитной» жилой застройки. На набережной Большой Невы планировалось построить дворцы для родственниц царя: его сестры Наталии Алексеевны и снохи Прасковьи Федоровны. На противоположной стороне, у Малой Невы, участки были розданы приближенным Петра: Голицыным, Строгановым, Апраксиным, Нарышкиным.

Но к 1719 году все изменилось. Стрелку решили превратить из аристократического района в новый административный и деловой центр. Петр хотел разместить здесь коллегии, Сенат и Синод, первый музей — Кунсткамеру, а также перевести морской торговый порт (он находился возле Троицкой площади).

План застройки (смелый и в чем-то даже фантастический) составил опять же Трезини. Западной границей Стрелки должно было стать трехэтажное здание 12 коллегий, разделенное на две части «долгим» каналом, идущим через весь остров до взморья примерно по линии нынешнего Большого проспекта (той самой просеки). Таким образом корабли могли прямиком прибывать в центр города, насквозь проходя через Васильевский. Канал заканчивался небольшим бассейном. Еще одним каналом, перпендикулярным «долгому», планировалось отделить здание 12 коллегий от усадьбы Меншикова и соединить Большую Неву с Малой.

Место перед зданием коллегий предполагалось оставить свободным и устроить там главную городскую площадь. У Большой Невы ее границами служили дворец царицы Прасковьи Федоровны, здания Академии наук и Кунсткамеры, у Малой — сооружения торгового порта с Гостиным двором и Таможней. В центре площади должен был стоять величественный собор Св. Андрея Первозванного — главный храм юной российской столицы.

Проект Трезини был частично осуществлен. За исключением каналов и собора, все остальные сооружения Стрелки выстроены на тех местах, где они и предполагались[2]. И хотя полностью замысел зодчего реализован не был, возведенные по его проектам здания (12 коллегий, старый Гостиный двор) не только определяли облик Стрелки весь XVIII век, но и оказывали влияние на ее дальнейшую архитектурную планировку.

Любопытное сооружение, не запланированное Трезини, было построено в начале 1730-х годов на отмели у Стрелки. Называлось оно «Иллюминационный театр на воде» и представляло собой огромную двухъярусную деревянную конструкцию с помостом, откуда запускали фейерверки. Вот как его описывали в брошюре, изданной Академией наук: «Место, где сие позорищное строение поставлено, есть на берегу Невы реки на 1000 сваях... Все сие строение, при котором 30 000 ламп и 600 человек имеется, которые оные лампы в две минуты зажечь могут...»

«Театр фейерверков» находился как раз напротив Зимнего дворца, для «потехи» императрицы Анны Иоанновны. Что ж, государыня знала толк в развлечениях. Вот только ученые из Академии наук — люди серьезные — были не в восторге от «позорищного строения». И прежде всего — «пожарного страха ради». Ведь во время каждого фейерверка конструкция сгорала (к новому празднику ее восстанавливали), а обитали академики тогда неподалеку — во дворце Прасковьи Федоровны... Но вот что любопытно: фейерверк обычно сопровождался пушечной пальбой, после чего «завхоз» академии подавал Ее Величеству счет за выбитые стекла. По счету уплачивали, а сколько было разбито в действительности, никогда не проверяли...

Фейерверки обычно устраивали на Новый год, день рождения императрицы и годовщину ее коронации, в честь военных побед и других торжественных событий. Когда для следующей императрицы — Елизаветы Петровны — началась пере-

[2] Позже на месте собора хотели поставить памятник Петру Великому, но тоже не сложилось.

стройка Зимнего дворца и ей пришлось переехать, «Иллюминационный театр» потерял свою актуальность, обветшал и был разобран. На плане 1781 года на его месте показаны лишь остатки свай. Так что всяческие увеселительные мероприятия и шоу на Стрелке — отнюдь не примета нашего времени.

К концу XVIII века на берегу Большой Невы уже стояли здания Кунсткамеры и Академии наук. А как же планировавшаяся торжественная площадь перед зданием 12 коллегий? Вот как описывал ее в 1794 году ученый И. Георги: «...площадь на Стрелке велика, почти треугольна, еще не вымощена; на ней много болот[3] и по местам старые деревянные дома. Сия площадь служит пристанищем ямщикам для привозимых и увозимых отсюда товаров сухим путем, такожде продаются здесь простые ямщичьи и другие с российских конских заводов пригоняемые лошади». Такое соседство, конечно, мало радовало ученых мужей...

Правительство пыталось исправить ситуацию и сделать так, чтобы площадь, официально именовавшаяся Коллежской, и выглядела как площадь. Разрабатывались архитектурные проекты благоустройства, но дело двигалось медленно... Хотя «благоустраивали» по-разному: в 1740 году, например, был составлен проект размещения на Коллежской площади питейного дома купца Чиркина, а также городского трактира.

Ни с церковью, ни с питейными домами на Коллежской площади в итоге не получилось. В начале 1750-х их место занял «Глобусный павильон», построенный для хранения гигантского Готторпского глобуса. Это сооружение простояло до 1828 года, когда начались работы по оформлению Стрелки.

Берег у Малой Невы занимали причалы и склады морского торгового порта. Там стояло множество кораблей под флагами разных стран (ежегодно приходило больше тысячи!), разгружались и загружались товары, было шумно, многолюдно... Теперь никто бы не сказал, что Васильевский — дикое место. Селиться на острове стали гораздо охотнее. И насильно уже никто никого не заставлял.

Тут же, на берегу (или в Гостином дворе), велись переговоры, заключались сделки. Не всегда это было удобно купцам, да и как-то несолидно... Поэтому в 1730-х на берегу Малой Невы появилась специально предназначенная для этих целей *Биржа,* пока что деревянная.

Первую каменную биржу построили на Стрелке в 1745 году, но как она выглядела — загадка. Видимо, не очень: купцы жаловались, «что во время дождя, а особенно же в осеннее и зимнее время, во вьюжные и ненастные дни на бирже для торговых дел быть им, купцам, никак не возможно». Поэтому через 10 лет было построено новое здание, которое, однако, вскоре тоже стало вызывать нарекания: «Торги здешнего государства множатся... а... биржа так тесна, что в хороший торговый день купечество никак не может в ней измещаться».

В начале 1780-х годов на Стрелке стали сооружать новую каменную биржу, «приличную и сходную с знатностью города и порта его». Автором проекта стал Д. Кваренги (это был его дебют в Петербурге). Вбили 10 000 свай, возвели цоколь и кирпичные стены. Строительство шло медленно из-за нерегулярного финансирования, однако современники не теряли оптимизма — у того же Георги читаем: «Судя по модели, которую можно видеть в доме, что подле строения, будет сия биржа из великолепнейших до сего времени».

Но была одна загвоздка, которая мешала планирующемуся великолепию: Биржа главным фасадом ориентировалась на Зимний дворец и композиционно никак не связывалась с площадью перед зданием 12 коллегий. Даже сам Кваренги в итоге посчитал проект неудачным — первый архитектурный петербургский «блин» вы-

[3] Вероятно, здесь имеются в виду просто большие непросыхающие лужи.

шел у него комом. Несчастное творение великого зодчего стояло почти 20 лет незаконченное, под деревянным шатром, и портило вид из окон императорской резиденции... Непорядок, конечно.

На Стрелке нужно было создавать не отдельное здание, а целый архитектурный ансамбль. За дело взялся еще один иностранец — Ж. Тома де Томон. Этот проект был тоже его дебютом в Петербурге. Есть легенда, что муза посетила Томона за утренним кофе. Поднос, на котором симметрично и идеально ровно стояли низкий кофейник и две чашки по бокам, вдохновил архитектора спроектировать плоскую Биржу с Ростральными колоннами справа и слева и полукруглой площадью спереди.

На самом деле все было далеко не так просто и романтично. Совет Академии художеств отправлял проекты Томона на доработку целых пять раз! Злые языки поговаривали, что он ничего не разрабатывал сам, а выдал привезенные из Франции чужие чертежи за свои... В итоге на помощь заезжему иностранцу пришел наш А. Захаров. Он в 1804 году разработал план застройки Стрелки, по которому Биржа становилась ее композиционным центром. В соответствии с планом Захарова переработал в очередной раз проект и Томон. В результате придирчивые академики наконец-то остались довольны, поскольку «большое мастерство было налицо».

26 февраля 1804 года проект был утвержден императором, тогда же образована Комиссия по построению Санкт-Петербургского биржевого здания и обложению невского берега камнем. Торжественная закладка Биржи состоялась 23 июня 1805 года. Перед этим недострой Кваренги разобрали, а кирпичи от него пошли на новое здание — не пропадать же добру! Еще несколько лет, как водится, устраняли недоделки, потом война с Наполеоном... В итоге Биржа открылась только в 1816-м — торжественным обедом в присутствии императора Александра I, музыкой и пушечной пальбой с кораблей.

Стрелка преобразилась. Прекрасное строгое здание, построенное в стиле классицизм, стало одной из доминант панорамы центра города. Мощная белоснежная колоннада издали кажется легкой и воздушной, да и здание в целом хорошо воспринимается и с близкого, и с дальнего расстояния благодаря сдержанной простоте и совершенству архитектурных форм. На фоне ясного или затянутого тучами петербургского неба оно одинаково гармонично. Томон и Захаров потрудились на славу! Правда, до торжественного открытия оба не дожили...

Биржа стоит на высоком цокольном этаже (стилобате), в ритмичном окружении 44 колонн (10 по главным фасадам и 14 по боковым). Они образуют открытую террасу, на которую ведут широкие 40-метровые лестницы и пологие спуски-пандусы.

Над входом на восточном фасаде — скульптурное изображение Нептуна в колеснице (везут ее мифические морские кони — гиппокампы) и с трезубцем в одной руке. Другой он то ли благословляет новую морскую столицу, то ли приветствует идущие к причалам корабли. Рядом фигуры женщины и старца. Кто они? Возможно, реки Нева и Волхов, по которым в древности проходили основные русские северо-западные торговые пути.

Западный фасад также украшен скульптурами — это Навигация, богиня мореплавания, Меркурий, бог торговли, и снова реки, теперь в виде двух прекрасных девушек. Имена их неизвестны[4], но это не единственная загадка. У Навигации на голове корона в виде... крепостной стены с башнями, поэтому есть предположение, что она и не Навигация вовсе, а какая-то другая богиня — покровительница города[5].

[4] Возможно, это Нева и Двина.

[5] В дореволюционном путеводителе, выпущенном к 200-летию Санкт-Петербурга, мне встретилась версия, что женские статуи на западном фасаде символизируют Деятельность, Надежду и Справедливость.

Внутренний облик Биржи соответствовал внешнему — почти все здание занимал гигантский операционный зал, перекрытый полуциркульным сводом. По сторонам — три этажа служебных помещений, в цоколе — складские и хозяйственные. Площадь зала — около 900 кв. м, высота — 25 м. Пол и стены облицованы мрамором, вокруг аллегорические скульптуры: Время, Изобилие, Торговля, Мореплавание...

Весь XIX век здесь проводились оптовые товарные сделки, а с появлением в России процентных бумаг — и фондовые. В 1900 году фондовая и товарная биржи разделились, но работали по-прежнему в одном здании.

Перед фасадами Биржи устроили две площади: одну со стороны 12 коллегий (наконец-то она дождалась благоустройства!), другую со стороны Невы — на искусственной насыпи с полукруглым выступом (там предполагалась парадная пристань). В дно вбили сваи, подсыпали грунт, в итоге получился мыс, выдвинутый в русло реки на 123 м. Его одели гранитом, а для спуска к воде оборудовали пологие пандусы, переходящие в ровную площадку у самого берега. С двух сторон они украшены большими шарами на массивных постаментах. Говорят, вырублены «шарики» на глаз, без всяких измерительных инструментов, мастером С. Сухановым, возглавлявшим каменные работы на Стрелке. У шаров любят фотографироваться туристы, а молодожены с гостями — пить шампанское и кричать «Горько!».

Еще одно фототуристическое место — гранитная стена по береговой линии мыса с причальными кольцами и львиными масками. Городская легенда гласит, что девушке, которая мечтает выйти замуж, нужно поцеловать леву в нос. А тем, кто уже нашел свою половинку, чтобы не потерять ее, надо вместе подержаться за кольцо. Молодожены, слышите?

Создавалось, однако, тут все не с декоративными, а прежде всего с практическими целями: «По мелкости воды берега сии должно было глубоко вдавать в реку, дабы корабли всюду могли приставать к ним и выгружать свои товары прямо на набережную». Так что широкие пандусы первоначально не для прогулок, а для удобства подъема и спуска грузов.

Практическое значение имели и другие сооружения на Стрелке — две 32-метровые *Ростральные колонны.* Ростры (от лат. rostrum) — это носовые части кораблей. В древности их обивали металлом и использовали в боях для тарана судов. А после побед украшали трофеями-ростарами триумфальные колонны.

Классицизм обращался к античным традициям, вот почему спустя столетия Ростральные колонны появились и в Петербурге — как символы морской славы России. По первоначальному замыслу Тома де Томона они были слишком тонкими и непропорциональными зданию Биржи. Вновь на помощь пришел Захаров, указав, что «лестницы в них будут так тесны, что и человек по оным лезть будет не в состоянии, а стены их будут тонки и непрочны; если же их будет угодно выстроить, то непременно надобно сделать по большему масштабу».

Так и сделали. Выполнили колонны из красного кирпича и украсили металлическими ростарами — в четыре яруса по восемь штук на каждой. Снизу — самая крупная пара с фигурами наяд (речных божеств), держащихся руками за борт корабля. Следующие пары расположены перпендикулярно и оканчиваются головами чудовищ, водяных, морских коней. Носы кораблей, кроме того, украшены более мелкими рельефными изображениями дельфинов, диковинных рыб и прочих морских обитателей. Между ростарами (кроме нижних) — плоские медные якоря. Первоначально все эти скульптурные украшения были изготовлены из белой жести, но при реставрации в конце 1940-х их сделали из листовой меди.

У подножий колонн — две мужские и две женские скульптуры. Их авторы — соотечественники Томона, французские мастера Камберлен и Тибо. Первый выполнил

мужскую фигуру на северной колонне, второй — остальные. Если внимательно присмотреться, разница видна: работа Камберлена сложнее по силуэту и динамичнее.

Тома де Томон предполагал отлить весь скульптурный декор в бронзе, но это оказалось слишком сложно, поэтому статуи выполнили из пудостского камня[6], что впоследствии, увы, сослужило плохую службу. Этот материал подвержен разрушающему действию сырого и холодного климата, осадков, перепадов температуры, промышленных выбросов — всего этого в Петербурге хватает. Поэтому нужна частая реставрация. К сожалению, не всегда она проводилась правильно...

Добавила разрушений и Великая Отечественная война: декоративное убранство колонн повредили осколки снарядов и авиабомб. В 1947—1949 годах все детали заменили, отреставрировали скульптуры у подножий. Однако работы опять же не всегда проводились правильно (особенно в спешке накануне праздников-юбилеев). В итоге к 1996 году скульптуры пришли в аварийное состояние, надо было срочно принимать меры. В «операции спасения» участвовали исследователи, профессиональные реставраторы, сотрудники органов охраны памятников и спонсоры. К счастью, общие усилия оказались не напрасны: сегодня статуи радуют глаз.

До сих пор, к слову, точно неизвестно, что они символизируют. Экскурсоводы обычно говорят, что русские реки: Волгу, Днепр (у северной колонны), Волхов и Неву[7] (у южной). Поэты тоже так считают, например, В. Рождественский:

Перед тобой столпов Ростральных очертанья —
Наследье прошлого, пришедшее в наш век, —
И у подножья их два светлых изваянья,
Два строгих символа могучих русских рек.

Однако версия эта хоть и распространенная, но возникла не так давно и не подтверждена документально. Что же касается официальных источников, то сам Тома де Томон писал: «База каждой колонны украшена огромными фигурами, которые символизируют божества моря и коммерции». А Суханов дал такую расписку: «Деньги за двух морских баб и двух морских старцев получил». В общем, имена их пока что остаются загадкой...

По замыслу Томона Ростральные колонны служили маяками для кораблей. В металлические чаши на вершинах заливалось конопляное масло, которое поджигали во время тумана или в сумерки. Поднимались к чашам по винтовым лестницам, находящимся внутри колонн. Один маяк указывал путь кораблям, идущим по Большой Неве, а другой — по Малой.

Однако многие современные исследователи считают, что маяками в привычном понимании Ростральные колонны не были, а их основная функция — все-таки декоративная. Вот как рассказывал о них в начале XIX века журналист П. Свиньин: «Во время торжественных иллюминаций Биржа, особливо столбы сии, освещается бесподобным образом. Пылающее пламя на верху сих последних в железных треножниках припоминает мореходцу то радостное ощущение, которое объемлет сердце его в бурную ночь у неизвестного берега при первом мерцании маяка».

Правда, не все у Ростральных колонн испытывали «радостные ощущения»: бывало, что раскаленные брызги масла капали на головы прохожих. В 1868 году зажигать огни перестали. В 1896 году к светильникам подвели электричество, но «по причине

[6] Добывали его недалеко от Гатчины, в поселении Пудость.

[7] Именно «Нева» изображена на 50-рублевой банкноте. Интересно, что там она почему-то получилась шестипалой.

великого расхода», о котором почему-то не подумали заранее, этот вариант освещения существовал недолго.

Через 60 лет подходящий способ все же нашли. В 1957 году к чашам светильников подвели газ и зажгли огни в честь 250-летия города (юбилей отмечали с опозданием: в 1953-м после смерти Сталина было не до торжеств). С тех пор пошла традиция — зажигать огни по праздникам. Продолжается она и сегодня: в Новый год, День города, День ВМФ, на 9 Мая или 27 Января (а еще когда выигрывает «Зенит»).

Но вернемся снова в век XIX. Как отнеслись современники к обновленному облику Стрелки? «Новая Санкт-Петербургская газета» писала о Бирже так: «...публика здешняя восхищается сим зданием, оно сделалось местом всеобщего гуляния. Большая зала, прекрасный свод, величественная колоннада, крыльца, набережный тротуар, маяки, редкой красоты пристань, все сие приводит зрителей в удивление. Знатоки в изящных художествах отдают совершенную справедливость сему необыкновенному зданию».

Но не будем забывать, что Стрелка в те времена — не просто место для прогулок, а еще и порт. Впрочем, одно другому не мешает, и даже наоборот. Снова послушаем П. Свиньина: «Пришествие первого иностранного корабля в Петербург есть каждый год приятная эпоха для жителей: все спешат на Биржу приветствовать дорогого гостя, пришельца заморского, вестника воскресения природы. Скоро Биржевая набережная и лавки превращаются в апельсиновые и лимонные рощи, населяются златокрылыми и сладкогласными птицами американскими; наполняются вишневыми и фиговыми деревьями с зрелыми плодами. Скоро Биржа делается любимейшим гуляньем и всеобщим ходбищем! Всякий находит здесь предмет, занимательный по его вкусу и чувствам. <...> Здесь оклики, встречи, приветствия; там пожелания доброго пути, прощания знаками, шляпами, платками! Здесь ожидание добрых вестей; там надежда на счастье и удачу!..»

Живописная картина, правда? Похожую рисовал и литературный критик А. Скабичевский: «В конце концов мы очутились в Биржевом сквере, где в то время как раз был птичий базар. Там мы дразнили обезьян, торговали раковины и прочие заморские безделушки. Весь Петербург был здесь».

А собственно, здесь — это где? Что за Биржевой сквер?

Помните о двух площадях перед фасадами Биржи? На той, что со стороны 12 коллегий — Коллежской, этот сквер и разбили в 1820-х. Сделали его на искусственном возвышении и частично использовали как склад. А в народе именовали «Птичьей консерваторией», поскольку здесь было что-то вроде птичьего рынка, где продавалась живность из разных стран. Петербуржцы любили приходить сюда, особенно ребятишки. Такая вот «память места» о конном рынке XVIII века...

Но все-таки хранить товары в сквере — не очень удачная затея. Особенно учитывая петербургский климат... 7 ноября 1824 года в городе произошло одно из самых катастрофических наводнений (то самое, о котором писал Пушкин в «Медном всаднике»). Затопило весь Васильевский, многие дома были серьезно повреждены, а некоторые вообще разрушены до основания.

Пострадала и Стрелка. На складах Биржи погибло 300 000 пудов[8] сахара, столько же соли, 900 000 пудов муки и много, много чего еще... Ущерб купцам был причинен громадный — 5 000 000 рублей. Многие разорились.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Наводнение ускорило строительство товарных складов — *пакгаузов,* предусмотренных еще планом Захарова и Томона. Проект утвердили в августе 1825 года, но вот что странно: нигде

[8] Пуд — устаревшая русская мера веса, равная 16,4 кг.

в официальных документах нет указания на автора. Предполагают, что им мог быть К. Росси. Строительство велось Комиссией для окончания строений на Биржевой площади под руководством архитектора И. Лукини и завершилось в 1832 году.

Пакгаузы симметрично расположились по сторонам Биржи: южный — на берегу Большой Невы, северный — на берегу Малой. Каждый одной стороной выходил к воде, другая же, изогнутая по дуге, являлась частью застройки подковообразной Коллежской площади. Пакгаузы состояли из нескольких корпусов, отличались незначительно и оба выглядели достаточно скромно — только главные фасады, ориентированные на Неву, декорированы колоннадой. Это сделано, чтобы не отвлекать внимание от центра композиции — Биржи. Строительство пакгаузов придало окончательный вид архитектурному ансамблю на Стрелке.

Современники, наученные горьким опытом, писали о них так: «Замечания достойно, что пакгаузы эти безопасны от наводнения; вода не топит даже погребов, потому что во всех наружных дверях устроены как бы шлюзы, посредством которых можно выпускать воду».

Южный пакгауз построен на месте уже упоминавшегося дворца царицы Прасковьи Федоровны, возможно, даже на его фундаменте. Пришло время рассказать наконец о судьбе этого дворца (нет-нет, фейерверки в его гибели не виноваты).

Был он двухэтажным, на высоком подвале, в стиле петровского барокко. Имя архитектора точно не установлено — возможно, участвовали Трезини, Маттарнови, Гербель и Шумахер. Строить начали в 1720-м, но будущей хозяйке (вдове царя Ивана Алексеевича[9]) справить новоселье не довелось: в 1723-м она скончалась. Тогда здание передали Академии наук и достраивали уже с учетом ее нужд. Работы были завершены в 1734 году.

Дворец Прасковьи Федоровны стал колыбелью российской науки. Именно здесь проходили заседания, на которых выступали Ломоносов, Эйлер и другие ученые мужи того времени. Академии принадлежало и соседнее здание — Кунсткамера, где помещались музей, библиотека и обсерватория.

В 1783 году западнее Кунсткамеры началось возведение нового здания Академии наук по проекту Д. Кваренги (закончено в 1789-м). Таким образом, к 1824-му — году уже упоминаемого сильнейшего наводнения и столетнего юбилея академии — она имела в своем распоряжении три дома на набережной Большой Невы. Бывший дворец Прасковьи Федоровны уже сильно обветшал, не гармонировал с новым обликом Стрелки и к тому же сильно пострадал от наводнения — в общем, был обречен. В 1826 году его снесли для строительства южного пакгауза. Однако с этим самым пакгаузом не все так просто.

Если посмотреть сверху, то можно увидеть не одно здание, а комплекс сложной конфигурации из трех строений. Именовались они Экспозиционной залой (сейчас там первый зал Зоологического музея), Таможенным пакгаузом (второй и третий залы) и Домом таможенных чинов (административный корпус на Университетской набережной). Последний как раз и построен на месте дворца Прасковьи Федоровны. На месте же двух других сооружений когда-то была... огромная, никогда не высыхавшая лужа — помните «болота» И. Георги в описании Стрелки 1794 года? Прошел век, и вот секретарь Биржевого комитета Г. Немиров упоминает об этой «героине» в «Опыте истории Санкт-Петербургской биржи»: «Для осушения этой лужи, имевшей соединение с р. Большою Невою против нынешнего Дворцового моста, еще в прошлом столетии (в 1767 году) проектировалось прорыть канал вдоль здания

[9] Иван (Иоанн) Алексеевич — брат и соправитель Петра I, отец будущей императрицы Анны Иоанновны. Был на престоле с 1689-го по 1696 год.

коллегий из Большой в Малую Неву; но предположение это не осуществилось, и через лужу только был перекинут мостик...» Однако ни на одной из панорам города вы ее не найдете — художники не портили парадные виды таким безобразием (со старинными рисунками и гравюрами вообще надо быть осторожнее, поскольку часто изображалось там не то, как есть, а то, как должно быть). В более беспристрастных источниках — топографических планах — она встречается (к примеру, на плане Васильевского острова 1803 года). Остается только гадать, скольких трудов стоило от той лужи избавиться...

Все три строения имели разное назначение. Экспозиционная зала устраивалась для проведения мануфактурных и торгово-промышленных выставок по примеру европейских стран. В Доме таможенных чинов предполагалось жилье для служащих, в Таможенном пакгаузе — склад. В реальности все оказалось разнообразнее и куда интереснее.

Начнем с Экспозиционной залы — корпуса, который фасадом обращен к южной Ростральной колонне. Это было первое в России (и в мире!) сооружение, возведенное специально для промышленных выставок. С идеей выступил тогда лично министр финансов граф Канкрин. После окончания строительства там сразу же провели 1-ю Всероссийскую выставку мануфактурных изделий. Открылась она 15 мая 1829 года и вызвала огромный резонанс. Шутка ли — 326 участников со всей России, 17 тематических отделов, 4041 экспонат и более 100 000 посетителей за три недели (на прошедшей незадолго до того Парижской выставке демонстрировалось 1695 экспонатов).

Впечатление у зрителей было сильное. Вот один из отзывов, опубликованный в газетах: «...великолепное здание, одно из украшений нашей столицы... в нем огромные, светлые залы, наполненные отличными произведениями рукодельного искусства в разном роде... Но мне всего сладостнее было видеть сердечную радость, начертанную на лицах множества находившихся при сем торжестве своем фабрикантов...» Для тех же, кто пока не испытывал «сердечную радость» за отечественную промышленность, в специально выпущенном «Описании 1-й публичной выставки российских мануфактурных изделий, бывшей в Санкт-Петербурге в 1829 г.» говорилось: «Тут рассеялось то обидное для русских предубеждение, будто в России не умеют сделать ничего превосходного; многие, к стыду своему, сознались, что они покупали в иностранных магазинах русские изделия за французские или английские, вдвое высшими ценами». То-то, знай наших!

Экспозиция, кстати, занимала тогда не только Экспозиционную залу, но и часть Дома таможенных чинов. Очевидцы отмечали, что «тесноты, а тем паче беспорядка, никогда не было; обширность помещений была столь велика, что 2000 человек, рассеянные по всем залам, не производили ни малейшей тесноты».

Впоследствии промышленные смотры устраивались на «петербургской ВДНХ» регулярно. Несмотря на «огромность», места в Экспозиционной зале по-прежнему не хватало, поэтому использовали еще помещения склада-пакгауза (для этого между ними в 1832 году проделали двери). Последняя большая выставка — сельскохозяйственная — состоялась в 70-х годах XIX века.

Здание использовалось и с более экзотическими целями. В 1830 году там устроили... мечеть. Была она временной и предназначалась для прибывших в Петербург турецких послов. Правда, в журнале «Строитель» за 1895 год утверждалось, что мечеть только планировалась. Как бы там ни было, название «мечеть» надолго закрепилось за этой частью южного пакгауза. Оно упоминалось даже в официальных документах: например, при передаче здания Академии наук в 1891 году.

Отправимся теперь в Дом таможенных чинов. По свидетельству начальника архива Департамента таможенных сборов Н. Кайданова, «при составлении плана постройки таможенных пакгаузов предполагалось северные пакгаузы использовать исключительно для склада товаров, а в южных — помимо Экспозиционной залы для выставки фабричных изделий, устроить помещение для аукционной продажи товаров и квартиры для таможенных чиновников». Но опять все пошло не по плану. Сразу после окончания 1-й промышленной выставки (напомню, она тогда занимала, кроме Экспозиционной залы, и часть Дома таможенных чинов) в освободившиеся помещения на набережной Большой Невы въехало Присутствие таможни. Въехало, правда, временно — пока для него строилось новое здание неподалеку — у Малой Невы (мы поговорим об этом чуть позже). В 1832 году строительство было закончено, Присутствие переехало, таможенные чины справили новоселье, однако вскоре у них появились новые «непрофильные» соседи.

С 1840 года в нескольких помещениях Дома таможенных чинов (и периодически в Экспозиционной зале) размещалась Рисовальная школа для вольноприходящих. Основана она была 29 сентября 1839 года с целью «распространения между фабрикантами и ремесленниками необходимого для них искусства рисования, черчения и лепления».

Как следует из названия, учиться могли все желающие, независимо от возраста и образования. И даже от пола — школа стала первым в Европе (!) художественным учебным заведением для женщин. Здесь могли заниматься в качестве «подготовительных курсов» и те, кто хотел потом поступить в Академию художеств. Учеников принимали круглый год.

С 1857 года Рисовальная школа перешла под опеку Общества поощрения художеств, а в 1878-м переехала в собственное здание на Большой Морской, 38. За первые 50 лет работы она выпустила 25 000 человек, многие из которых впоследствии вошли в историю русского искусства. Знаменитые фамилии в списке учеников — Верещагин, Репин, Суриков, Шагал, Добужинский, в списке преподавателей — Крамской, Клодт, Билибин. А сама школа положила начало одному из крупнейших художественных учебных заведений современного Петербурга — училищу имени Н. К. Рериха.

Теперь посмотрим на третью часть здания южного пакгауза — собственно пакгауз. Немного изгибаясь, он тянется вдоль Биржи и бывшей Коллежской площади. Использовали его для хранения товаров, там же проводился таможенный досмотр. В отличие от «соседей», здание практически не меняло свое назначение (не считая иногда промышленных выставок в некоторых помещениях).

Но с 1890-х годов весь комплекс ждала новая судьба и новые хозяева: южный пакгауз постепенно передавали *Зоологическому музею* Академии наук, который находится там и по сей день. Это один из так называемых «семейных» музеев: петербуржцы приходят сюда в детстве с родителями, а потом приводят и своих детей. Юные туристы Зоологический тоже любят, впрочем, не только юные.

Музей действительно интересный и впечатляющий. Только представьте: коллекцию, которую мы сейчас можем видеть, создавали более 300 лет! А началась она в 1698 году, когда Петр I приобрел в Голландии «фарфуровые суды, раковины и плоды морские», а также «скляницы с рыбами, птицами и гадами». Поначалу все это богатство хранилось в Москве, но в 1714 году было перевезено в Петербург и размещено в одном из залов Летнего дворца, называвшегося Кунсткамера (в переводе с немецкого «кабинет редкостей»). В начале 1830-х разросшиеся коллекции Кунсткамеры разделили на несколько музеев, одним из которых и стал Зоологический. Днем его основания считается 4 июля 1832 года, когда были открыты первые залы (сна-

чала для коллег-академиков, публика смогла попасть туда в 1838-м). Размещалась экспозиция тогда в Музейном флигеле, построенном позади здания Академии наук.

Шли годы, экспонаты прибывали, к концу XIX века занимая уже 32 зала (за 50 лет коллекция выросла примерно в 20 раз!). Тогда-то и решено было отдать музею помещения южного пакгауза (собственно пакгауз и Экспозиционную залу). По проекту архитектора Марфельда в 1895 году провели реконструкцию.

6 февраля 1901 года в присутствии Николая II и членов императорской семьи экспозиция торжественно открылась. Состояла она из трех разделов: вводный, систематическая коллекция и биогруппы, где животные показывались в природной обстановке. В старом музее биогрупп не было, все делали «с нуля». В отчетах упоминается, например, такой любопытный факт: «Их Высочества Герцоги Мекленбург-Стрелецкие разрешили охотиться в их Ораниенбаумском имении и собирать различные предметы для антуража групп, старшим зоологом В. Л. Бианки[10] было собрано 205 птиц и вывезено 500 пудов различного антуража». Современным зоозащитникам это вряд ли понравилось бы... А тогда публика валом валила смотреть, что же получилось — за девять месяцев после открытия музей посетили почти 77 000 человек.

Дом таможенных чинов перешел к ученым позже и уже при другой власти — в 1925-м. В 1931 году был создан Зоологический институт Академии наук СССР (ныне РАН), а музей стал его выставочным отделом. В советские годы экспозиция продолжала пополняться. Во время Великой Отечественной войны она оставалась на своем месте и, к счастью, серьезно не пострадала, хотя здание обстреливалось, не отапливалось, не было воды, электричества.

Сейчас этот музей, старейший и крупнейший среди российских зоологических, входит в тройку самых больших естественнонаучных музеев мира. В его фондах — около 15 000 000 единиц хранения, в экспозиции площадью 6000 кв. м — около 40 000 экспонатов, среди которых обитатели всех континентов и океанов планеты, включая редких и вымерших животных (например, стеллерова корова и сумчатый волк).

Практически о каждом экспонате можно долго рассказывать, но, как говорится, лучше один раз увидеть... Ежегодно Зоологический музей посещают около миллиона человек — впечатляющая цифра, правда?

А что же *северный пакгауз?* Долгое время там располагались различные портовые службы, затем его, как и южный, передали Академии наук. В 1920—1960-х годах в здании работали Геологический и минералогический, а также Палеозоологический музеи, сейчас — научные учреждения РАН.

В наше время северный пакгауз, как и его брат-близнец южный, тоже может похвастаться музеем. Продолжая естественнонаучную тему, там расположен *Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева.* Он менее известен, чем Зоологический, но не менее интересен, особенно детям. На входе посетителей встречают глобус — почвенная карта мира — и портрет основателя музея В. Докучаева, основоположника научного почвоведения и географии почв. Спросите, что в этом необычного? А то, что нарисовано все не красками, а землей.

Дальше экспозиции еще любопытнее. Всех секретов раскрывать не буду, приходите и сами узнаете. Добавлю только, что создан музей в 1904 году и стал первым научным почвенным учреждением в России и мире. Он не очень большой — четыре зала, но в коллекции собраны почвы со всей планеты — от Арктики до Новой Зеландии.

Одновременно с пакгаузами, опять же под руководством Лукини, на берегу Малой Невы, возводилось здание *Таможни.* Ранее на этом месте стоял дом Нарышки-

[10] Валентин Львович Бианки — ученый, отец знаменитого писателя Виталия Бианки.

на, где с 1730-х годов располагалось «таможенное присутствие». По мере развития порта в неприспособленных помещениях становилось тесно, поэтому ради строительства нового здания старое снесли. Закладка состоялась 30 августа 1829 года, а через три года на башенке Таможни уже развевался флаг (интересно, что изначально там были еще часы). Величественное здание стало завершением архитектурного ансамбля Стрелки — композиционно его купол перекликался с башней Кунсткамеры на противоположной стороне.

Главный фасад Таможни, выходящий на Малую Неву, украшен портиком[11] из восьми колонн и фронтоном[12] с медными статуями Меркурия (в центре), Нептуна и Цереры. Два первых античных бога — покровители торговли и мореплавания — уже встречались нам на Бирже (Нептун, правда, тут держит не трезубец, а весло), третья богиня символизирует изобилие.

Здание увенчано куполом, причем это не просто украшение, а телеграфный и наблюдательный пункт, откуда сигнализировали о приходящих кораблях[13]. Они могли причаливать прямо у Таможни — еще с 1809 года перед домом Нарышкина существовал гранитный спуск с широкой лестницей и фигурами лежащих львов (автор — архитектор И. Рогинский). К новому зданию в стиле классицизм пристань подошла как раз кстати.

Сейчас Таможня больше известна под своим вторым названием — *Пушкинский Дом*. Вспомним Блока:

Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

Пушкинских адресов в Петербурге много, а вот Пушкинский Дом один, хотя Пушкин там никогда не жил, да и, как мы знаем, не жилой дом это вовсе. Здание Таможни называют так потому, что с 1927 года оно принадлежит Институту русской литературы (ИРЛИ) РАН. Впрочем, после таможенного ведомства некоторое время там все-таки располагались жилые квартиры[14], а также различные учреждения.

История же Пушкинского Дома началась в 1899-м — в год столетия гения русской поэзии. Организацией торжеств занялась специальная комиссия под председательством великого князя Константина Константиновича (он же президент Академии наук и поэт К. Р.). Была проведена юбилейная выставка, на которую собрали «с миру по нитке» более 700 экспонатов. По сути, это был первый шаг к централизованному сбору и сохранению наследия Александра Сергеевича.

Тогда же начали обсуждать вопрос о памятнике поэту. Потом возникла мысль: «не будет ли желательнее соорудить памятник А. С. Пушкину не в виде статуи, а в виде постройки особого музея». В итоге все превратилось в идею об учреждении «Дома имени Пушкина, особого литературного пантеона, где бы собирались и хранились реликвии русских писателей XIX века».

---

[11] Портик — выступающая вперед часть здания, образуемая колоннами или арками, несущими перекрытие.

[12] Фронтон — завершение (обычно треугольное, реже — полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.

[13] Говорят, для этих целей император Николай I лично распорядился увеличить в проекте башню с куполом.

[14] В 1885 году по проекту Н. А. Гаккеля здание частично перепланировали под квартиры; вероятно, тогда же были утрачены башенные часы.

Заседание комиссии, утвердившей все на бумаге, состоялось 15 декабря 1905 года. Этот день и считается датой рождения Пушкинского Дома. Его задачи определили как собирание и хранение всего, что «касается Пушкина как писателя и человека», а также «всего, что касается жизни и деятельности представителей русской изящной словесности». Первым приобретением стала личная библиотека Александра Сергеевича, купленная в 1906 году у его внука.

Сначала у Пушкинского Дома не было своего помещения, и все богатства приходилось хранить то на чердаке Академии наук, то в вестибюле, то под лестницей, то в проходных комнатах, то в конференц-зале... Поэтому у Блока мы и встречаем строки: «...с белой площади Сената тихо кланяюсь ему»: в 1921–м, когда было написано стихотворение (к слову, последнее в жизни поэта), Пушкинский Дом располагался в здании Академии наук, которое, в отличие от Таможни, можно увидеть с Сенатской площади. Как «национальный музей особого типа» он был включен в состав академии еще в 1918-м, а в 1930-м превратился в академический институт — сложный музейно-исследовательский комплекс, не имеющий аналогов в мире.

Впоследствии он стал домом не только Пушкина, но и всей русской литературы — с древности до наших дней, положил начало многим литературным музеям Ленинграда и других городов. После долгих лет жизни «на сундуках» и нескольких переездов, в 1927 году, как уже говорилось, институт поселился в бывшем здании Таможни.

Сегодня в составе ИРЛИ — настоящая литературная сокровищница: музей (около 120 000 предметов основного фонда!), архив, библиотека плюс научные подразделения, которые все не просто сохраняют, но и изучают.

Кроме пушкинских реликвий, здесь есть предметы, связанные с Жуковским, Гоголем, Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Толстым, Достоевским, Чеховым, Горьким (он, кстати, одно время был директором института), поэтами Серебряного века. Лермонтовский зал уникален тем, что это единственный в Петербурге музей Михаила Юрьевича. Еще один «музей в музее» — Толстовский зал. Он возник из первого музея Л. Толстого в Петербурге, который существовал с 1911-го по 1919 год (находился, кстати, на Васильевском острове).

Когда будете в музее, не сможете пройти мимо Большого конференц-зала с великолепными колоннами и потолком. Тут заседает ученый совет, проходят концерты, книжные презентации. В ИРЛИ проводятся выставки, научные конференции, защищаются диссертации, выпускаются журналы и сборники. В общем, литературоведы и литературолюбы, вам на набережную Макарова, 4.

Скульптурный памятник Пушкину, кстати, там тоже все-таки появился. Правда, к 200-летнему юбилею поэта — в 1999 году При этом бронзовый двухметровый бюст, выполненный скульптором И. Шрёдером, был изготовлен еще к столетию Пушкина — в 1899 году. Как так получилось? А вот так: первоначально памятник поставили на Каменноостровском проспекте, у Александровского лицея (переведенного из Царского Села в 1843 году и получившего новое название). В советское время место Пушкина занял Ленин, а Александр Сергеевич отправился в ссылку в фонды Музея городской скульптуры, где благополучно доси.., ой, то есть долежал до своего 200-летнего юбилея. В 1999 году бронзового поэта привели в порядок, сделали ему новый постамент (с золоченым пушкинским «автографом») и установили на набережной Макарова, перед ИРЛИ. Хочется надеяться, что там уж «наше всё» никем не заменят.

Вернувшись на Стрелку, еще немного поговорим о ней. К середине XIX века расположение морского торгового порта, для которого, собственно, и возводились здесь прекрасные здания, становилось все более неудобным. «Виноват» в этом был

технический прогресс. Вместо парусных судов появились пароходы, обладающие не только большей грузоподъемностью, но и большей осадкой. Из-за отмелей в устье Невы они не могли подойти к причалам на Стрелке, поэтому корабли разгружали в Кронштадте и уже оттуда перевозили грузы на малых судах в Петербург. Та же процедура, но в обратном порядке происходила с отправкой. Все это требовало массу времени и средств — подсчитали, что доставить груз из Лондона до Кронштадта дешевле, чем из Кронштадта до Стрелки Васильевского острова! Да и с прибытием в порт проблемы не заканчивались: не хватало причалов, складов, а места для строительства новых не было. Возведенный в 1850 году первый постоянный мост через Неву — Благовещенский — не мог своевременно пропустить все суда, образовывались очереди. Плюс поблизости от Стрелки невозможно было построить железную дорогу, чтобы отправлять товары в другие районы страны, а значит, стоимость перевозки грузов снова увеличивалась...

В итоге для порта было найдено более удобное расположение — Гутуевский остров на юго-западной окраине города. 15 мая 1885 года для прохода туда морских судов был открыт канал длиной около 30 км.

Со Стрелки постепенно переезжали портовые учреждения. Судьба пакгаузов и Таможни нам уже известна, а что же *Биржа?* Торги там проводились до 1917 года, а потом, конечно, все изменилось. В здании получили прописку, сменяя друг друга, самые разные организации: клуб моряков, торговая палата, биржа чернорабочих, Аэроклуб с музеем и другие. Путеводитель 1933 года приглашал посетить там Энергетический музей им. Г. М. Кржижановского и сообщал, что «специальной задачей Музея является отображение в своей экспозиции энергетики и электрификации СССР и научной работы над их развитием. Кроме того Музей собирает материалы и по истории энергетики вообще».

Однако Энергетический музей вскоре уступил территорию. В 1939 году Биржу передали *Центральному Военно-морскому музею* (раньше его коллекции располагались в Адмиралтействе). Сам же музей был создан еще в начале XIX века на базе петровской «Модель-камеры», где хранились проектные модели и чертежи кораблей (она служила своеобразным «конструкторским бюро» и учебным центром). После образования «Морского музеума» появилась новая традиция — вернувшись из дальнего плавания, моряки приносили туда собранные «диковины»: оружие, одежду и украшения туземцев, лодки, чучела зверей и птиц, минералы, образцы древесины. Менее охотно отдавали предметы повседневного флотского быта (считалось, что раз не «редкость», то и неинтересно).

Коллекции музея к моменту его переезда были обширны. Сотрудникам в помощь выделили курсантов Высшего военно-морского инженерного училища, но все равно приходилось трудиться по 11—13 часов в сутки. Хрупкие модели кораблей из черепахового панциря и слоновой кости переносили на руках.

Экспозиция торжественно открылась в феврале 1941 года, размещалась она в девяти залах. Там можно было узнать об истории русского флота до 1917 года и о создании советского военно-морского флота.

Однако музей на новом месте проработал недолго — началась война. В июле 1941 года наиболее ценные экспонаты эвакуировали в Ульяновск. Оставшиеся в блокадном Ленинграде сотрудники сумели сохранить то, что не удалось вывезти, а в 1943 году начался сбор военных реликвий и боевых трофеев Великой Отечественной (в итоге в коллекцию поступило более 20 000 новых экспонатов). Вновь музей принял посетителей в 1946 году, после возвращения из эвакуации.

В начале 2000-х власти решили, что ему будет лучше в Крюковских (Морских) казармах на площади Труда. К тому времени здание Биржи требовало капитального ремонта. Пришлось вновь перевозить экспонаты на новое место. Переезд занял несколько лет, полностью экспозиция открылась 27 июля 2014 года — к дню ВМФ.

Вариантов, кто займет освободившееся здание Биржи, было несколько. Правительство Петербурга полагало, что нужно вернуть ей историческую функцию и возродить здесь биржевую торговлю. Биржевики, однако, идею не поддержали — во многом из-за транспортной ситуации на Стрелке (пугали пробки и отсутствие парковочных мест). Была еще идея с Дворцом правосудия — в рамках программы перевода высших судов в Санкт-Петербург, а также варианты размещения конгресс-холла, выставочного или концертного зала. В итоге остановились все-таки на сохранении музейных традиций здания: в декабре 2013 года его передали Государственному Эрмитажу для создания музея геральдики. Сейчас ведется реставрация Биржи. Что ж, поживем — увидим, каким будет новый музей. А пока вернемся опять в век XIX.

После переезда морского порта на Гутуевский остров полукруглый мыс у Стрелки уже больше не служил пристанью, да и сама Стрелка постепенно превращалась из торгового и делового центра в место прогулок почтенной публики (которая, впрочем, и раньше сюда любила захаживать). Городские власти стали думать, как можно благоустроить территорию. И придумали: в 1896 году на мысу разбили *сквер,* названный *Биржевым*[15]. Но ведь так назывался сквер на Коллежской площади, разве нет? Увы, тот был уже обречен — а почему, поговорим чуть позже.

Авторами проекта стали садовый мастер В. Визе и архитектор Н. Салько. За основу они взяли симметрично-осевую планировку.

В голодные послереволюционные годы в сквере сделали огород, а окончательную точку в прежней планировке поставило наводнение 1924 года. После него Л. Ильин — главный архитектор Ленинграда — разработал новый проект, считая, что «малые сады требуют геометрической разбивки как наиболее ясно решающей пространство». Так появилась строгая регулярная композиция, основой которой стали два диагональных луча дорожек, идущих от смотровой площадки у Невы. От старой планировки осталась лишь дугообразная цепочка стриженых деревьев. В 1926 году обновленный сквер уже встречал гостей Стрелки.

В середине 1930-х площадь перед Биржей со стороны Невы, прежде мощенную булыжником, заасфальтировали. Она, кстати, долгое время (в отличие от Коллежской) не имела официального названия — была просто Стрелкой Васильевского острова. Лишь в начале XX века ее стали именовать *Биржевой площадью.* Но это название было неокончательным...

В 1937 году страна отмечала столетие гибели Пушкина (по этому поводу смельчаки шутили, что какая жизнь, такие и праздники). В рамках «празднования» Биржевая площадь стала Пушкинской. На ней предполагалось установить памятник поэту: объявили конкурс, положили закладной камень, но... Скульптор И. Шадр, чей проект победил, умер, не успев закончить работу, потом началась Великая Отечественная война, потом просто стало не до памятника... Злые языки, впрочем, поговаривали, что дело застопорилось потому, что высшее партийное руководство никак не могло определиться, куда должен смотреть бронзовый Пушкин — на Биржу или на Неву. В итоге пришли к тому, что памятник будет стоять на площади Искусств, и объявили новый конкурс, выиграл который М. Аникушин. Памятник

[15] Еще более грандиозный проект представили в 1899 году архитекторы Чагин и Шене — концертный зал в стиле модерн. Его предполагалось построить прямо перед Биржей, на искусственном продолжении Стрелки.

по его проекту — несомненная удача автора — был торжественно открыт в 1957 году (на этот раз все приурочили к 250-летию основания Петербурга). А Пушкинская площадь так и осталась без Пушкина.

В блокаду Стрелка стала боевым постом. Здесь располагались три зенитных орудия (у Ростральных колонн и на мысу). Вблизи на Неве стоял крейсер «Киров» и другие корабли Балтийского флота — их снаряды били по врагу. На крышах установили зенитные пулеметы.

Стрелку, как и весь город, бомбили. На память об этом на Ростральных колоннах и стилобате Биржи остались следы — боевые шрамы. Но Ленинград выстоял.

Вечером 27 января 1944 года город салютовал в честь полного освобождения от блокады. О. Берггольц описывала это так: «Первый раз за 2,5 года мы увидели свой город вечером! Мы увидели его ослепительным, озаренным вплоть до последней трещины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых зафанеренных окнах, — мы увидели, что он все так же прекрасен, несмотря ни на какие раны, и мы налюбоваться им не могли, нашим красавцем, одновременно суровым и трогательным в праздничных голубых, розовых, зеленых и белых огнях, в орудийном громе, и чувствовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось принять и испытать».

24 залпа из 324 орудий, установленных в разных местах, прорвали блокадный мрак. Одним из этих мест стала Стрелка. А вечером 9 мая 1945 года там гремел еще один салют — в честь победы над фашистской Германией. Был концерт, танцы под духовой оркестр и радость со слезами на глазах... В тот вечер около 10 000 ленинградцев пришли на Пушкинскую площадь.

В 1989 году она вновь стала Биржевой. Многие сейчас приходят сюда, чтоб увидеть, как разводится *Дворцовый мост.* Он не раз вдохновлял поэтов, например, уже знакомого нам В. Рождественского:

За мокрыми облаками
Вечер суров и прост.
Заплаканными огнями
Опоясан Дворцовый мост.

Кажется, он был здесь всегда — ну со времени постройки здания Биржи точно. Ан нет. Отсутствие моста в этом месте сильно затрудняло дела петербургских купцов. Единственный доступный тогда наплавной Исаакиевский мост находился на Университетской набережной напротив Медного всадника. Купцы не раз обращались к властям, и есть сведения, что знаменитый английский инженер М. Брюнель предлагал Александру I построить тоннель под Невой, ведущий от Стрелки к Зимнему дворцу, однако это оказалось слишком дорого. К слову, Брюнель действительно в 1842 году построил подводный тоннель, но под Темзой, существующий до сих пор.

Наши же власти поступили проще: в 1853 году император Николай I распорядился переместить тот самый Исаакиевский мост к Стрелке «для прямой и постоянной связи с Биржей и другими учреждениями Торгового порта»[16]. Так бывший Исаакиевский превратился в Дворцовый (название, как нетрудно догадаться, возникло по Зимнему дворцу). А то, что деревянный мост выглядел, мягко говоря, непрезентабельно и портил вид из окон царской резиденции, Николая I, судя по всему, не очень беспокоило.

[16] Перемещение Исаакиевского моста было завершено в 1856 году.

Однако это стало беспокоить петербуржцев в начале XX века: представьте, Неву уже украшали металлические Благовещенский, Литейный и Троицкий мосты, а в самом сердце города, рядом с Зимним дворцом, Стрелкой и Адмиралтейством, продолжал стоять наплавной деревянный (по нему, кстати, даже пустили конку). Писатель В. Шкловский вспоминал: «Скрипя, качался... наплавной Дворцовый мост, настил моста прикреплялся к баржам толстыми, желтыми, как будто наканифоленными, канатами. Скрипели канаты, пахло смолой; мост звучал басовито и неторопливо». На зиму переправу разбирали, а через Неву переходили пешком, переезжали в санях или на трамвае, рельсы и опоры для которого вмораживались в лед (зимы тогда стояли настоящие, студеные!).

Что ж, это действительно было уже несовременно, и к тому же старые плашкоуты[17], на которых держался мост, стали протекать и тонуть. Но проблемы возникали не только из-за них. Случалось, рвались канаты, удерживающие плашкоуты, и мост уносило течением. Все время приходилось что-то ремонтировать, менять, укреплять... Иногда повреждения были так серьезны, что движение ограничивалось или вовсе прекращалось.

Поэтому необходимость постройки постоянного Дворцового моста была налицо. Вот только время для этого оказалось не очень подходящим: войны, революции, но кто же знал...

Варианты проектов предлагались разные: к примеру, засыпать Зимнюю канавку и сделать под ее аркой въезд или построить мост напротив Медного всадника, но в итоге оба предложения отклонили. Постоянный мост все-таки решили возводить на месте прежнего наплавного. С 1901-го по 1908 год продолжались конкурсы, по итогам которых Дворцовый мост должен был быть «не только утилитарно отвечающим нуждам, но и украшающим центр города и соответствующим красоте вблизи расположенных зданий». Конкурсантам предлагалось выполнить существенное условие: впервые разводной пролет предполагался не у берега (у всех тогдашних невских мостов было так), а по центру русла.

За все время поступило около 50 проектов[18], в том числе от французской фирмы «Батиньоль», строившей Троицкий мост. Сначала на нем и остановились, но пока решали финансовые вопросы, началась Русско-японская война, потом революция 1905 года... В 1908 году инженер А. Пшеницкий от Общества Коломенского завода подал два проекта: шестипролетного и пятипролетного моста. После долгих споров выбрали пятипролетный. В январе 1911 года этот проект утвердил император Николай II, затем был заключен договор с Обществом Коломенского завода, и началось строительство.

Договор предусматривал, что все работы должны выполняться русскими рабочими и русскими инженерами из русских материалов, так что трудились под лозунгом «Поддержим отечественного производителя!».

Однако споры по поводу моста продолжались, ведь Пшеницкий разработал только инженерную часть, а не его архитектурный облик. Автор проекта предлагал просто скопировать декор с построенного в 1903 году по соседству Троицкого, но так решили не делать. В начале 1915 года, когда строительство шло полным ходом, Городская управа утвердила вариант архитектора Р. Мельцера. По его задумке оформление моста планировалось пышным и помпезным: фонари, украшенные скульптурой

[17] Плашкоут — плоскодонное несамоходное судно, используемое для наводки мостов.

[18] Любопытно, что все конкурсные проекты имели девизы: «Опытом к цели», «Полярная звезда», «Вечно», «Окно в Европу», «Нева», «Каждому по делам», «Скоростроящийся» и даже почему-то «Москва Белокаменная».

и императорскими орлами, перила со сложным декором (в первоначальном проекте вообще фигурировали четыре фонаря-башни с подъемными механизмами для публики и видовыми балконами). Однако все это осталось только на бумаге...[19]

К концу 1916 года инженерная конструкция по проекту Пшеницкого была готова, но к архитектурному оформлению даже не приступали: в казне, истощенной Первой мировой войной, не нашлось средств. Деревянная мостовая, отсутствие перил, недостроенные центральные опоры разводного пролета (их сверху просто обшили досками, чтобы защитить механизмы от дождя и снега) — так выглядел тогда Дворцовый мост. А Петербург очень нуждался в надежной связи двух берегов Невы в центральной части. Тут уж не до помпезных украшений с орлами...

Было принято решение, соорудив временные деревянные перила и поставив стандартные чугунные столбы для фонарей и трамвайных проводов, открыть Дворцовый мост в недостроенном виде. Его проверили на прочность с помощью 34 грузовых автомобилей, и 23 декабря 1916 года состоялась церемония открытия. Как и мост, она получилась скромной: не было представителей императорской семьи, восторженных отзывов, даже ленточку перерезал не городской голова, а его заместитель. Обстановка в стране не располагала к торжествам: неудачи на фронте, недовольство в обществе, убийство Распутина, совершенное за неделю до открытия...

О том, что последовало в дальнейшем, мы знаем. В итоге Дворцовый мост, который мог превзойти по красоте все построенные до него, встретил 1917 год с «временными» деревянными перилами, множеством недоделок и вообще без какого-либо декора... Так что если услышите, что двуглавых орлов, якобы украшавших нашего героя, во время революции бросили в Неву, не верьте: это просто городская легенда. Возможно, она возникла потому, что подобная судьба постигла ограду садика у Зимнего дворца авторства того же Мельцера — оттуда орлов восставшие как раз выломали и уничтожили.

«Рожденный в муках» Дворцовый мост вскоре после начала эксплуатации стал нуждаться в ремонтах и доработках. Одним из основных вопросов, который решался уже при советской власти, стало декоративное оформление. Предлагали поставить по краям фигуры рабочего, крестьянина, красногвардейца и матроса, а в центре — скульптурные группы, изображающие союз рабочих и крестьян, народы СССР, Красную армию и флот. Однако и этот проект остался на бумаге.

В ходе начавшейся в 1939 году реконструкции у моста наконец появились чугунные перила — уже с новой символикой: звездами, знаменами и снопами пшеницы (архитектор Л. Носков, скульпторы И. Крестовский и М. Демьянов). Из-за этого в народе его прозвали «Звездным» (официальное имя он тоже сменил в первые годы советской власти и до 1952 года назывался Республиканским, потом вновь стал Дворцовым). Во время реконструкции появились также фонари, которые одновременно служили столбами, поддерживающими трамвайные и троллейбусные провода.

Все последующие десятилетия ремонты и реконструкции многострадального моста продолжались. Фактически его сооружение можно было считать полностью законченным в конце 1970-х, когда достроили опоры разводного пролета и заменили деревянные элементы конструкций, прослужившие 60 лет. Из-за недоделок, с которыми сдали мост в 1916-м, в колодцы, куда при разводке опускались противовесы, поступала вода. Устранить этот дефект удалось только в начале 1990-х.

В 1997 году в ходе очередных работ установили новые фонари, сняли трамвайные рельсы и устроили ночную художественную подсветку (сейчас трудно предста-

[19] В начале 2000-х высказывалась идея все-таки воплотить проект Мельцера, но она не была реализована.

вить, но когда-то ее не было, да). По этому поводу состоялся праздник «Дворцовый мост зажигает огни» — с фейерверком, залпом пушек Петропавловской крепости и бальными танцами прямо на мосту. Впрочем, что танцы! Дворцовый этим не удивишь: в 1920-е там устраивали, например, показательные прыжки в воду.

В 2012—2013 годах в ходе капитального ремонта полностью заменили разводной механизм, причем во время работ движение по мосту прекращалось только ночью, днем он был открыт для пешеходов и транспорта.

Поднятые пролеты моста не раз становились кинотеатром под открытым небом. А с 2016-го ежегодно летом открывается сезон звукового шоу «Поющие мосты» — Дворцовый разводится под классическую (и не только!) музыку. Проект стал новой визитной карточкой Петербурга.

Разведенный мост настолько эффектно смотрится в кадре, что мимо не могли пройти кинематографисты. Эпизоды с Дворцовым есть в фильмах «Гений», «Проводы белых ночей», «Красная палатка» (а уж в скольких современных сериалах — не сосчитать!). Но не менее часто в кино мелькает и его сосед — *Биржевой мост.* Именно через него перебираются герои «Невероятных приключений итальянцев в России». А еще Биржевой часто играет роль Дворцового: они очень похожи, а движение на время съемок там перекрыть легче.

История Биржевого моста началась в 1894 году. Раньше строительство постоянной переправы через Малую Неву на этом месте было невозможно из-за судоходства — вспомним, что на Стрелке располагался торговый порт. До его переезда приходилось перебираться с берега на берег по воде — с помощью Мытнинского лодочного перевоза. Правда, был еще Тучков мост, наведенный в 1750-х, но располагался он почти за километр от Стрелки ниже по течению Малой Невы.

После переезда порта жители Петербургской стороны подали в Городскую думу прошение о постройке на месте перевоза постоянного разводного моста. К просьбе прислушались, и в начале 1893 года инженер Н. Мазуров составил проект. После утверждения императором Александром III началось строительство, и уже весной следующего 1894 года новый мост был торжественно открыт.

Что касается названия, то было предложение «Петровский», однако Городская дума посчитала, что ни внешним видом, ни размерами мост не соответствует величию первого российского императора. В итоге имя было дано по расположенному поблизости зданию Биржи.

Биржевой мост состоял из 25 пролетов, средний был разводным. На проезжей части проложили рельсы для конки, служившие продолжением путей с наплавного тогда Дворцового моста. Биржевой стал одним из последних больших деревянных мостов с разводным пролетом, сооруженных в Петербурге до 1917 года. Разводили его с помощью ручных лебедок.

Увы, радовались новой переправе недолго — как все деревянные мосты, Биржевой требовал постоянного обслуживания и периодически — ремонта. Транспортный поток с каждым годом увеличивался (в 1913 году по мосту пустили трамвай), и в итоге специальная комиссия признала предаварийное состояние Биржевого моста. Требовалось его серьезное переустройство, но лишних денег не было — как раз в это время строился Дворцовый мост, потом началась Первая мировая... Биржевой в итоге перестраивался частями, что оказалось не так уж и плохо — это позволило не останавливать трамвайное движение. Закончились работы незадолго до революции — в октябре 1916 года.

От новой власти мост получил новое имя: в 1918 году он стал мостом Строителей. Подразумевались тут строители светлого будущего и нового социалистического

общества, но обычные горожане про это быстро забыли и стали подразумевать всех строителей вообще. Тем более что внимания людей этой профессии мост продолжал требовать.

Первый капитальный ремонт моста Строителей состоялся в 1930 году — тогда ручной привод подъема крыльев заменили на электрический. Потом и до Великой Отечественной, и после проводились ремонты, составлялись проекты реконструкции. Когда город зализал блокадные раны, пришло время развиваться, и вот тогда-то проблема переустройства моста Строителей (одного из последних деревянных в центре Петербурга!) стала по-настоящему злободневной.

Перед специалистами стояла непростая задача: важно было не только увеличить пропускную способность и грузоподъемность, но и гармонично дополнить облик Стрелки. Мост Строителей должен был создавать симметричный архитектурный ансамбль с Дворцовым мостом. Поэтому новую переправу решили построить на 70 м ниже по течению Малой Невы.

Это решение позволило не закрывать движение по старому мосту — строительство не мешало автомобилям и пешеходам, но разводной пролет все-таки перенесли, чтобы обеспечить безопасное сооружение опор нового моста. Так что ленинградцы, держа путь с Васильевского на Петроградку или обратно, могли наблюдать, как продвигается работа. Началась она в 1957 году и продолжалась три года.

При строительстве моста Строителей (простите за тавтологию!) из-за изменения его местоположения пришлось засыпать небольшой островок у правого берега Малой Невы, носивший имя Ватный — видимо, потому что там находились склады ваты и других текстильных материалов (его можно найти на старых картах и снимках Петербурга). В результате на Петроградской стороне у съезда с моста появилась новая площадь, до 2006 года безымянная, а сейчас носящая имя академика Д. Лихачева.

Одновременно шли работы и по строительству набережных на берегах Малой Невы. На левом берегу достраивалась набережная у Биржевой площади: после переноса моста сама площадь и ее гранитное обрамление должны были принять симметричный и законченный вид.

Новый мост Строителей был сделан пятипролетным, как и Дворцовый, и внешне похожим на него (авторы проекта — инженеры В. Демченко и Б. Левин). Только чугунная решетка перил выполнена в морском стиле и украшена не звездами и знаменами, а трезубцами Нептуна (архитекторы П. Арешев и Л. Носков — автор декора Дворцового).

Мост торжественно открыли 1 октября 1960 года. Накануне его испытали на прочность с помощью танков, что привлекло внимание ленинградцев, столпившихся по берегам и на деревянном мосту-«старичке». А потом были речи, поздравления, музыка. В печати не скупились на восторженные отклики и называли новый металлический мост Строителей «большой творческой удачей ленинградских инженеров и архитекторов». Соглашусь — я очень удивилась, узнав год постройки: Биржевой (название возвращено в 1989 году) настолько гармонично сочетается с Дворцовым, что думала, их возводили вместе.

Гораздо менее лестные отзывы встречались о другом сооружении на Стрелке. Чтобы его увидеть, вернемся на бывшую Коллежскую площадь, где на месте Биржевого сквера в начале XX века был построен комплекс зданий Императорского Клинического повивально-гинекологического института (ныне *НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта*). Увы, «уплотнительная застройка» характерна не только для нашего времени.

В результате облик Стрелки изменился навсегда, получив еще одну «достопримечательность» — огромную кирпичную трубу над котельной института... При строительстве удалось сохранить некоторые деревья Биржевого сквера, были посажены и новые. Зеленое окружение немного сгладило негативное впечатление от внедрения в ансамбль Стрелки «чужеродного элемента», однако западный фасад Биржи больше не просматривался от 12 коллегий — между ними исчезла площадь.

Вот что писал об этом один из современников — историк и краевед П. Столпянский: «Не говоря уже о той нелепости в санитарном и гигиеническом отношении, нелепости, которая выражается в устройстве на центральном, застроенном месте больницы, мы не можем не подчеркнуть, что этим устройством уничтожалась и сама идея площади... Постройки родовспомогательного заведения заслонили соседние здания, и для современного жителя Петербурга мало понятна своеобразная архитектурная прелесть, которая была ясно видна в былое время, если встать посреди исчезнувшего Биржевого сквера».

Мне, если честно, тоже непонятна затея тогдашних властей именно тут построить медицинское учреждение, хотя само оно, конечно, важное и нужное. Гинекологический институт ведет историю с 1797 года. Располагался он тогда на Фонтанке, а инициатором его создания выступила супруга Павла I — императрица Мария Федоровна (мать 10 детей!). Это было первое в России учреждение, где не только оказывали помощь роженицам, но и готовили «повивальных бабок» (акушерок).

С годами институт рос, расширялся. В 1893 году его директором стал известный ученый, лейб-акушер Императорского двора Д. Отт. Именно он инициировал строительство нового здания, специально предназначенного для медицинского учреждения, «которое бы служило высшим научным центром в деле изучения акушерства и женских болезней». Разработку проекта поручили одному из ведущих российских архитекторов — Л. Бенуа.

Он сделал все по высшему разряду: учел опыт строительства лучших акушерско-гинекологических стационаров того времени, консультировался с отечественными и зарубежными докторами. Еще бы — ведь главной задачей было наиболее рационально совместить разные направления работы института: родильное, гинекологическое и учебное. В итоге получился комплекс, который не имел аналогов в Европе.

24 февраля 1904 года на торжественном открытии присутствовал сам император Николай II с супругой. Говорят, больше всего его поразила операционная: он вошел и остановился — настолько сильным оказалось впечатление.

Да, все было продумано до мелочей: обилие света и воздуха в помещениях, длинные коридоры с легко моющимися полами, специальная облицовка стен, удобные палаты, внутренний сад и веранда для принятия «солнечных ванн», оранжерея, библиотека, водолечебница, крестильня, музей и — самое поразительное — актовый зал с органом фирмы Walcker: такого точно не было раньше в российских больницах (да и сейчас вряд ли найдется). Считалось, что музыка помогает быстрее выздороветь.

Главное здание состояло из корпуса, выходящего парадным фасадом к 12 коллегиям, и крыльев, примыкающих к нему под прямым углом. В центре располагались научно-учебные помещения, северная часть была отдана под родильное отделение, южная — под гинекологическое (она соединялась переходом с квартирами, где жили директор и врачи). Внутренний двор, образованный крыльями главного здания, замыкался флигелем с помещениями кухни, столовой, прачечной, бани. Со стороны Биржи построили еще небольшие отдельные корпуса для часовни, кладовой и комнат прислуги, конюшню с сараями, а также силовую станцию.

Институт был оснащен по последнему слову тогдашней техники: водопровод, электричество, паровое отопление, лифты. Восхищала передовая система вентиляции: воздух проходил через бумазейные фильтры, увлажнялся, согревался до необходимой температуры и поступал в воздуховоды, в которых во избежание плесени проделали специальные окошки. В помещениях не было поверхностей, где могла бы осесть пыль: электропровода и водопроводные трубы скрывались в стенах, все углы закруглялись.

После революции институт продолжил деятельность под названием Дворец материнства и детства. Отт до своих последних дней (умер он в 1929 году) оставался его почетным директором. Увы, сохранить удалось не все, но такое было время... Закрылась крестильня, пропал витраж с изображением Богородицы с младенцем, созданный по фреске Васнецова. К счастью, потеря нашлась и в 1947 году оказалась в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. Там витраж можно увидеть и сейчас — в 2007 году его отреставрировали и установили в главном алтаре храма.

Не исчез бесследно и орган, служивший, по словам Отта, «не развлечением для больных, иногда подолгу вынужденных находиться в постели, а средством лечения и исцеления» (у каждой пациентки была возможность, не вставая с кровати, слушать его по телефону). С 1931 года круг слушателей органа значительно расширился: инструмент перенесли в Большой зал Ленинградской филармонии. В начале 2000-х он прошел реставрацию, причем в родной Германии (это был подарок немецкого правительства к 300-летию Петербурга). Так что если хотите послушать тот самый, «оттовский» — берите билеты в филармонию. Единственный сохранившийся в России концертный орган фирмы Walcker успешно продолжает там свою карьеру.

Впрочем, без музыки в итоге не остался и институт Отта: в 2017 году из той же Германии ему в подарок привезли новый орган. Получилось символично: традиция лечения искусством прервалась в 1917-м, а спустя век инструмент снова зазвучал в стенах клиники. Послушать его теперь можно ежемесячно в день открытых дверей, в актовом зале.

Сейчас институт продолжает деятельность, это одно из ведущих в России научных и лечебных учреждений по акушерству и гинекологии. С 1989 года он носит имя Д. О. Отта. Интересно, что там и поныне работают потомки выдающегося врача. На парадной лестнице есть памятник Отту. Ботинок и нос у него блестят: натерты роженицами наудачу, а те, кому предстоит кесарево сечение, предпочитают руку бронзового профессора (вот уж точно — Доктор Золотые Руки!).

С 1993 года действует восстановленная крестильня, создали в ней и копию васнецовского витража. Новую жизнь обрел музей, долгое время не имевший постоянного места. Его коллекции, правда, доступны только врачам и студентам, но, может быть, когда-нибудь увидит их и широкая публика, тогда еще одним общедоступным музеем на Стрелке станет больше.

А пока... Стоит пройти от Биржи вглубь, к институту Отта, подальше от толп туристов и шума машин — и попадаешь совсем в другой мир. Здесь малолюдно, тихо, уютно. За оградой, повторяющей подковообразные очертания бывшей Коллежской площади, — раскидистые деревья и много зелени, кругом кусты сирени. И можно еще долго говорить о Старом и Новобиржевом гостиных дворах, о памятниках академикам Павлову и Сахарову, о здании 12 коллегий и Библиотеке Академии наук... Оставим пока эту часть недосказанной.

Михаил КУРАЕВ

ПРИКОЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ

Заметки свидетеля

...Нельзя вырвать с корнем прошедшее,
но можно скрыть память о нем.
Л. Толстой. Анна Каренина

Я не интересуюсь тем, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут.
С. Довлатов. Соло на IBM. Нью-Йорк. 1979—1990

В пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич» режиссер Якин уверяет Зиночку в том, что режиссеру Косому «Бориса Годунова» «законсервировали», так как не смогли найти исполнителя роли Ивана Грозного... Но Ивана Грозного в «Борисе Годунове» нет.

В неоднократно переиздававшемся романе Ольги Форш «Одеты камнем» арка Главного штаба на Дворцовой площади украшена квадригой Аполлона. А по правде, квадрига Аполлона украшает Александринский театр, а на арке Главного штаба шестеркой лошадей правит Марс...

В рассказе Сергея Довлатова в довоенном (!) Дворце культуры висит портрет «генералиссимуса» Сталина...

На известной картине косари расположены так, что непременно порежут друг другу ноги...

Перечень подобного рода огрехов может длиться и длиться. Ничего существенного эти огрехи не значат. Описка. Оговорка. Полно в художественной литературе куда более важных несообразностей.

Более того, есть жанры, где мерки сугубой реальности и вовсе не годятся.

Пусть речь идет об исторических событиях и реальных лицах в художественном произведении — они предстают перед читателем в том виде, какой продиктован волей автора.

И вот вопрос: есть ли какие-то ограничения этой воле?

Иван Грозный, а то и вовсе сатана появляются в современной Москве, и мы безоговорочно принимаем эту условность.

Однако яблонька с золотыми яблоками сказочно хороша, а груши на вербе — вздор.

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». По сценариям М. Кураева снято 14 полнометражных фильмов («Сократ», «Господа присяжные...», «Раскол» и др.). Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

Литературная критика, литературоведение по праву занимается изучением и прототипов, ставших персонажами художественных произведений, и реальных событий, послуживших в той или иной мере материалом для сочинения. Эти исследования удовлетворяют разного рода читательский интерес и одновременно позволяют отличить, грубо говоря, золотые яблочки от груши на вербе.

В сборнике «Зона» у Сергея Довлатова есть уморительный рассказ «Представление».

Это и водевиль, и готовый сценарий острокомедийного фильма для телевидения, минут на тридцать.

Напомню.

В преддверии праздника 7 ноября в лагере готовится спектакль по пьесе «Кремлевские звезды», рекомендованной лагерным начальством.

О достоинствах «революционной пьесы о Ленине» автор говорит лишь устами вольнонаемной сотрудницы АХЧ Лебедевой, «биксы, хуже зечки», приглашенной на единственную женскую роль. Вот в ее уста автор и вложил оценку пьесы, которую они репетируют:

«Ой, — воскликнула Лебедева, — до чего жизненно! Как в сказке...»

Пьеса с участием Ленина и Дзержинского — веселая пародия на литературу и драматургию во вкусе политуправления лагерей.

«Жизненно, как в сказке!» Очень емкая формула.

С сочинениями писателя Сергея Довлатова, младшего брата моего друга и однокурсника Бориса Довлатова, у меня установились отношения совершенно определенные.

Когда я читаю о том, чего не знаю и не видел, не был причастен, не был свидетелем: про жизнь экскурсоводов в Пушкинских Горах, про газетную работу в советском Таллине, про жизнь зэков и охранников в лагере, про эмигрантскую Америку, читаю с интересом и доверием.

Но так уж случилось, что я знал людей, о которых пишет Довлатов, называя их своими именами, был так или иначе причастен к событиям, послужившим сюжетами для его рассказов...

Естественно, не покушаюсь на право автора видеть события так, как они ему видятся, допридумывать, умалчивать, выдерживать избранный стиль и жанр... Жанр! После того, как Чехов назвал «Чайку» комедией?..

Впрочем, Данте свое бессмертное путешествие в загробье тоже назвал комедией.

Правдоподобие — не единственный пропуск на Олимп. Художник творит свою реальность...

Коллега, восторженный поклонник и почти биограф Довлатова, явно защищая его от упрека, скажем мягко, в неточности в изображении реальных лиц и действительных событий, выдает мандат: «Проза Довлатова убедительна — намного убедительней самой жизни».

Это уже из словаря влюбленных: «Люблю тебе больше жизни!»

Помню начало одной африканской сказки: «Это было, когда Луны еще не было, а с неба свешивалась цепь...»

Дух замер, и сердце остановилось! Верю.

Но даже в сказке Киев должен стоять на Днепре, а Старая Ладога на Волхове...

Все понимаю, художник творит свою реальность, но куда деться мне и тем, кто своими глазами видел, как Волга впадает в Каспийское море, а Волхов — в Ладогу?..

«Евтушенко пошляк...» «Пастернаку не хватает вкуса...»

«Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему, беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп».

Вспоминается дама, выходящая из филармонии: «От Моцарта я ожидала большего».

«А Цветаева, при всей ее гениальности, была клинической идиоткой».

Спорить? Что тут спорить, интересней понять.

Если прав Мандельштам, то все это уже было: «Всякая новая литературная школа приходит искусственно раздутой, чтобы захватить пространство, преувеличивая свое исключительное значение».

Что такое «литературные школы», что такое «пространство» художника, предмет интересный, но пока речь-то все-таки о другом. Речь в данном случае об обязательствах, если они есть, эти обязательства, художника перед действительностью.

Речь только об этом.

Я слышал публичное признание коллеги: «Жизнь будет такой, какой мы ее опишем». Но только фантасты в лучшем случае и прожектеры в худшем сочиняют жизнь и предписывают, какой ей надлежит быть по разумению нового «творца».

Пожалуй, это несколько горделивое признание: «будет такой, как мы (!) опишем...»

Мир, созданный нас не спросясь, живет своими законами, не оглядываясь на предписания даже серьезных сочинителей, каким ему надлежит быть.

Мои заметки скорее впечатление читателя, ставшего свидетелем того, как его друг оказался между двумя жерновами: сверху веселое сочинение (какой жизнь должна быть?), а снизу жесткая реальность...

Однажды Сергей Довлатов заметил своему приятелю, что его забавные двустишия «не по делу написаны». И разъяснил: «Писать стихи без трепа и вполне серьезно — очень трудно».

Знаменательная подробность, помогающая увидеть взгляд писателя на свое дело. Наверное, и прозу писать без трепа «очень трудно»?

«...Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди» (С. Довлатов. «Соло на IBM. Нью-Йорк. 1979—1990»).

I.

«Фантастически неумеренные мечты овладевают нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности».

Утверждение не бесспорное, но явно защищающее действительность, отдающее в литературе предпочтение жизни подлинной.

Рискую спугнуть читателя цитатой из Чернышевского, едва ли занимательного для тех, кто ищет чтения острого, бойкого, по возможности прикольного.

Начинаю с помина Чернышевского, поскольку его всерьез занимал вопрос, ответ на который люди мыслящие ищут две с половиной тысячи лет, никак не меньше.

И вопрос этот вовсе не головоломка, открываемая двумя-тремя поворотами ключа.

Хуже того, на этот неотступный вопрос в каждую пору находится ответ, и что самое удивительное — «правильный ответ». Правильный для своего века, для своей культуры. И такое может быть только в эстетике, именующейся наукой.

Но в какой же еще науке, имеющей твердое основание, ответы на фундаментальные вопросы менялись бы с течением времени?

Быть может, именно поэтому эстетику предпочитают именовать философским учением об искусстве, о формах и сущности прекрасного, об искусстве как особой форме общественного сознания.

Приходится признать, что основание эстетики чем-то уж точно отличается от основания прочих наук, располагающих фундаментальными законами.

Можно убежденно защищать автономию эстетики, защищать искусство от социологии, от общественных наук, но подвижность в определении эстетических категорий со всей очевидностью зависит от состояния общества, его развития, исторического контекста. Греческий идеал, вложенный в формулу «мужественный и прекрасный» (колос агатос) не может служить на века, как закон Архимеда.

Полагаю, все дело в том, что в основании искусства — сама жизнь, непредсказуемо меняющаяся, и потому такие фундаментальные для эстетики понятия: «прекрасное», «возвышенное» и т. д. — отличаются от «суммы углов треугольника», которая в Эвклидовой геометрии на все времена и для всех народов одна.

Иное дело вопрос об отношении искусства к действительности, фундаментальный вопрос эстетики.

И в отличие от вопроса о «сумме углов треугольника» в различные времена, в различных культурах ответы были различными.

А теперь надо признаться, что, не зная за собой склонности к отвлеченному знанию, вовсе не решаюсь просветить читателя и, погружаясь в премудрости эстетики, утверждать, какое отношение художника к действительности правильное, а какое нет.

Ничуть не бывало.

Прорвавшаяся по Высочайшему повелению сквозь цензуру «Крейцерова соната» Толстого вызвала в читающем мире эффект, сравнивавшийся с землетрясением. И Чехову повесть казалась событием значительным, «а теперь (после Сахалина. — *М. К.*) она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел — черт меня знает». Впечатление от поездки через всю страну, каторжная работа по переписи населения на Сахалине, жизнь вне литературной, журнальной и театральной среды позволила Чехову говорить о возмужании, убрав патетику ироническим «не сошел ли с ума».

Надо думать, эта поездка позволила не только поняться над собой прежним, но уже по-новому ощутить и осмыслить художественную практику, идейную полемику, к примеру, во взгляде на семью, брак, любовь. Поездка на Сахалин каторжными путями стала испытанием на прочность не только ребер и желудка писателя («курицу негде купить, зато кругом полно водки»), но и новым осмыслением реальности.

Соотнесение, скажем, продукта художественного творчества с реальностью, даже если «продукт» эту реальность преобразует, даже отвергает («Черный квадрат»), все равно лишь соотнесение с реальностью позволяет увидеть смысл творчества, отличить движение мысли от забавы.

II.

В литературной критике, особенно в комментариях к популярным сочинениям, сплошь и рядом сообщается о прототипах, послуживших автору в создании персонажей его сочинения, о реальных событиях, послуживших автору в создании сюжета. История чиновника, мечтавшего купить ружье и утопившего на утиной охоте предмет своей многолетней мечты, послужил, как известно, Гоголю в создании «Шинели». Могила женщины, бросившейся под поезд, на кладбище неподалеку от Ясной Поляны, разумеется, не обойдена вниманием пишущих об «Анне Карениной». И было бы величайшей нелепостью ожидать от писателя буквального изложения в своем сочинении запомнившегося автору жизненного случая.

Апологеты Сергея Довлатова со сдержанным ликованием сообщают: ему удалось «оторвать липкие щупальца реальности и воспарить». Куда «воспарить», читатель должен догадаться сам.

Наверное, туда, «где жизнь, существенность и свет смиренно сходятся на нет», как писал предшественник Гоголя, насмешник Александр Вельтман, подразумевая, надо думать, пустоту.

Существует множество способов освобождения, дистанцирования персонажа от прототипа, литературного сюжета от подсказавшего этот сюжет реального события и т. д.

Каждый автор волен менять имена, не придерживаться реальных мест действия, даже трактовать исторические фигуры сообразно исключительно своему представлению о лице, оставившем след в истории.

Читатель с пониманием относится к нетрадиционному изображению Кутузова и Наполеона в «Войне и мире», соответствующему представлению Толстого о месте личности в истории.

Интересно, как бы отозвались Наполеон и Кутузов, случись им прочитать «Войну и мир»?

А сколько случаев обид, смертельных обид вплоть до дуэлей и разрыва отношений между близкими людьми, когда приятель узнавал себя в сочинении друга в нелестном изображении?

Но вот вопрос: есть ли границы, за которыми реальность превращается в «фантастические неумеренности» как ответ на слишком «скудную действительность», как писал помянутый выше Николай Гаврилович Чернышевский?

В пору работы на «Ленфильме» мне пришлось на нескольких картинах познакомиться с «действительностью» милицейской службы, после чего меня уже трудно было провести на «детективной мякине». И вот встречаю в сценарном отделе бывшего следователя Р., преуспевшего в сочинениях книжек на криминальные сюжеты. Спрашиваю: зачем вы пишете неправду, вы же знаете, что на самом деле, и т. д.? Что слышу в ответ? «А как на самом деле — оно неинтересно».

Но мне-то, погружаясь в работу милиции, было все интересно как раз потому, что непохоже на читанное и виденное в кино, и вдруг — на тебе! — неинтересно.

Ну что ж, сочинитель в своем праве решать, что интересно, а что нет, так же, как читатель и зритель вправе сказать: «Опера эта была не похожа ни на что на свете, кроме как на другие оперы».

Можно привести множество утверждений права художника «преломлять» действительность, «управлять реальностью», предъявлять «авторское видение», и спорить здесь не о чем.

Автор вправе интерпретировать события, имевшие место, по-своему интерпретировать место и роль реальных лиц в реальных событиях, выбирать интонацию, стиль сообразно близкому автору жанру...

Интерпретация!

И в этом в высшей степени достойнейшем понятии вдруг слышится словечко «треп», не знаю, включено ли оно в литературоведческие справочники.

Скорее всего, бытующий разговорный жанр, легкая безответственная болтовня, как правило, о людях, известных собеседникам, едва ли был удостоен серьезного внимания, отнесенный к бытовым «украшениям» речи, как правило, в молодежной среде: «стеб», «прикол», «хохма».

Университетов не кончавшие читатели и зрители обогатили эстетический словарь фундаментальными понятиями «туфта» и «лажа», обозначающими опреде-

ленный способ творческого преображения реальности и претендующего стать «больше, чем реальность».

Как это выглядит?

Вот «публицистическая зарисовка» писателя П. А. Павленко с фронта, с поля сражения.

Смертельно ранен в атаке черноморский моряк.

«Бой уходил от него... За волной наступающих моряков бежали связисты и саперы... А следом за ними бежал кинооператор. Умирающий окликнул его: „Сыми меня! — Писатель для достоверности сохраняет простонародную речь. — Умру, так ничего и не выскажу. Сыми!“

„Есть снять!“ — по-боевому отвечает фронтовой кинооператор и начинает „сымать“.

Он хотел быть услышанным. Пусть так и будет, как он хотел. Воля его священна. Пишет писатель, надо думать, при этом присутствовавший. Моряк прощается с боевыми друзьями и шлет привет семье. И его услышали!»

Стоп! Кто и как мог его услышать, если «сымали» ручной кинокамерой «Аймо» или нашими модификациями ее, для синхронной записи звука не оборудованными. Других кинокамер у наших героических фронтовых операторов не было!

Если бы писатель заметил, что в этом месте «с неба свешивалась цепь», немедленно бы поверил, что «немая» камера может записать звук и сама летать по воздуху. Как воробей.

Из интервью для газеты «Русский репортер» (2009) работавшего в осажденном Севастополе фронтового кинооператора Владислава Микоши:

«Камера тогда весила от 3 до 3,5 кг, к ней прилагались несколько запасных кассет по 500 г каждая — „бобышки“, как называли их сами операторы. Одной бобышки хватало на одну минуту съемки, поэтому аппарат все время приходилось перезаряжать — в темном мешке, чтобы не засветить уже отснятые кадры».

Как быть с этой «публицистической зарисовкой»?

Преображенная реальность или «туфта»?

Писатель П. Павленко поставлен в пример многим: трижды лауреат Сталинских премий, автор сценария «Падение Берлина».

С детства помню этот цветной художественный фильм, особенно его финал.

Рейхстаг повержен. Высоко в небе белый четырехмоторный самолет. Но на просторное и пустынное взлетное поле садится белоснежный двухмоторный самолет. (Мальчишки — приметливый народ!) Из белоснежного самолета в белоснежном мундире с золотыми погонами генералиссимуса выходит т. Сталин. К нему со всех сторон устремляются несметные толпы благодарных узников из только что освобожденных концлагерей. И все бегут со своими флагами... Генералиссимус сдержанно по-отцовски чуть улыбается, понимая радость и освобождения, и встречи с ним, великим Сталиным.

Самолеты, один летит, другой садится. Подумаешь!

Да и прибыл т. Сталин в Берлин поездом... для чего быстренько перешили на нашу колею восемьсот километров пути...

Да кому это интересно!

В генералиссимусы т. Сталина возвели только летом 1945 года, когда узники концлагерей уже не бегали с флагами по просторным аэродромам...

Какие мелочи!

Перед нами — художественная реальность...

Сошедший с неба т. Сталин — это образ. Молитвенно-художественный образ: к освобожденным народам Европы нисходит с неба кто? Правильно, дети, спаситель!..

Это больше чем жизнь, скажут понимающие в искусстве люди. А люди, чуждые искусству, не понимающие образного языка, злобствуют: угодливая «лажа», стопроцентная «туфта»!

Вот такой, как скажут эстетики, нарратив!

Такая, понимаешь, парадигма!

Стоп! Где-то мы этот нарратив видели, где-то читали: «...множество народу христьианского, мужска полу и женска свобожешеся из плена; яко узрели государя — все со слезами пали и вопияху радостноми глаголы: „избавитель наш государь, из ада ты нас вывел! Нас для — сирот своих головы своей не пощадил...“»[1] и т. д.

Это Ивану Грозному показался суховатым рассказ в «Царственной книге» о его въезде в поверженную Казань и сделал собственноручную приписку. Впечатляет!

Вот и т. Сталин, читая литературный сценарий «Падение Берлина», к призыву солдат, поднимающихся в атаку: «За Родину!», собственноручно добавил: «За Сталина!»

Стало еще художественней. Кто бы спорил?

III.

Итак, искусство и действительность.

В журнале «Огонек», выходившем в конце 80-х и начале 90-х многомиллионными тиражами, я прочитал рассказ, а то и маленькую повесть, написанную с блеском на одном дыхании моим добрым знакомым Сергеем Довлатовым о своем старшем брате, с которым я был не то что знаком, а, как говорится, даже больше чем знаком. Рассказ так и называется: «Мой старший брат».

В юные годы, глядя на Бориса и Сергея, впору было вспомнить предание, по которому в Эфиопии в незапамятные времена властью наделяли по избранию за рост и красоту. Думаю, что братья Довлатовы имели все основания претендовать в Эфиопии на самые высокие посты.

С Борисом мы учились на одном курсе, дружили, ссорились, снова дружили, бывали друг у друга дома, знакомили с женами, не потерялись и после института.

Тогда же, уже на первом курсе познакомился и с Сергеем, заканчивавшим школу и сделавшим, по мнению его пронырливых и завистливых коллег, хорошо рассчитанную литературную карьеру в три прыжка: «Армия», «Таллин», «Америка».

Раз уж пришлось говорить об этом исключительно обаятельном человеке и замечательно талантливом писателе, скажу с глубоким убеждением: Сергей Довлатов и карьера, говоря словами классика, «две вещи несовместные». Во всех перипетиях своей стихийно сложившейся судьбы он сохранял верность призванию, верность русской литературе.

Я помню, как мы радовались, когда в журнале «Крокодил» (издание ЦК КПСС!) был напечатан, едва ли не впервые, его рассказ «Новая Голландия». Разумеется, многое из прочитанного впоследствии забыл, а этот рассказ помню, потому что радость была настоящая: «Теперь пойдет!»

Это вам не газета «Смена» и не журнал «Искорка»!

И не пошло. Делающий карьеру из публикации в этаком издании уж мог бы извлечь изрядный прибыток, а Сергей Довлатов прибытка не извлек, поскольку писал, как водится у настоящих писателей, для себя. При этом он не был, что называ-

[1] Д. Н. Альшиц. От легенд к фактам. СПб.: Наука, 2009. С. 109.

ется, небожителем, жил на земле; работая в газете, писал «как надо». Но в газете! Вот в свое время, кажется, Некрасов признался: «Из хлеба писал много дряни».

И у Довлатова было свое ясное понимание: где литература, а где нелитература[2].

Судьбе было угодно, чтобы мы встретились с Сергеем в Нью-Йорке в студии радио «Свободы» за месяц до его внезапной кончины. На мои слова, дескать, у тебя все в порядке, приезжай, тебя на родине вовсю издают, читают, слушаем тебя по радио... и тут он вдруг с полной для меня неожиданностью признался: «Когда я умру, мне нечего оставить семье... Но будет просьба: уничтожить все, что я написал и произнес на радио „Свобода“. Это мой позор».

Признаться, рад был услышанному, поскольку для писателя, остроумно придумавшего национальность «ленинградец», его патриотизм в отношении к «новой родине» мне временами казался избыточным.

Припомнили Некрасова, посмеялись.

IV.

Вернувшись в Питер из Америки, где общался с Сергеем, я встретил Бориса.

И первый вопрос: «Рассказ обо мне читал?»

«Какой? Чей?»

«Сергея в „Огоньке“».

Нашел, читал и не верил своим глазам.

Борис, чьи тягостные перипетии биографии были мне известны, чьи родители на моих глазах спасались валидолом, стоя выслушивали долгий перечень краж, совершенных их сыном и моим другом, дважды судимый, спившийся, чья вторая жена покончила с собой самосожжением, обернулся в веселом рассказе этаким лихим удальцом, на все руки молодцом!..

Сергея на суде не было, он был в это время в армии, точнее, во внутренних войсках, так впечатляюще описанных им в «Зоне».

Мне кажется, случись Сергею своими глазами видеть согнутых стыдом и горем Аркадия Иосифовича и Маргариту Степановну, родителей Бориса, едва ли суд в фельетонном изложении Сергея поразвлек бы читающих. Так что о первой «ходке», говоря языком «зоны», младший брат знал по рассказам знакомых и родни.

Причина второй «ходки», последовавшей через три года после освобождения от первой, была ужасной.

Бориса после тюрьмы лишь по ходатайству Юрия Павловича Германа приняли на «Ленфильм».

Перспективы перед человеком образованным, творчески одаренным, открывались самые радужные.

Но не прошло и трех лет, как в киноэкспедиции в Сибири Борис пьяным сел за руль служебной машины, кажется, это был ЗИМ, машина тяжелая, помчался с хмельной компанией за выпивкой, добавить — и насмерть сбил молодого офицера на мотоцикле.

И снова суд. И снова срок, после которого вернуться в достойную жизнь уже не получилось.

Забавно, правда?

---

[2] Я был удостоен близких отношений с Виктором Петровичем Астафьевым. Частенько нам случалось спорить. Однажды, забывшись, я выпалил: «А зачем же ты здесь наврал?!» И услышал в ответ: «Миша, все, что я мог, наврал в „Чусовом рабочем“».

Борис, человек талантливый, незаурядный, растерявший все и выкинутый на обочину жизни, предстал в рассказе брата удалым победительным ковбоем-плейбоем, не сходящим с Доски почета на свободе и посылающим охранников и надзирателей за водкой в пору пребывания за колючей проволокой.

Рассказ — сочинение художественное, и автор большинству персонажей, имеющих узнаваемых прототипов, дал вымышленные имена, и никаких претензий относительно сходства и несходства быть не может, но брат, старший брат Борис назван своим именем и назван братом...

Горестная судьба доживавшего, как оказалось, последние месяцы жизни старшего брата предстала в сочинении яркого дарования младшего брата этакой разлюли-малиной...

А вот жанр такой!

«Театрализованная реальность» (А. Арьев).

Как в «Падении Берлина»?

Борис, к тому времени больной, безнадежно спившийся, нищий, хоронить было не в чем, перебивавшийся случайными заработками, был до глубины души обижен, если не больше...

Никто не вправе предписывать автору, что он должен брать из реальной жизни, а чем пренебрегать, писать ли ему драму или комедию, но выставлять на обозрение самых близких в их прискорбных обстоятельствах вроде бы с библейских времен почиталось делом недобрым, предосудительным, вызывающим недоумение, а то и вгоняющим в оторопь.

V.

Когда я читаю у Сергея Довлатова перелицованные ленфильмовские байки, когда он пишет о визите Фурцевой на «Ленфильм», которого никогда не было, когда в «порядке самокритики» (!) директор «Ленфильма» Киселев признает ошибки фильма «Человек ниоткуда», снятого на «Мосфильме» Эльдаром Рязановым, коробит. Режиссера «Карнавальной ночи» поименовать «Дунькой» с неблагозвучной фамилией? Глядишь, кто-нибудь и поверит. Да и вся история со сменившей фамилию «Дунькой», случившаяся на большом худсовете «Ленфильма», естественно, без Фурцевой, по-ленфильмовски почти элегантна.

Когда разгоряченный директор студии, человек темпераментный, вспомнил злосчастную халтурщицу «Дуньку», ни загримировать, ни декорацию построить, ни звук записать не умевшую, он вовремя понял, что ее фольклорную фамилию при дамах лучше не называть и поименовал ее «Смирновой».

В ту же минуту не «кто-то из рядов», а остроумнейший директор 2-го творческого объединения Марк Рысс мгновенно поинтересовался: «Простите, Илья Николаевич, Евдокия замуж вышла?» Худсовет отозвался хохотом, все знали неприличную «девичью» фамилию «Дуньки».

Поскольку я сидел в этот день рядом с Рыссом, достоверность гарантирую.

Не о пустяках ли речь?

Для меня — нет. «Ленфильм» не «Сайгон», не шалман, не подворотня.

Горестная судьба фильма наших московских коллег «Человек ниоткуда» (сценарий Леонида Зорина, не «Дуньки») сочинителю либо неинтересна, а скорее всего, и неизвестна: фильм был подвергнут уничтожающей критике самим членом Политбюро т. М. А. Сусловым в 1961 году на XXII съезде партии, изъят из проката и «реабилитирован» лишь в 1988 году.

Сам Киселев пришел на «Ленфильм» в 1962 году.

Добивать задним числом поверженных начальством, да еще и в Москве, у нас считалось неприличным и ничего подобного за тридцать лет работы на студии не случалось.

Пересказывая на потеху читателю гулявшую по Питеру историю, бряцая неприличной фамилией «Дуньки», сам того не желая, сочинитель походя «приложил» и студию, и ее едва ли не лучшего директора.

Так уж случилось, что, работая редактором на трех фильмах Герберта Морицевича Раппапорта, я был удостоен его расположения.

«Если бы у меня были такие же отношения с сыном», — однажды произнес этот необычайно сдержанный человек. Естественно, когда Герберт Морицевич предстает перед читателями героем плоского эстрадного анекдота, впадаю в оторопь...

Итак, в Ленинград приехал «друг молодости» Раппапорта американский кинорежиссер Мейлстоун.

«Когда-то они жили в Германии. Затем пришел к власти Гитлер. Мильштейн (Мейлстоун) эмигрировал в Америку. Раппапорт — в СССР».

«Друг молодости» эмигрировал в Америку из Германии в 1914 году. А его «друг молодости Раппапорт» родился в Вене в 1908 году, а эмигрировал из Америки в СССР в 1936 году.

Какая мелочь, если «друзья молодости» наконец встретились: «Пошли в кафе. Сидят беседуют».

Американский режиссер, дважды удостоенный Оскара, жалуется на свою трудную жизнь.

«А у меня как раз все хорошо, — рассказывает, почти хвастается Раппапорт. — Последнему фильму дали высшую категорию. Лето провел в Доме творчества. У меня „Жигули“. Занял очередь (!) на кооператив...»

Откуда было знать Сергею Довлатову, хотя это и не было секретом, что приехавший в 1936 году в СССР Герберт Морицевич Раппапорт получил в ленфильмовском доме напротив студии такую же квартиру, как Козинцев, Трауберг, Эрмлер и другие мастера, квартиру с комнатой для прислуги при кухне. Герберт Морицевич привез с собой из Америки авто! И получил для него место в гараже во дворе дома...

Какие «Жигули»? Какая очередь на кооператив?

Байка унизительная для дорогого моей памяти, и не только моей, человека.

Зачем представлять великолепного мастера, человека европейской культуры, классика отечественного кино тщедушным советским обывателем?

Это тоже по праву художника, воспарившего над реальностью?

Судьба народного артиста, трижды лауреата Сталинской премии Герберта Морицевича похожа на полет на «американских горках», кстати, в Америке этот аттракцион именуется «русские горки». И каково читать о том, как этот европейски образованный (Венская консерватория!), ученик Пабста, снимавший во Франции Шаляпина в «Дон Кихоте», слава «Ленфильма» («Музыкальная история»!), похваляется, как приехавший из столицы в Жмеринку преуспевший провинциал: «Все хорошо», вот «Жигули» и очередь в кооперативе...

Зачем же так, ему и при жизни досталось немало унижений...

«Всякая литературная материя делится на три сферы:

То, что автор хотел выразить.

То, что он сумел выразить.

То, что он выразил, сам того не желая...» (С. Довлатов. «Соло на IBM. Нью-Йорк. 1979—1990»).

Если автор позволяет себе подобные небрежности в «истории кино», в истории памятного кинематографистам очередного травматического вторжения «директивных органов» в творчество, то что же ожидать от рассказа о работе своего старшего брата на «Ленфильме»?

Речь опять же идет не об «исторической достоверности», но зачем же для потехи писать нелепости?

Среди множества профессий, коими в одночасье овладел его брат (едва после первой отсидки переступивший порог киностудии), он то «лаборант» (?), то «диспетчер», а еще и какой-то «старший диспетчер», и замдиректора съемочной группы...

Люди, знакомившиеся с кинопроизводством не только в студийном буфете, разве что улыбнутся.

Читая у Сергея «про кино», вспомнил рассказ Аркадия Аверченко о газете, где в военной сводке писали: «Немцы стреляли из блиндажей, пуская их в них». И такое, оказывается, бывает авторское видение, в одном случае военных действий, в другом — жизни на реальной киностудии, где «шестнадцать старых коммунистов „Ленфильма“ готовы были дать рекомендацию в партию» вчерашнему уголовнику, по блату принятому на студию.

Смешно? Прикольно?

А может ли что-нибудь воспрепятствовать «авторскому видению» своего многострадального брата, дважды сидевшего по уголовным статьям, этаким лихим, неукротимым, победительным?

Но и Борис, и Раппапорт, и даже директор «Ленфильма» Киселев уже персонажи и, стало быть, во власти автора?

«Персонажи намного выше своего творца. Хотя бы уже потому, что не он ими распоряжается. Наоборот — они им командуют» (С. Довлатов. «Соло на IBM. Нью-Йорк. 1979—1990»).

Наблюдение совершенно справедливое. Стоит вспомнить знаменательное признание Пушкина в одном из писем: «Представь, какую штуку выкинула моя Татьяна. Она вышла замуж. Этого я от нее не ожидал».

У великих писателей герои получаются настолько живыми, что, кажется, начинают жить своей жизнью...

Вот и проза Довлатова, как нам объяснили, «убедительней самой жизни».

А реальная жизнь Бориса Довлатова, изголодавшегося по настоящей работе, на «Ленфильме» складывалась не на шутку замечательно.

Талант, завидная работоспособность, умение располагать к себе людей — все это было по достоинству оценено проницательным режиссером Виктором Трегубовичем, пригласившим Бориса в съемочную группу «На войне как на войне», еще не зная, на что годится этот обаятельный парень «с трудной биографией». Есть в съемочной группе такая должность — второй режиссер, «начальник штаба», организатор съемочной площадки. Именно эту роль доверил Трегубович Довлатову, поработавшему до этого ассистентом с Владимиром Мотылем лишь на одной картине: «Украли гарем», в прокате «Белое солнце пустыни». И Борис блестяще справился с этой ролью, доверенной Трегубовичем, а еще как актер эпизода исполнил роль адъютанта командира полка.

Неужели Сергей не видел фильма «На войне как на войне»?

Не видел старшего брата в шлемофоне на броне танка рядом с Михаилом Глузским?!

Не видел в титрах: «Режиссер Б. Довлатов»?

Трегубович взял Бориса «вторым» и на следующую картину, на двухсерийную «Даурию»...

Брат после унизительных злоключений — на коне. Даже на танке!

Какие «лаборанты», какие «диспетчеры»?

Впрочем, «как по правде», неинтересно.

Но если фантастические неумеренности «овладевают нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности» (Чернышевский), то придется признать «скудной действительностью» взлет Бориса, как говорится, с тюремных нар к обретению новой профессии — режиссер!

Фантастический поворот в биографии старшего брата останется для читателей неведомым, ему предложено удовольствоваться «фантастическими приколами» сочинителя: «Карьера моего брата развивалась в нарастающем темпе. Вскоре он стал лаборантом. Потом — диспетчером. Потом — старшим диспетчером. И наконец — заместителем директора картины. То есть лицом, материально ответственным... Все прочили ему блестящую административную карьеру».

Если было бы можно, спросил читателя, что ему интересней: выдуманная административная карьера или реальная режиссерская?

Опять реальность? К черту реальность, речь идет об искусстве!

Бориса его портрет в исполнении младшего брата, пребывавшего в это время в сравнительном американском благополучии, естественно, огорчил до крайности.

Возвещение о том, что он был на «Ленфильме» «лаборантом и диспетчером», чести ему не добавило, а весело выметать за порог на весь свет горестную биографию своего старшего брата — доброе ли дело?..

Кстати. Меня давно смущала поговорка: сор из избы не метут.

Почему? Копить сор в избе?

Все оказалось просто. Пословица укоренилась в усеченном виде и потеряла, фактически утратила смысл.

«Сор из избы *к чужому забору* не метут!»

Вот как было сказано в назидание излишне болтливым. Совсем другое дело.

К слову, в усеченном виде потеряло смысл и латинское присловье: «О мертвых хорошо или ничего...»

«О мертвых хорошо *или ничего, кроме правды*».

Кроме правды!

VI.

Дома и среди близких друзей, в литературной и театральной среде, где вращался Борис, на «Ленфильме», где ему посчастливилось поработать, увы, недолго, звали его только по имени. А панибратски «Боб» звала лепившаяся к нему, человеку обаятельному, незаурядному, просто красивому, публика невысокого разбора, для кого он был почти кумир.

Вот и назови Сергей Довлатов свое развеселое сочинение хотя бы «Похождение Боба». Можно было бы улыбнуться, прочитать и забыть, но брат! Борис — это судьба, иное дело Боб — почти кличка в малопочтительных компаниях.

Боже упаси, не поучаю, но что мне делать с той глубокой горечью, обидой, оставшимися в моей памяти после последней встречи с Борисом, жить ему оставалось пару месяцев.

Все мы, как говорят в кино, «уходящая натура».

Как ее сберечь?
Да уж не так, чтобы она сама себя не узнала.
А может быть, и беречь не надо?
Пусть все будет так, «как мы опишем»?

VII.

С первых же строк рассказа «Мой старший брат» я начал спотыкаться, читая о людях, мне известных, необязательную, скажем так, неправду или фантазию.

Мать Бориса, яркая, талантливая, покоряла своим умом и энергией. Я вспоминаю ее чистую, красивую русскую речь, и меткую, и с крупицей «соли»... До сих пор не растаяли в моей памяти несколько крупиц ее соли, отпущенных в мой адрес. А еще Маргарита Степановна, обладая «литературным слухом», умела пробуждать литературные способности и взращивать писателей.

«Известный литературный редактор». И все? Ну что уж так...

В разговорах со мной Маргарита Степановна с горечью говорила, как ее огорчает легкий успех сына, поверхностность знаний, неразборчивость в приятельстве.

Маргарита Степановна была центром довлатовского клана в Ленинграде; она несла в себе то, что можно назвать ленинградским стилем.

Когда я спросил Дмитрия Сергеевича Лихачева, есть ли «ленинградский стиль», он живо отозвался: да, конечно, и сказал, что в первую очередь носителями этого стиля были женщины.

«Я обязательно должен об этом написать», — сказал Дмитрий Сергеевич, на дворе был конец лета, последнего его лета.

Когда у Маргариты Степановны заводились денежки, как она называла, «подкожные», она приводила Бориса и меня с «нашими Кирами» в «Квисисану» на Невском, переименованную после войны в кафе «Театральное». Борина Кира стала его женой. Моя Кира моей женой не стала. До похмельного «Сайгона», где тусовались, гудели и оттягивались, где стояли за правду и свободу еще не признанные гении, была одна остановка троллейбуса и бесконечная дистанция до «Квисисаны», где, может быть, в загульную пору коротенького Серебряного века и «гудели», и «оттягивались», то в наши дни Маргарита Степановна приводила нас туда как в музей модерна. Мы приходили днем, а вечерами здесь играл квартет из музыкантов Мариинского театра.

Маргарите Степановне, как я понимаю, было важно дать почувствовать «ленинградский стиль», стиль непоказной интеллигентности, сдержанности, хорошего вкуса. О том, что «Quisisana» с итальянского буквально переводится как «здесь поправляются», мы не догадались спросить.

Черного крыла короткая прическа, красивое без единой морщинки лицо, смуглое, с тенью загара даже зимой. Твердая походка легко несла плотное тело без излишеств. Мне казалось, что так ходила Анна Аркадьевна Каренина. И говорить умела коротко и метко, без мусорных и модных словечек...

Такой она была в обиходе с нами, в редакции, в критике.

Помню, как она остроумно и элегантно в рецензии «Академический детектив» смыла случайное пятно в репертуаре Александринского театра, поставившего коммерческую дешевку — спектакль «Кукла Элеоноры Барк».

А то, что она была душой и организатором альманаха «Молодой Ленинград», открывшего дорогу молодой писательской поросли начала 60-х...

Скажу только — человек яркий, завораживающий, а то получается что-то вроде характеристики «для выезда за границу».

И Борю она любила безмерно.

VIII.

Муж Маргариты Степановны, считавшийся отцом Бориса, Аркадий Иосифович Аптекман, по-семейному «Аптечка», не помню, чтобы заведовал госпиталем, как пишет Сергей, а вот Домом кино, было время, заведовал, служил во флотской газете, был литературным секретарем Ольги Форш.

Он ходил в морском кителе без погон и морской фуражке как бы для оправдания кителя. Жили небогато. Китель, если менять подворотнички, заменял рубашки. Помню его перебирающим в кошельке рубли, других купюр не помню. Он был немногословен, тих, помню и его «тихий» юмор: «Я спокоен за своего сына, только когда он в тюрьме». И его не забуду, этого славного интеллигентного человека, с достоинством принявшего роль мужа красивой, сильной, жизнелюбивой женщины.

У него была своеобразная походка, и хотя был выше среднего роста, не ступал, а только касался земли, стараясь, как мне казалось, нанести ей как можно меньше беспокойства.

В последние годы мы встречались, как правило, на Невском или в его ближних окрестностях. Аркадий Иосифович с отеческим вниманием интересовался моими делами, сетовал на «очередные Борины сюрпризы», а перед прощанием говорил о своей скорой смерти.

Жизнь придумывает нешуточные сюжеты.

Мне позвонила днем на студию жена Бориса Алена, вторая жена, и сказала, что только что скончалась Маргарита Степановна, никогда не жаловавшаяся на здоровье. Не помню, чтобы она когда-нибудь говорила о смерти. А через день умер Аркадий Иосифович...

На похоронах родителей Бориса не было: отбывал второй срок где-то на полуострове Тазовском.

Был Сергей. Пришел и Валентин Пикуль, чей «Океанский патруль» только что не переписала Маргарита Степановна и выпустила в свет; вполне в традиции петербургской редакторской практики. Салтыков-Щедрин как редактор «Отечественных записок» не считал для себя зазорным переписать сочинение, обещающее появление нового литературного имени.

Мы шли с Сергеем с Охтинского кладбища, говорили о Борисе, каково-то ему там получить горестные вести.

IX.

Со школьных времен Сережа был влюблен в своего старшего брата, что называется, ходил за ним хвостиком. Подражал даже манере говорить, глотая слюну.

Боря нарисовал акварелью корову на лугу, и Сережа тут же покупает акварельные краски... Боря вставляет лист бумаги в мамину портативную «Олимпию» и выстукивает: «Солнечная сторона улицы. Повесть».

Не заглянув ли через плечо старшего брата на лист с приманчивым заглавием, родился писатель Сергей Довлатов?

Как повелось в преданиях о героях, они, начиная с Геракла, рождались не от мужей своих матерей. Реальным отцом своего старшего брата Сергей Довлатов, тоже по преданию, называет «заместителя Кирова» Александра Угарова.

Было, не было, но в жанре героического сказания годится.

При Кирове Угаров был редактором «Ленинградской правды», был вторым секретарем Ленинградского горкома ВКП(б), а с февраля 1938 года первый секретарь Московского горкома и обкома ВКП(б). Если мне память не изменяет, Борис родился в конце декабря 1938 года, когда Угаров уже десять месяцев был в Москве. Так что лихой поход Сережиной мамы к Угарову в Смольный с сообщением о рождении Бори, после чего «обкомовская челядь строем понесла в родильный дом цветы и фрукты», скорее всего, очередной прикол... «Мать решила снова поехать в обком. Добиться приема ей не удалось. И не потому, что Угаров зазнался. Скорее наоборот. За эти дни счастливого папашу арестовали, как врага народа».

Но Угарова уже давно не было в Ленинграде, и арестовали его в Москве, где он сменил Хрущева на посту первого секретаря МК и МГК ВКП(б). Где ж тут взяться «обкомовской челяди»!

«Кто-то говорил:

„Точность — лучший заменитель гения“.

Это сказано обо мне» (С. Довлатов. «Соло на IBM. Нью-Йорк. 1979—1990»).

Боже мой! Да какая разница, когда был Угаров в Ленинграде, каким он был секретарем, когда был расстрелян!..

Перед нами сказание или инТРЕПретация, кому как угодно.

Воспарение над реальностью!

Нет, я решительно чувствую себя старым лысым бухгалтером с сатиновыми нарукавниками и в засаленном пиджачке, пришедшим на звонкоголосый карнавал с тетрадочкой для подсчета расходов на карнавальные костюмы, бумажные цветы в одной графе, живые в другой.

А еще вспомнился поезд из Москвы в Питер. Весь вагон в «Красной стреле» занимали немцы, скорее всего, какая-то профсоюзная делегация из ГДР. Чувствуя себя на свободе, они пустились во все тяжкие. В вагоне стоял дым коромыслом, не знаю, как это по-немецки, но пение, перекатывающийся по вагону хохот, перебегание из купе в купе, громкие клики до середины ночи и много сора в коридоре.

Только один немец постарше остальных, с реденькими на просвет бесцветными волосами на вытянутой *редькой вниз* черепушке, в светло-сером костюме, похожем на униформу, молча, ни слова никому не говоря, неторопливо передвигался из конца в конец вагона, собирая бумажки, бутылки, коробки, поддерживая порядок, которым славятся немцы.

Мы с приятелем, угнездившиеся милостью проводницы без билета в ее подсобке, смотрели, как на празднике жизни один выбрал себе совсем непраздничную роль. Мы решили, что этот немец прошел суровую школу где-нибудь в лагере для пленных под Лихославлем или Вышним Волочком и решил на склоне лет проехать «по местам боевой славы».

Вот и я, наверное, выгляжу так же; растерзанную, повывернутую, перекроенную младшим братом *на потеху римской толпе* историю моего бывшего друга я, почти не напрягая память, неведомо для чего пытаюсь *привести в порядок,* а может быть, в меру сил пытаюсь вернуть ей достоинство подлинной жизни?

Зачем?

X.

Для меня люди и события, связанные со старшим братом писателя, это часть и моей судьбы. Тем более что храню о многих благодарную память, а всякое воспоминание о старшем брате Сергея Довлатова отзывается непроходящей печалью.

Разумеется, я пытаюсь объяснить, почему именно так отбирает одно, выкидывает другое, присочиняет третье к объявленному портрету своего старшего брата его младший брат.

Так надо. Так хочет автор! И супротив его воли...

А есть у этого отбора, у этой «воли» почва?

Ответ, как мне кажется, я нашел (опять!) у Толстого в «Анне Карениной»: оказывается, жизнь не так разнообразна даже в меняющемся обществе, в меняющиеся времена «сорта» людей сохраняются.

Классики далеко видят.

Вот привычная для Вронского «среда обитания»:

«В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположных сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелыми, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться».

Эхом о том же через полвека отзывается Мариенгоф:

«Можно подумать, что верность, благодарность и сердечность, то есть чувства в какой-то мере оправдывающие человеческое существование, свойственны по преимуществу глупцам» (роман «Екатерина»).

Наследники «настоящих» боялись «раствориться» в ненавистном государстве и растворялись в водке, самовосхищении и стремлении любой ценой вступить в Союз советских писателей.

В художественном фильме «Довлатов», на мой вкус очень удачно представившем облик и стиль жизни Сергея, меня удивила очевидная несообразность. Сквозным сюжетом проходит желание героя вступить в Союз советских писателей. Для чего? Чтобы его наконец стали печатать.

Но в Союз советских писателей принимали только за опубликованные сочинения, свидетельствовавшие профессиональные достоинства автора. Принимали только по публикациям, даже лауреата Ленинской премии по литературе Леонида Ильича Брежнева.

Герой фильма почему-то не знает об этом. Наверное, и большинство зрителей об этом не знают, но что мешало авторам фильма узнать об этом?

Вот в последнем кадре и сидит поверженный герой на полу в углу комнаты, как на замечательной фотографии Нины Алаверт, и недоумевает: почему меня не принимают в Союз советских писателей?

XI.

Пьяный за рулем насмерть сбил молодого офицера, отца двоих девочек...

Младший брат потрясен: «Ты убил человека!»

«Офицеры созданы, чтобы погибать...»

Это Борины слова. Правда, остроумно?

В стиле людей «настоящих».

Ну что ж, «настоящие» люди вправе иметь и настоящую литературу.

Я не был на втором суде над Борисом, думаю, что не был и Сергей. Хорошо помню, что общественным защитником от «Ленфильма» летал в Читу на суд народный артист Павел Петрович Кадочников, сумевший выхлопотать приговор «ниже нижнего предела», всего три года.

Оставлю без комментариев рассказ бывшего охранника Довлатова о том, как они с Борисом ездили по ленинградским узилищам, выбирая, где было бы комфортнее скоротать новый срок.

К несчастью, я почти двадцать лет прослужил в Комиссии по помилованию и неплохо знаю и городские тюрьмы, и лагеря ближних окрестностей.

Если Борису как рецидивисту присудили «строгий режим», он никак не мог отбывать срок в Обухове, где сидят «первоходки» и больше половины «по наркоте»: поставщики, перекупщики, закладчики.

По рассказам Сергея, Борис гонял охранников за водкой и выговаривал, если заказ не был исполнен к часу свидания с женой, дочкой и матерью.

Забавно, правда: охранники бегают для любимого зэка за водкой.

По рассказам самого Бориса, он был в лагере лицом, приближенным к охране, ему поручали, например, стирать простыни после веселых ночей вертухаев. Такая вот привилегия.

Вспоминал, едва сдерживая слезы.

Думаю, рассказывал о своей «дружбе» с охранниками Борис не только мне.

Интересно, Сергей признался, что пока служил в охране, почитал удел заключенных и охранников почти равным, и те и другие в неволе. Лишь проведя несколько дней (!) в Каляевской тюрьме в качестве заключенного, понял свое заблуждение на этот счет.

XII.

Достойной мемориальной доски на школе, как считает автор повествования «Мой старший брат», стала дикая выходка десятиклассника Бориса: он пописал из окна на директора школы.

Было это или не было, но в карнавальном контексте почему бы и не быть.

На вопрос Сергея, зачем он это сделал, Борис ответил: «Я сделал то, о чем мечтает каждый школьник. Увидев Легавого (кличка директора. — *М. К.*), я понял — сейчас или никогда! Я сделаю это!.. Или перестану себя уважать...»

Если Борис был в десятом классе, стало быть, это был первый год соединения мужских и женских школ в Ленинграде.

То ли брат, то ли персонаж, одноименный старшему брату, добивается самоуважения, попирая стыд и срам, но вот и автор почти любуется своим героем и прочит мемориальную доску на школе в память о столь знаменательном событии.

Прикольно?

По правде, как я думаю, за такой подвиг самоуважения дали бы 15 суток, а уж из школы вышибли за милую душу, но по правде неинтересно, неприкольно.

«Затем Борис поступил в театральный институт...»

Но это будет лишь через год, а сразу после школы Борис попытался поступить в политехнический, не прошел, хотя его двойник в рассказе не золотой медалист только из-за выходки, стяжавшей ему в глазах младшего брата славу, а в собственных глазах самоуважение.

Целый год Борис перебивался на разных работах.

Он не без удовольствия рассказывал, как служил даже в похоронном агентстве, которое было неподалеку от его дома; я помню это преддверие в мир лучший в полуподвале на Владимирском проспекте с привлекательными венками в пыльных окнах на уровне тротуара.

Наверное, острые ощущения подстегивали Бориса, как впоследствии водка.

XIII.

Мы познакомились на вступительных экзаменах.

Написали рецензии, прошли коллоквиум.

Борис был в основном списке допущенных к общеобразовательным экзаменам, а я в конце списка в качестве кандидата. Запасной игрок!

На курс набирали раз в два года пятнадцать человек.

Невероятное напряжение, ни с чем не сравнимое, даже во сне снятся экзамены; состояние, наверное, как в казино или на скачках, где ставка — будущая жизнь.

Вижу, в проходном зале первого этажа с двумя нелепыми колоннами посередине сидит и давит на педали старенькой фисгармонии красивый смуглый парень, спокойно и не очень уверенно подбирающий мелодию из «Порги и Бесс», только что всколыхнувшей Ленинград.

Странное дело, мы не чувствовали себя конкурентами. Девушка из Узбекистана, отчислят после первого курса, носилась с кличем: «Немирович... как его?» Казалось, что только если мы соединим все наши знания вместе, может быть, кому-то и удастся поступить.

Подошел к невозмутимому «товарищу в борьбе»: «Чего гудишь? Оставь в покое эту гармошку. Сейчас будет консультация, надо какие-то вопросы придумать, чтобы заметили, запомнили...»

Борис был невозмутим, а ответ на мой призыв поумничать меня поразил: «Что ты дергаешься, кроме нас с тобой, принимать некого... Посмотри список. Аннакурдова. Пурлиева. Казубеков. Насыров. Максимов... Я поинтересовался, якут. Какие-то Земель, Хамармер, Каменир — без определения пола. Бредов-Бродский. Этот, наверное, по направлению из одесской оперетты... Какой-то Палечек, надо думать, вовсе чех...» И все это, не отрывая глаз от облезлого инструмента, под гудение запавшей клавиши.

То, что фамилии Довлатов и Кураев в известном смысле тоже не безупречны, как бы не в счет.

Нет, с таким человеком не то что в разведку, с таким можно отправляться в плавание хоть и на «Титанике».

Я впервые, впрочем, еще в недолгой жизни встретил человека с таким открытым чувством превосходства над другими, превосходства, еще ничем не подтвержденного: ни обширностью знания, ни глубиной суждений, ни музыкальным, в конце концов, талантом, судя по упражнениям на фисгармонии. И все равно этот человек излучал обаяние, а своей армяно-еврейского колорита внешностью и непринужденностью манер, даже этой же самоуверенностью, просто притягивал к себе людей.

Уверенность Бориса, насколько я помню, мне не передалась, но вот это «кроме нас с тобой» стало первыми словами долгого дружества.

Как вскоре неожиданно признался мне Борис, ему в эти дни было не до экзаменов, у него вспыхнул роман, увлекся и... выдержал экзамен, позволяющий именоваться мужчиной в полном смысле слова. На четвертом курсе эта первая в его жизни

женщина станет его женой. А на пятом курсе на занятиях по английскому почему-то в гримерном классе со столами, уставленными зеркалами, он расскажет мне, какое необыкновенное чувство испытал, купая свою дочь. «Если бы ты знал, как она пахнет!..»

Ничего подобного ни испытать, ни сказать не мог персонаж Сергея Довлатова, поименованный его братом. Потому и выкинута из биографии героя первая женитьба его прототипа и уж совершенно неприкольное рождение Ксюши в законном браке.

Зато герой Сергея Довлатова из рассказа «Мой старший брат» в институтскую пору «был секретарем комсомольской организации, а также — донором, редактором стенной газеты и вратарем», чем отличался опять же от своего прототипа, который не был ни донором, ни редактором стенной газеты, ни вратарем. А секретарем комсомольской организации, если по правде, был я.

«Персонажи намного выше своего творца. Хотя бы уже потому, что не он ими распоряжается. Наоборот — они им командуют» (С. Довлатов. «Соло на IBM. Нью-Йорк. 1979—1990»).

Наблюдение совершенно справедливое.

Помню, как будущая жена Бориса, женщина изящная, умеренно кокетливая, притягательная, кстати, генеральская дочь, что огорчало Маргариту Степановну, как-то спросила меня при Борисе: «Мифа (она так предпочитала меня именовать), вам не скучно быть таким правильным?»

Как ответил, уже не помню, но ответил тупо, как и полагается правильному человеку. Не стану же я ей рассказывать, как в белые ночи, готовясь к очередному экзамену, мы угоняли «победу» ее брата (ключи добывал Борис) и доезжали с Владимирского аж до Кировских островов. Водить машину умел только я, хотя прав еще не было. Водил «правильно и скучно», если нас ни разу не остановили скучающие белой ночью менты.

XIV.

Старший брат прямо со студенческой скамьи был принят в Театр имени Ленинского комсомола в Питере на пост завлита.

Заведующий литературной частью!

По сути, это вторая величина в театре после, естественно, художественного руководителя. А случалось, к примеру, в Театре имени Комиссаржевской завлит Виктор Новиков стал со временем и первым лицом, художественным руководителем.

Завлит в театре — это то же самое, что сценарный отдел на киностудии. Только в одном лице.

На «Ленфильме» до войны начальником сценарного отдела был Адриан Иванович Пиотровский, он же художественный руководитель киностудии... «Соавтору всех наших фильмов», — как начертали коллеги на юбилейном подношении.

Вот и Борис со студенческой скамьи и так высоко, и сразу!

Событие действительно почти фантастическое, но, увы, недолгое.

Пребывание своего старшего брата на высоком посту преподнесено читающей публике все в той же фарсовой манере, так, чтобы никто ничему не верил.

«Он ратовал за прогрессивное искусство... Умело протаскивая Вампилова, Борщаговского, Мрожека...»

Рассчитано на не читавших ни Вампилова, ни Мрожека...

Первая пьеса Вампилова была написана как раз в 1964 году, в год начала первого тюремного срока бывшего завлита. Имени замечательного сибиряка и слыхом

не слыхивали. С творчеством Мрожека русскоязычный читатель познакомится лишь в конце 80-х годов...

Фарс на то и потешка, чтобы не заморачиваться такой ерундой, как правдоподобие.

К пущей славе успевшего сделать лишь первые шаги завлита сообщается: «Его побаивались заслуженные советские драматурги». Хочется запоздало попросить: «Огласите весь список!»

Как говорил один из героев Довлатова: «В каждой работе необходима минимальная доля абсурда...» Я бы сделал упор на слове «минимальная».

Надо думать, самым значительным событием в биографии завлита Бориса Довлатова было вступление в партию, и почти сразу же исключен из нее в связи с событиями, изложенными старшим братом все с тем же веселым преувеличением.

Сообщается, как вместе со своим институтским дружком они «грабанули двенадцать заграничных туристских автобусов. Унесли чемоданы, радиоприемники, магнитофоны, зонтики, плащи и шляпы. И между прочим, запасное колесо. Через сутки их арестовали».

Фарс, как известно не только театроведам, комедия легкого содержания, как правило, грубоватая, с внешними комическими приемами. Самый расхожий прием — преувеличение. Ясное дело, для смеха!..

Но какими дефинициями (лат. definition — предел, граница) определить границу между буффонадой, игрой и пошлым шутовством?

Вот о чем речь!

В «Веселых ребятах» забубенные музыканты катят под дождем на катафалке. Забавно.

А вот на катафалке дочка известного политика едет с очередным суженым в загс. Зрелище тошнотное.

Располагает ли эстетика инструментом, позволяющим различать вольную шутку и пошлое, вызывающе безвкусное шутовство?

Есть ли границы, не скажу дозволенного, скажу — приемлемого, в клоунаде?

Могу услышать: «А разве были границы в Дионисийских играх и сатурналиях?.. Участники Олимпиад, к примеру, не прикрывали свои чресла даже набедренными повязками... А уж в стихах...»

Но разве мы с тех пор не повзрослели?

Двенадцать ограблений (!) заграничных (!) туристских (!) автобусов!

Будь это подвиг Шуры Балаганова, может быть, улыбнулись, но двое реальных молодых людей из ленинградской интеллигенции реально дербанят интуристовские шмотки и получают реальный срок... это совсем другая история. Впрочем... Фельетон!

Лихо! Круто! Прикольно! Разве не юморно?

А что если «смех сквозь слезы»?

По мне, так смех на поминках.

Иногда я натыкаюсь в телевизоре на воскресные, стало быть, отборные юмористические программы. Смотрю на покатывающийся от смеха зал... Тягчайшее зрелище. Переключаю канал.

Уж лучше смотреть наш стремный футбол. Стыдно, но не так.

«У тебя нет чувства юмора!»

Но я смешлив, меня легко смешили Зощенко, Баршев, Ильф и Петров, Аркадий Райкин, до слез смешил Жванецкий, мы с ним пересекались совсем близко... Наверное, все они испортили мне вкус...

Но вернусь к двенадцати ограбленным автобусам, надо думать, ограбленным в один день.

«И через сутки их арестовали».

В какую-то минуту подумал, уж не хочет ли Довлатов упрятать в буффонаду неприглядные подробности биографии старшего брата?

Предъявлять, чтобы прятать?

Кража запасного колеса, чемоданов, магнитофонов — бурлеск, буффонада, клоунада, но «оторваться от липкой реальности» не удается, все равно «липкая реальность» — в приговоре суда: кража и срок.

Интонация веселая, а рассказ-то о любимом брате, которому впаяли нешуточных три года за нешуточное воровство.

XV.

В начале августа 1994 года я попал в тяжелейшую автомобильную аварию, почти месяц отвалялся в больнице и, едва придя в себя, отправился в Смольнинский районный суд, где слушалось «дело» моего друга.

Про аварию Борис знал и, когда его вели в зал, успел мне в коридоре кинуть: «Как ты?» Я что-то ответил, но тут же последовал оклик конвойных.

История оказалась простой, отвратительной и необъяснимой.

Летом театр был в отпуске, и Борис вместо того, чтобы учить уму-разуму «заслуженных советских драматургов», устроился с приятелем сопровождающим багаж интуристов из аэропорта в гостиницу. И по дороге чемоданы и сумки потрошили. Какие радиоприемники, какие магнитофоны? Какое запасное колесо? Пожива скромная. В надежде, что не заметят. Складные зонтики. Электробритвы. Фен какой-нибудь. Немножко из белья. Немножко из одежды... Джемпер... Джинсы... Нейлоновая рубашка...

Так, по мелочам.

Себе и девочкам.

Но эти мелочи перечислялись минут двадцать, не меньше, с непременной оговоркой: «доказано», «не доказано». «Утюг складной фирмы „Сименс“ — доказано». «Запонки перламутровые из белого металла— не доказано». Увы, следствие вели знатоки, и хищение большинства предметов, названных в списке, было «доказано».

Борис держался молодцом, будто бы все происходящее не имеет к нему никакого отношения.

На Маргариту Степановну и стоявшего рядом Аркадия Иосифовича смотреть было страшно. Придавленные позором, глотали таблетки, едва держались на ногах, а держаться пришлось долго и друг за друга, и за спинки стульев впереди. Чтение приговора длилось бесконечно.

Зачем они здесь?

А я зачем?

Со мной проще. Выбираясь с того света в больнице, я ничего не знал об аресте, тем более о «составе преступления».

За что судят наших? За самиздат. За «Хронику текущих событий». За чтение и хранение «Архипа», как по-свойски сотрудники ГБ именовали «Архипелаг ГУЛАГ». За пересылку или получение недозволенных книжек из-за границы. Что-нибудь в таком духе. Моего приятеля и соседа Мишу Хейфеца за предисловие к книжке стихов Бродского, изданной «там», — восемь лет! За анекдоты вроде уже не сажали.

И на тебе!

«Носки мужские — доказано». «Будильник дорожный в кожаном футляре — доказано».

Когда я читал развеселое описание суда над «участником нескольких кремлевских совещаний» в рассказе «Мой старший брат», вдруг вспомнил пьесу Виктора Гюго «Король забавляется».

Сходная история. Король забавляется, а для шута трагедия.

Вот и все стало на место.

Ну, очень забавно написан у Сергея Довлатова суд, особенно уловка «лучшего адвоката Киселева», просившего суд принять во внимание то, что подельники грабили «представителей реакционных слоев общества», стало быть, были ворами прогрессивными. Остроумно. И «лучший адвокат Киселев» выглядит эстрадным хохмачом. Не хуже Петросяна.

И вот уж новость так новость: оказывается, автор придерживается правды и потому о каких-то подробностях считает для себя писать невозможным. «Иначе все будет слишком уж литературно. Как в „Донских рассказах“ Шолохова».

Прочитав это авторское признание, вспомнил ленфильмовскую байку.

«Боюсь, что это будет, как у Чаплина...» — делится сомнениями режиссер.

«Не бойтесь, как у Чаплина, у вас не будет», — утешает его редактор.

К слову. К редакторам Сергей Довлатов свое отношение высказал со всей определенностью: «Хорошему писателю редактор не нужен, а плохому писателю редактор не поможет».

Можно было бы и согласиться, если бы все писатели делились только на «хороших» и «плохих», и если бы каждый «плохой» писатель не считал себя «хорошим», и если бы Маргарита Степановна Довлатова не была превосходным редактором.

XVI.

Флибустьерский налет старшего брата на «интуристовские шмотки» для меня за пределами разумного объяснения, однако, быть может, имел в каком-то смысле свою предысторию, едва ли забытую Сергеем.

Событие это случилось в ту пору, когда у Сергея паспорта еще не было, а у Бориса уже был.

Мать Сергея дружила с Ниной Николаевной Черкасовой, женой самого знаменитого, легендарного актера советского театра и кино Николая Константиновича Черкасова.

Их сын Андрей был ровесником Бориса и Сергея, ребята дружили с детства, ходили вместе в кино и на детские утренники.

Братья Довлатовы были вхожи в дом Черкасовых.

Дом был богатый. С домработницами.

«Домработницы часто менялись. Как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять (?!).

У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи. Все полки было заставлены духами и косметикой. Молоденьких домработниц это возбуждало» («Куртка Франка Леже» из цикла «Чемодан»).

Возбудились и братья Довлатовы.

Каково же было изумление Нины Николаевны Черкасовой, когда она на прилавке в комиссионном магазине на Невском рядом с «Колизеем», увидела пропавшую

у нее брошь. Следствие заняло пять минут. Хозяйка броши попросила продавца сказать, кто сдал на продажу эту вещь. Нину Николаевну в этом знаменитом комиссионном давно знали. И без лишних церемоний показали квитанцию: «Сдал Б. А. Довлатов... паспорт номер, прописка и т. д.».

Не хочется вспоминать дальнейшие события, а то получится литературно, «как у Шолохова».

Нине Николаевне подобные происшествия благодаря морально нестойким домработницам были не в новинку.

Не устоявших перед соблазном сыновей матери отплакали.

Довлатов написал очень трогательный рассказ о дружбе семьи высокого полета и скромного семейства, принадлежавшего к «бытовому окружению» Черкасовых.

Вольно автору упускать события, имеющие «акцидентный» характер.

Но почему же события, имеющие отношение к личности значительной, интересной особенно в решительных поступках, подменяются выдумкой обывательского пошиба?

«Нина Черкасова была рядовой актрисой. После смерти мужа ее уволили из театра».

Хорошо, Сергей не театровед, и рассказ не диссертация, и все же, все же... Семьи дружили и поддерживали, несмотря на огорчительный инцидент, добрые отношения.

Нину Николаевну Черкасову отчислили (уволили) из Академического театра драмы имени Пушкина (Александринского) по сокращению штатов при жизни (!) Николая Константиновича....

В ответ на эту акцию народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и пяти Сталинских премий, легенда отечественного театра и мирового кино Николай Черкасов положил на стол дирекции заявление и покинул театр, где служил тридцать лет.

Этот поступок всколыхнул театральный Ленинград. Событие, как говорится, из ряда вон.

Впрочем, о завершении театральной карьеры Нины Николаевны Черкасовой можно было и не упоминать, но читатель-то может поверить человеку, близкому к семье.

Откуда знать читателю, что верный себе автор опять «воспарил над реальностью».

XVII.

Еще один эпизод в разговор о том, что интересней, значительней: реальная жизнь или расхожая выдумка.

«Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят» (С. Довлатов. «Соло на IBM. Нью-Йорк. 1979—1990»).

Однажды Борис рассказал мне историю, приключившуюся у него с братом Сергеем. История, как я понимаю, в своем роде эпиграф к будущему сочинению младшего брата.

Дело было летом в Комарове.

На лужайке писательские и околописательские дети, по преимуществу старшеклассники, юноши и девочки, встав в круг, играли в мяч. Борис вдруг почувствовал необходимость уединения. К счастью, на краю лужайки у оврага стоял домик как раз для уединения. Боря нарочно откинул мяч поближе к домику, побежал, вернул мяч в круг, а сам шмыгнул в домик. Уединился. На беду, у дверки не было задвижки, и Боря держал дверь рукой. Он не заметил, как подбежал брат Сережа, дернул

дверь, Боря, не выпустивший дверную ручку, как был, вылетел наружу, представ перед сверстниками и сверстницами в самом жалком виде.

Даже рассказывая, Борис краснел, заново переживая ужас случившегося.

Естественно, сгорая от стыда, он тут же убежал на станцию и уехал в город.

Жестокая история, что называется, врагу не пожелаешь.

Я вспомнил ее, читая рассказ «Мой старший брат»; снова брат оказался в достойном сострадания виде на этот раз перед досужей публикой.

XVIII.

Не стану комментировать рассказ о втором суде над старшим братом Сергея Довлатова, не наберусь смелости комментировать фантастическое в подробностях свидание Бориса Довлатова, заключенного в лагерь «строго режима», с его братом, матерью и женой.

Весело читать, как заключенный посылает охранника за водкой, тот приносит с извинениями за опоздание, потом все пьют чуть не из одной кружки — «зэки, их родные, надзиратели, сверхсрочники. И сам дежурный».

«Жизненно... как в сказке».

Прикольно!

Образ человека, поразительно глухого к чужому горю, лишенного способности к сочувствию и состраданию, эгоиста, выше всего ставящего удовлетворение своих прихотей, удался Сергею Довлатову в рассказе «Мой старший брат» в полной мере.

В письме «реакционному публицисту», издателю газеты «Гражданин» князю В. П. Мещерскому в августе 1871-го граф Л. Н. Толстой отказывается от лестного предложения сотрудничества: «...вы догадываетесь, что я *так* писать не могу — *так,* то есть для каких-нибудь других целей, кроме удовлетворения внутренней потребности».

Нет ни секунды сомнения в том, что рассказ «Мой старший брат» написан не по заказу журнала «Крокодил» для обличения бесшабашных и безответственных молодых людей.

Сергей Довлатов — настоящий писатель, и этот его рассказ удовлетворяет внутреннюю потребность автора...

Какую?

XIX.

Жизнь — сочинитель беспощадный, безжалостный.

Две такие разные жизни — Борис и Сергей Довлатовы.

Когда я спросил женщину, хоронившую Бориса, от чего Борис скончался, она ответила, явно имея в виду и недавнюю смерть Сергея: «Вы же знаете, от чего они умирают...»

Водка. Сергей трезво оценивал опасность и трижды упомянул смерть во время нашего последнего разговора в ателье радио «Свобода». Естественно, я удивился, встретив его там, поскольку не мог связаться ни по пути в Сан-Франциско, ни обратно. Отвечала Лена: «Его нет».

«Что ты от меня прячешься, у меня к тебе дело...»

«Миша, от всех прячусь, кто приезжает из России. Встретились, надо выпить. А мне нельзя, умру».

И на мой вопрос, почему не едешь в Россию, ответ тот же: «Приеду, придется пить, умру». О завещании говорил выше.

Сюжет жизни — разрушение личности.

Разрушение личности в обоих случаях незаурядной, в одном случае еще и духовное, но в обоих физическое.

И в качестве послесловия веселый рассказ «Мой старший брат» — продукт эстетического отношения искусства к действительности.

Вместо послесловия

В 2009 году вышел на экраны и был удостоен Главной премии ММКФ фильм, снятый по моей повести «Петя по дороге в Царствие Небесное». Газета «Культура» опубликовала большое интервью, вынеся в заголовок мои слова: «Я самый плохой зритель этого фильма». Сценарий писал я, а по ходу работы, в выборе исполнителя на главную роль вступил в непримиримый спор с режиссером.

Я знал нашего поселкового божьего человека Петю, знал, как было дело в памятном мне 1952 году.

А режиссер знал, как понравится зрителю.

И судя по «Золотому Георгию» в его руках и аплодисментам жюри и зала на кинофестивале, он был прав, я был не прав.

Режиссер был и опытный, и заслуженный, и в фильме многое удалось, но Петя... Это был не тот Петя Макаров, каким я его запомнил, не чудила не от мира сего, вообразивший себя аж инспектором ГАИ! Были у него в кино и милицейская кубанка, и деревянный пистолет в кобуре на ремне, перепоясавшим ватник. И слова он говорил те, Петины. И влюблен был безответно в поселкового врача красавицу Ирину Константиновну...

Но куда же мне деть память о том, как дело было, каким был живущий милостью и состраданием человеческим, «мой Петя», блаженный из заполярного поселка Нива-III.

«Он больной, понимаете, он больной!..»

«Мне неинтересно снимать про больного», — возражает режиссер.

«Но князь Мышкин тоже больной. Разве он вам не интересен? Болезнь делает Петю беззащитным...»

И я дразнил Петю.

«Петя, а Петя! Дважды-то два много ли будет?»

«А дважды-то два много, пожалуй, и не будет...»

Мне кажется, что я предам не подозревавшего обо мне, двенадцатилетнем пацане, дразнившем Петю Макарова, если соглашусь представить его на потеху римской толпе трогательным обаяшкой...

Мне очень нравится читать рассказы превосходного писателя Сергея Довлатова, когда он пишет о тех, кого я не видел, и о том, чего не было и не могло быть.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ СТРАННИК

Сергей Довлатов — писатель культовый: его поклонникам он дарит не просто эстетические переживания, до которых есть дело лишь сравнительно узкому кругу ценителей изящного, но — уроки жизни. Он создал обаятельнейший об-

раз беспечного странника, который, словно сказочный Иванушка, и в огне не горит, и в воде не тонет. Ведь самое тягостное в реальном мире — это вечная необходимость быть серьезным и предусмотрительным, а Довлатов создал мир, в котором легкомыслие не карается так жестоко, как в реальности. Еще бы нам не любить этот мир и его творца!

Однако люди пишущие прекрасно знают, что из реальности в литературу без целенаправленного, сознательного или бессознательного, художественного преображения не попадает ничто, ни личность, ни творчество. Не только стихи, но и проза растет иногда из удивительного сора, и заслуга художника тем выше, чем более неузнаваемым и совершенным в его творениях предстает этот сор. Из «Эпистолярного романа» — переписки Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым (М., 2001) — художественная лаборатория Довлатова предстает совершенно неожиданной.

В ленинградские годы Игорь Ефимов, по тогдашним меркам вполне успешный писатель, поддерживал абсолютно не признанного официально Довлатова, и тот, естественно, был ему благодарен. Затем в разное время они оба оказались в Америке, и об эмигрантских тяготах и унижениях Ефимов очень откровенно рассказал в своих воспоминаниях «В Новом Свете» (М., 2012). У Довлатова же все, как обычно, выглядело увлекательно и забавно, и эта манера наконец принесла ему заслуженное признание, а сложившаяся иерархия отношений с коллегой начала его тяготить, в результате чего стал нарастать ком взаимных обид. И вот 13 января 1989 года Ефимов пишет Довлатову длиннейшее письмо, в котором помимо чисто бытовых упреков уличает Довлатова в том, что он недолюбливает людей, которые в ладах с собой, с жизнью, друг с другом, и сочиняет о них «сплетни-самоходки» настолько забавные, что их начинают распространять даже те, кто в них не верит.

Но прежде чем расстаться окончательно, Ефимов великодушно признает и большие достоинства обидчика: «Кроме обаяния и одаренности, в Вас привлекает еще одна черта, одна страсть — благородная и бескорыстная, — за которую люди Вам многое прощают: страсть к литературе. И, к Вашей чести, страсть эта остается неудовлетворенной. Ни успехи, ни популярность не ослепляют Вас (хотя и тешат, что вполне простительно). Вы хотели бы писать лучше».

И тут Ефимов предлагает Довлатову рецепт нового творческого рывка: хватит писать про других — напишите наконец про себя. Он предвидит и ответ: как это «не про себя»? — да почти все мои вещи написаны от первого лица, почти все — про себя! И разъясняет свою мысль примерно так: типичные довлатовские персонажи всегда смешные и нелепые, зато живые, а герой-рассказчик не смешон, зато схематичен.

Что же, по мнению Ефимова, сковывает Довлатова? Некий джентльменский кодекс.

«Ваши отношения с людьми полны бурных и неподдельных чувств, но чувства эти гораздо ярче и шире исповедуемого Вами кодекса „джентльменского поведения“, гораздо многообразнее и неуправляемее того, что Вы считали бы достойным, нестыдным, — и Вы отказываете в них своему литературному alter ego. Ваш „я“, Ваш Алиханов, в общем-то, всегда сохраняет достоинство — даже в бедности, в неудачах, в поражениях, в пьянстве он не делает — а главное, не испытывает — ничего, за что человеку могло бы быть по-настоящему стыдно. И поэтому остается скучноватым (даже если попадает в смешное положение), беспорочным (даже если совершает что-то неблаговидное) и неубедительным».

Один из источников обаяния довлатовского alter ego — добродушие, снисходительность. Но Ефимов советует Довлатову разрабатывать ровно противоположную черту — раздражительность.

«Раздражение может дорасти до уровня великой страсти, и оно так же достойно описания, как и всякая другая страсть. Спрашивается: почему же в устном рассказике Вы не боитесь нарисовать себя обуянным этой страстью, а в письменном — не решаетесь? Не потому ли, что в дружеском расположении своих слушателей Вы, как правило, уверены, а невидимым читателям все еще до сих пор, по привычке стараетесь понравиться? Неужели долгий опыт не показал Вам, что понравиться им можно, только вывернув душу наизнанку, а наскучить — очень легко?

Перечтите „Записки из подполья“. Перечтите „Падение“ Камю. Перечтите исповеди Толстого, Руссо, Блаженного Августина. Не для того, чтобы научиться у них каяться (в этом нет никакой нужды), а для того, чтобы дать душе некую раскачку, необходимую для такого резкого и жутковатого оборота».

Переписку мало кто прочтет, поэтому не поскуплюсь на цитаты.

«Вы часто жаловались, что не знаете, о чем писать. Вы устраивали себе игру с разнобуквенными началами слов в одной фразе. Вы не даете жизненным впечатлениям отстояться и спешите их запихнуть в какую-нибудь „Иностранку“, хотя должны были бы уже заметить, что все Ваши лучшие вещи написаны о событиях, отошедших хотя бы лет на пять, на десять назад. Тут же Вы сможете соединить два дела, которые любите больше всего на свете: говорить о себе и создавать хорошую литературу. Только говорить уж придется полную правду. До конца. Придется расстаться с образом „симпатичного и непутевого малого“ — самообольстительная характеристика, включенная в Ваше письмо, — которым Вы тешили себя так долго. Поверьте, никто не видит Вас таким. Все равно спрятаться за этим муляжом так же невозможно, как успеть прикрывать ладошкой испорченный зуб — Ваш трогательный жест, — когда на Вас внезапно нападает приступ смеха».

«Всю жизнь Вы использовали литературу как ширму, как способ казаться. Вы преуспели в этом. Вы достигли уровня Чехонте, Саши Черного, Тэффи, Пантелеймона Романова. Но я чувствую, что Вам этого мало. Вас не устраивает остаться до конца дней „верным литературным Русланом“, который гонит и гонит колонну одних и тех же персонажей по разным строительно-мемориальным (то есть вспоминательным) объектам. Вам хочется большего. И если это так, я не вижу другого способа, как превратить ширму в экран — экран, на который будут спроецированы Ваши настроения. Ваши сильнейшие чувства, какими бы неблаговидными они Вам ни казались.

Олеша прославился повестью „Зависть“. У Вас есть все данные, чтобы написать на том же уровне повесть „Раздражение“. Сюжет даже неважен. Это может быть просто серия портретов людей, сильно задевших вас в жизни. Но не умелые зарисовки с натуры (в этом-то Вы набили руку), а портреты — в буре тех чувств, которые эти люди в Вас вызвали. Мне кажется, можно взять любой персонаж, проходящий сквозной линией через Ваши писания — жену, возлюбленную, сослуживца, начальника, Веру Панову, Грубина, брата и десятки других — и написать про них совершенно по-новому: хронику (до мельчайших деталей) моих (автора) чувств по отношению к ним».

«Я понимаю, что то, к чему я призываю Вас, — не шутка. Я понимаю, что нет ничего проще, как отмахнуться от моих затянувшихся разглагольствований, привычным ходом найти все слабые и смешноватые места в них и быстренько сочинить какую-то отбрехаловку. (Например: „Если ты такой умный, почему же сам не на-

пишешь повесть на уровне «Записок из подполья»?“ Отвечаю: потому что у меня в душе нет — признаю это с завистью и некоторым почтением — таких бурных страстей, и мне приходится подолгу высматривать и выведывать их в других людях). Но мне сдается, что Вам сейчас не до таких простых уловок. 50 лет — какой-то рубеж, на котором многих бросало в нежданный водоворот, переворачивало всю жизнь».

Довлатов сегодня так любим и популярен, что для многих молодых литераторов он являет собою не просто венец, но и чуть ли не конец литературы: будь ироничным, наблюдательным, избегай пафоса, и больше ничего не требуется. Поэтому я хотел бы, чтобы именно молодые прочли и обличения Ефимова, и ответную исповедь Довлатова, отправленную примерно через неделю.

«Я уже писал Вам, что в Вашем письме много справедливого, увы, и даже есть неожиданная для меня (по степени) проницательность, и сначала я решил, что не буду оправдываться, потому что не в состоянии обсуждать собственную личность, да и не так уж я люблю говорить о себе, как Вы считаете, не больше, чем о других, во всяком случае. Но это неважно. Я думал, что могу, то есть, в состоянии не оправдываться, но выяснилось, что по истечении двух суток не проходит тоска, в которую меня повергло Ваше письмо, и, в общем, я решил Вам написать. Не потому, повторяю, что хочу оставить за собой последнее слово, а потому, что надеюсь смягчить некоторые Ваши представления, а некоторые просто уточнить или даже опровергнуть.

...Единственное, с чем я могу согласиться — это моя страшная раздражительность и невоздержанность, которые не полностью, но хоть процентов на 50 связаны с насильственной трезвостью, но с этим я согласен, хотя все-таки надеюсь, что между раздражительностью и ненавистью есть большая разница.

...Что касается деловой части Вашего письма, то если не считать, что Вы написали все это в шутку, то тогда Вы обратились не по адресу: я не обладаю талантом, говорю это, поверьте, без кокетства, чтобы написать психологическую драму и вообще — книгу о внутреннем мире, у меня это не получится, и я даже не возьмусь никогда. Я знаю предел своих способностей, и думаю, что уже сейчас получил за свою литературу больше, чем заслуживаю. Вот уже два года я ничего такого, что увлекло бы меня, не пишу, а до этого два года писал то, что меня в результате не устраивало. К сожалению, я знаю, что способности — это физиология, они могут иссякнуть, отказать, это произошло с неизмеримо более талантливыми, чем я, людьми. Во всяком случае, сейчас я уверен, что ничего хорошего больше не напишу.

Если же напишу то, что меня бы самого устраивало, то, как я понял, могу Вам это показать.

Теперь я перехожу к тому, в чем Вы, к сожалению, правы, но письмо уже сейчас такое длинное, а смысл всего этого мне как-то все менее ясен, так что постараюсь, чтоб было не очень длинно.

...Правы Вы и в том, что я не люблю людей, которые „в ладах с собой, с жизнью, друг с другом“, вернее — не „не люблю“, а просто я завидую им, потому что сам я никогда ни с чем в ладах не был, но при этом хотел бы быть и веселым, и успешным, и вообще, быть похожим на Аксенова. Зависть, как известно, не очень-то побуждает к добру. Вы правы, что я неудачник, и это даже не связано с конкретными обстоятельствами, не всегда плохими, потому что „неудачник“ — это такое же врожденное качество, как рост или цвет волос — кому надо, тот всегда и во всем неудачник.

Вы правы и в том, что моими друзьями всегда в конце концов становились люди слабые и неудачливые, и хотя в этом смысле у меня есть знаменитый предшествен-

ник, „тот самый малый из Назарета“, но я, конечно, шучу, потому что всю жизнь мне, действительно, естественно жилось лишь в атмосфере неудачи, что и подтвердилось в результате конкретными обстоятельствами — разочарование в своих творческих возможностях, проблемы со здоровьем (увидите меня на радио — все поймете) и довольно-таки мрачный, боюсь, остаток жизни впереди. Никогда мне не дано было ощутить довольства собой или жизнью, никогда я не мог произвести впечатление человека, у которого все хорошо, к которому стоит тянуться, который располагает к себе именно своей успешностью, для простоты — тот же Аксенов. Все это может быть связано у меня с какими-то детскими душевными травмами — Ася, плюс мечты о героизме при полном расхождении с возможностями по этой части, и так далее. Есть и много такого, чего Вы, при всей Вашей проницательности, просто не знаете, и это „много такого“ — не в мою пользу.

Справедливо и то, что по натуре я очернитель, как бы я ни старался представить этот порок — творческим занятием, но это — правда.

Правы Вы и в том пункте, в котором проявили наибольшую степень проницательности. Вы пишете, и это, может быть, гораздо умнее, чем Вы думаете, и имеет отношение не только ко мне, но и к литературе вообще, и даже во многих случаях объясняет эту литературу, потому что очень часто, чаще, чем кажется, писатель старается не раскрыть, а скрыть, я говорю о Вашей фразе:

„Всю жизнь Вы использовали литературу как ширму, как способ казаться“. Это правда. Все мое существование сопровождается проблемой „быть-казаться“, и Вы даже не можете себе представить, до каких пошлых и невероятных вещей я доходил в этом смысле. Суть в том, что мне не дано быть таким, как я хочу, выглядеть так, как я хочу, и вообще, соответствовать тем представлениям о человеке достойном, которые у меня выработались под влиянием литературы Чехова и Зощенко. Я никогда не буду таким, как люди, нравящиеся мне, а притвориться таким человеком нельзя, я это знаю, что не является гарантией того, что я не буду притворяться всю свою жизнь.

Вот так. Не уверен, что все это писание мое имеет какой-то смысл, но отправить его я все же намерен. Не удивляйтесь, если к концу чтения перестанете понимать, зачем все это написано. Я сам перестал понимать. Написано от тоски».

Скажите, эта исповедь возвысила или уронила Довлатова в ваших глазах? В моих — чрезвычайно возвысила, превратив непутевого, но симпатичного малого в глубокую трагическую личность. И как жаль, что он не успел или не сумел раскрыть ее в прозе.

Да, дело искусства не только раскрывать, но и скрывать от нас ужас и безобразие реальности, — не пряча, но преображая страшное в красивое, а противное в забавное. Красота — это жемчужина, которой душа укрывает раненое место, и если под ней нет подлинной раны, не будет и подлинной красоты.

Александр МЕЛИХОВ

К 135-летию Михаила Булгакова

Павел РЫЖКОВ

«ОЧЕНЬ ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

О некоторых реминисценциях в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Вчитаемся в два особо выделенных слова из произведений Михаила Булгакова. Одно — из фельетона «Сверхъестественный мальчик», включающегося далеко не во все сборники и малоизвестного даже среди ценителей; другое — из хрестоматийного «Собачьего сердца». В фельетоне упомянутый мальчик не творит, как можно было бы предположить, никакой чертовщины. Он не похож на всепроникающих братьев Кальсонеров («Дьяволиада»), висельника Коровьева и прочую булгаковскую нечисть. Он... идет в школу «у-ч-и-т-ь-с-я» (чем и притягивает внимание «ошеломленных граждан мужского и женского пола», а также «вереницы пустых извозчиков»). А в повести важное для нас слово исходит от профессора Филиппа Филиппыча (кстати, это имя-отчество, двукратно утверждающее любовь к лошадям, — уж не намек ли на свифтовского доктора Лемюэля Гулливера, очарованного разумными лошадьми и притом удрученного расчеловеченными «еху»?..). Он, Ф. Ф. Преображенский, ставит диагноз, впоследствии оказавшийся ошибочным, псу Шарику : о ч е л о в е ч е н и е. Слово это еще и троекратно подчеркнуто рукой доктора Борменталя. Дело в том, что для Михаила Булгакова учение и означает очеловечение. Недаром в рассказе «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна» одна из персонажей — жительница квартиры № 50 Аннушка по прозвищу Чума (да-да, знакомые имя и прозвище!), по крайней темноте своей устроив колоссальный пожар, «отчетливо помыслила в первый раз в жизни»: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...»

Писатель Михаил Булгаков такое право имел.

«Внимательное чтение дает больше для понимания личности писателя, чем знание его биографии, потому что в биографии отражается то, чем он похож на все остальное человечество, а в его искусстве — то, чем он непохож», — советовал Ве-

---

Павел Александрович Рыжков родился в 1975 году в Курске. Окончил филологический факультет Курского государственного педагогического университета. Работал учителем русского языка и литературы, корреспондентом местных газет, ныне заведующий Центром краеведческой информации Центральной городской библиотеки им. Ф. А. Семенова. Первая публикация — перевод стихотворения Э.-А. По «Ворон» в издании курских творческих союзов «Толока» (2001). Соавтор документальных книг «Курская битва. Пятьдесят дней и ночей» (2015), «Хранитель русского духа и мужества» (2021). Награжден памятной медалью «За особый вклад в книжное дело» (2016). Лауреат премий им. В. В. Овечкина и им. К. Д. Воробьева, конкурса Государственного академического Малого театра «Мировая — Мировая. 1914—1945».

ниамин Каверин (который еще в 1962 году печатно заявил о существовании романа, едва ли имеющего равных себе во всей мировой литературе) в эссе «Сны наяву», посвященном Булгакову. Недаром для него, Булгакова, самое заветное желание, буквально дороже брюк, — «золотообрезный Гоголь» («Похождения Чичикова»), а«Саардамский Плотник» и «Капитанская Дочка» (именно так, вопреки русской грамматике!) — символы Семьи и Мира в кровавом 1918-м.

Недаром даже в разносе, учиненном в письме Булгакову редактором серии «Жизнь замечательных людей» Александром Тихоновым (по поводу так и не вышедшего тогда в свет «Мольера»), тот все же признает, что его адресат — «специалист» и «знаток».

И недаром 6 ноября 1923 года Булгаков в дневнике заклинал сам себя: «Я буду учиться теперь», «Посмотрим и будем учиться...». Такова и мораль раннего (из «Записок юного врача») рассказа «Пропавший глаз»: «Нужно покорно учиться». Однажды он сравнил с «лестницей в рай» (в одноименном фельетоне) скользкие ступеньки одной из московских библиотек. И сам, в отличие от своего персонажа М. А. Берлиоза (который «хоть что-то читал»), в «дебрях» знаний не поскользнулся и шеи не свернул. А мог такое, согласно тексту «Мастера и Маргариты», лишь «очень образованный человек»...

1.

Сочинения Владимира Гиляровского, патриарха московских репортеров, не могли не служить в начале 20-х для его младшего коллеги-газетчика Михаила Булгакова своеобразным учебным пособием. В 1931 году вторым изданием вышли легендарные воспоминания Гиляровского «Москва и москвичи». В главе «Под каланчой» бывалый «дядя Гиляй» вспоминает о таинственном главаре действовавшей некогда в Москве шайки «червонных валетов»: этот главарь имел «профессорский вид» и, несмотря на все старания московских правоохранительных органов, исчез «навеки неведомо куда». Чем не прототип Воланда? А вот еще одно происшествие из копилки Гиляровского, на котором могло задержаться внимание Булгакова. Однажды московским пожарным пришлось выезжать на борьбу с огнем... в театральном гриме. Этот нелепый вид объяснялся тем, что начальство, распоряжавшееся пожарными, по едкому замечанию Владимира Алексеевича, как крепостными, предоставляло огнеборцев театральным антрепренерам в качестве статистов на спектаклях. Из-за такой сделки москвичам явилось поистине адское видение: «весь красный, с красным хвостом и красными руками» верховой, «красные черти» и «черные дьяволы» на длинных дрогах, «черный дьявол с пылающим факелом» смели отдыхавшую публику с дорожек парка. У М. Булгакова в 28-й главе «Мастера и Маргариты» «по асфальтовым дорожкам» также бегут, напуганные нечистой силой, праздные посетители ресторана. Видимо, не так уж и выдумывал себе подвиги инфернальный гаер Коровьев, когда хвалился, что «помогал пожарным»... Вернемся чуть назад, в конец главы 27 («Конец квартиры № 50»). Силуэты Воланда и его свиты вылетают из горящего здания «вместе с дымом» под «колокольные» (речь идет о колоколах пожарной охраны, но в данном случае выходит едкий каламбур) удары на «красных длинных машинах». Были дроги, стали автомобили — «аппаратура» изменилась, но суть осталась... Вернемся к воспоминаниям В. Гиляровского: «На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде». Соответствие этим реальным разговорам встречаем в романе М. Булгакова: «В городе... возникали и расплывались совершенно невозможные слухи...» — сообщает глава 27, а в эпилоге романист излагает тот же «факт» несколько иными словами: «...по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов...»

В сборнике воспоминаний «Друзья и встречи» (1934) В. Гиляровский передает другую каламбурную историю. Возвращаясь с ночного пожара (опять с пожара!), «дядя Гиляй» встречает своего знакомого... возле бульварчика Патриарших прудов. Знакомый, пригласив уставшего коллегу на чай, дает указание местному дворнику: «Да тут около пруда разносчик с грешниками стоит, купи у него десяточек...» Для современного читателя стоит отметить, что под грешниками здесь подразумеваются гречневые пирожки. Тем временем Гиляровского услышанное навело на размышления: «Грешники и Патриарший пруд! Это почище „развесистой клюквы“, думаю...» А как этот каламбур журналисту удалось монетизировать, читатели книги уже успели узнать: ранее, в главе «Друзей и встреч», посвященной памяти А. П. Чехова, сообщается: «Купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали и написали сценку „Грешники в Патриаршем пруде“». Правда, один из булгаковских «грешников», Иван Бездомный, оказывается не в пруду, а в Москве-реке, но преемственность налицо.

2.

Но если с наследием выдающегося мастера репортажа Михаил Булгаков не мог не быть знакомым, то каким чудом перетекают друг в друга Патриаршие пруды и безвестный водоем из сказки Оскара Уайльда «Преданный друг», где обитает осведомленная в литературной моде Водяная Крыса?.. «Нынче каждый порядочный рассказчик начинает с конца, потом переходит к началу и кончает серединой. Это самая новая метода. Так сказывал один критик, который гулял на днях возле нашего пруда с каким-то молодым человеком. Он долго рассуждал на эту тему и, бесспорно, был прав, потому что у него была лысая голова и синие очки на носу, и стоило только юноше что-нибудь возразить, как он кричал ему: „Гиль!“» (Оскар Уайльд. Избранное. М.: Просвещение, 1990, перевод Ю. Кагарлицкого). В английском первоисточнике последнее слово звучит как «pooh», и буквальным переводом будет просто «фу», но Ю. Кагарлицкий своим «гиль» словно протягивает мостик к бессмертной комедии А. С. Грибоедова: «Да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль». Но как Михаил Булгаков мог познакомиться с этими лысым и очкастым критиком и молодым поэтом, если в первом переводе И. Сахарова (вышедшем в 1908 году) наблюдения Водяной Крысы просто выброшены?.. Да и вообще, хотя «Преданный друг» — это глубокомысленная «история о лицемерии ходячей морали, о жестокосердии и самоотдаче, о неспособности большинства отличить правду от умело преподнесенной лжи» (по определению того же Ю. Кагарлицкого), но Михаила Булгакова в наследии Оскара Уайльда с гораздо большей вероятностью заинтересовал бы не сборник сказок, а, конечно, «Портрет Дориана Грэя» с его мистицизмом и поднятыми проблемами творчества, бессмертия и платы за него. И все-таки попробуем найти в мировой литературе третье художественное произведение, где фигурировали бы критик и поэт на пруду, — такового нет! А значит, совершенно случайно упомянутые Уайльдом литераторы пока неизвестным путем «переплыли» из английского пруда в советский, и этот путь еще требует своих исследователей.

3.

Обоих «грешников» с Патриарших, хотя они вроде бы и атеисты (в чем признаются сами — причем признаются... черту), нельзя не заподозрить в особых отношениях с чертом — не конкретно с Воландом, а с чертом как таковым. Ведь и Берлиоз,

и Бездомный поминают нечистого слишком уж часто, как никакие другие действующие лица романа. «Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...», «Фу ты черт!», «А какого черта ему надо?» «Вот черт его возьми! А?» «Черт, слышал все...» — таковы мысли и слова этой пары литераторов, родившиеся в продолжение всего лишь нескольких минут и одной (первой) главы. Нельзя отрицать, что Михаил Булгаков за те несколько лет, что он работал над «последним закатным» романом, стал подлинным «специалистом по черной магии», со столь же высокой квалификацией, как и созданный его же воображением «профессор» Воланд. И едва ли для Михаила Афанасьевича осталась незамеченной новелла Эдгара По с броским названием «Не закладывай черту своей головы (Рассказ с моралью)». На русском языке она впервые вышла в 1885 году. Героя этого произведения с младенчества порола мать-левша — «а детей лучше вовсе не пороть, чем пороть слева», полагает рассказчик: «ничего хорошего из этого не выйдет». Не правда ли, эта «истина», несмотря на пародийный характер, перекликается с вполне серьезным убеждением Михаила Булгакова о вреде всякого террора, в том числе и «левого». Также в своей новелле По упоминает пантеизм «мистера Канта» (того, которого, согласно Ивану Бездомному, надо бы на Соловки). Еще одна реплика рассказчика — яркая иллюстрация пути, что привел Бездомного в сумасшедший дом: «Тайна заставляет человека думать — а это вредно для здоровья». Но главное, в новелле есть, по сути, буквальные переклички с некоторыми эпизодами романа Булгакова!

«В один прекрасный день, взявшись под руки, мы отправились с ним прогуляться к реке» — такими словами Э. По приводит свое повествование к кульминации. Там, у водоема, путь героям «преграждает довольно высокая калитка в виде вертушки». И тогда герой новеллы, мистер Тоби Накойчерт (эта фамилия, конечно, при переводе скалькирована на русский язык) собирается перепрыгнуть через эту преграду, сопровождая намерение привычной для себя фразой: пусть черт возьмет его голову. (И Накойчерт, и Берлиоз, по мнению своих спутников, вообще отличались болтливостью.) Тогда-то свое присутствие на водоеме обнаруживает некий «хромой» (как и булгаковский «иностранец», хотя на Патриарших ему как раз удается не хромать) господин. Он издевательски пожимает руку будущей жертве (ср.: «Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку...»), глядит в небо и усмехается. Заключительная же часть истории Накойчерта, потерявшего голову, больше напоминает злоключения Жоржа Бенгальского, «казнимого страшною казнью» («Одиссея» Гомера в переводе В. А. Жуковского). Голова конферансье театра Варьете, будучи оторванной котом Бегемотом, хрипит: «Доктора!», а обезглавленного Накойчерта рассказчик сам отводит к... гомеопатам.

Заметим, что американский дьявол обходится без помощников, возлагая на себя функции свиты Воланда — «регента» и кота: сам указывает сквернослову гибельный путь под счет «Раз, два, три — пошли!» (вспомним «Эйн, цвей, дрей» Коровьева), сам же и похищает голову, отрезанную «железной полосой». За столетие, протекшее с потери головы мистером Накойчертом, на земле появилась разнообразная «аппаратура», в том числе и трамваи, особо упомянутые Воландом в его размышлениях на сцене театра Варьете. Но «изменились ли» люди, призывающие черта, «внутренне»?..

4.

А вот второй богохульник на пруду, Иван Понырев, после встречи с чертом сохранил голову на плечах, но не разум. А предшественник в литературе, причем оте-

чественной, был и у него. Как и у палатки, где продавщица отпускает «абрикосовую, только теплую».

Иван Бескрайний — второстепенный персонаж нашумевшей в свое время (1909 год) трагедии Леонида Андреева «Анатэма». Этот искаженный вариант греческого слова «анафема», которое является переводом еврейского «херем», означает нечто проклятое, отверженное людьми и обреченное уничтожению. И это же слово является именем главного героя пьесы. Сам себя тот характеризует примечательно: «веселый дьявол». В картине первой Анатэма хвалится, что ему ведомы законы чисел и открыта книга судеб, — и действительно, предсказывая будущее человека, которого выбрал жертвой, он произносит загадочное «шесть, восемь, двадцать» (не так же ли ведет себя Воланд по отношению к Берлиозу?!). Что до Ивана Бескрайнего, с этим продавцом воды зрители и читатели знакомятся в обстановке второй картины, до мелочей напоминающей «час небывало жаркого заката» «в Москве, на Патриарших прудах». (Стоит отметить, что возгласы продавцов воды слышит и Понтий Пилат в романе мастера.) В ремарках Л. Андреева навязчиво повторяется: «Солнце жжет беспощадно», «беспощадно жжет солнце». Однако у лавчонок, где торгуют содовой и сельтерской, безлюдно: «Солнце сожгло покупателей», — обреченно констатирует Иван Бескрайний над своим товаром, неизбежно теплеющим, как абрикосовая у его коллеги с Патриарших. Но вот в адской жаре появляется... нет, не «первый человек» (см. главу 1 булгаковского романа — «Никогда не разговаривайте с неизвестными»), но тот, кому, согласно христианской традиции, эта жара и уготована в вечности. И Анатэма, и Воланд высоки, смуглы, одеты в дорогие костюмы и носят перчатки, «несмотря на жару». Последняя ремарка из пьесы Л. Андреева отзывается у М. Булгакова словами Ивана Бездомного: «...ишь, и не жарко ему в перчатках». Иван Бескрайний, бедняк, все имущество которого состоит из маленькой лавчонки, пытается убедить потенциальных покупателей, что торгует «настоящим боярским квасом». Но этот напиток, как подмечает соседка-торговка, «могут пить лишь бешеные собаки». Это игра слов, не единственная в данной картине пьесы: как известно, собаки, как и любые другие теплокровные существа, больные бешенством, пить не могут вообще. Зато на Патриарших «обильная пена», которую дала абрикосовая, на икающих устах Ивана Бездомного и его спутника роднит обоих литераторов именно с бешеными животными — или взбесившимися людьми... «Несть Бога, рече безумец в сердце своем...»

За постановку спектакля по пьесе «Анатэма» сразу после ее создания взялся в том же 1909 году выдающийся режиссер, сооснователь МХТ Владимир Немирович-Данченко. Но 89 репетиций — и... всего 38 спектаклей, пусть и успевших поднять на новую вершину популярности актера Василия Качалова. («К. создал трагический образ современного Мефистофеля — Анатэмы, полный беспощадного сарказма и разрушительного пафоса», — восхищалась даже советская, а стало быть, материалистическая Театральная энциклопедия.) Такова незавидная судьба этой работы. Напоминает запрещение уже в 20—30-е годы пьес самого Булгакова, порой и вовсе накануне премьеры. Сам Владимир Иванович в своих воспоминаниях «Рождение театра» подробно рассказывает о злоключениях «Анатэмы». Причиной запрета (кстати, в то время, кроме светской цензуры, имелась и духовная) стал донос неизвестного на имя самого председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. (Учитывая бешеную зрительскую популярность новинки, нельзя исключать, что кляуза исходила от кого-то из театральных деятелей Москвы, завидующих успеху и сборам МХТ.) Режиссеру и актерам вменялось в вину, что актер А. Вишневский, исполнитель роли Давида Лейзера, обманутого сатаной, якобы загримирован под

Иисуса Христа. И хотя это утверждение было лживым (что подтверждают и имеющиеся фотографии Вишневского в гриме), а Немирович-Данченко убедительно доказывал свою невиновность в «богохульстве», запрет все же был наложен. Следом «Анатэму» сняли из репертуара и остальные театры, взявшиеся за пьесу Андреева, в том числе и киевский, где спектакль, несомненно, мог бы видеть 18-летний будущий автор «Мастера и Маргариты». Хотя он был моложе Андреева всего на 20 лет, творил уже в совсем иную эпоху, когда богохульство в литературе и на подмостках считалось уже признаком хорошего тона (недаром среди членов МАССОЛИТа есть некий «Богохульский» — не то фамилия, не то псевдоним). А вот страсть к доносительству не только не исчезла, но и расцвела еще пышнее. Но если МХТ пытались уличить в насмешке над Сыном Божьим, то мастера, автора романа об Иешуа обвиняют в прямо противоположном — в попытке «протащить» в соетскую печать «апологию Иисуса Христа». Изменились ли москвичи внутренне с 1909-го до 1929 года?.. Нет, все та же черная зависть, фарисейство и доносительство...

5.

Предположив, что юноша Булгаков мог видеть постановку «Анатэмы», с еще большей уверенностью можно говорить, что он страстно стремился услышать оперу «Фауст», не раз отозвавшуюся потом теми или иными мотивами в его произведениях. Речь может идти даже о двух «Фаустах»: кроме Шарля Гуно, образ сатаны вдохновил также итальянского композитора Арриго Бойто. И в обоих случаях в заглавной партии годами блистал... Стравинский. Нет, не Игорь (великий композитор никогда не пел, в отличие от младшего брата Гурия), а его отец — Федор Игнатьевич. Критик Эдуард Старк, автор монографии о Ф. И. Стравинском, называл его самой яркой удачей именно роли Мефистофеля в операх Гуно и Бойто. И сам Федор Шаляпин, правда, не достигший еще привычного нам уровня обожания, однажды услышал от театрального руководства отповедь на свое предложение разнообразить костюм и грим нечистого духа: «Эту роль у нас Стравинский играет и доволен тем, что дают ему надеть, а ты кто такой?» Так что в проницательном главвраче психиатрической клиники, несомненно, есть нечто мефистофельское...

6.

В исследовательской литературе о Михаиле Булгакове неоднократно отмечалось, что фамилия одного из самых колоритных персонажей «Мастера и Маргариты» Коровьев (точнее, «ну, скажем, Коровьев» — право, домкому Никанору Ивановичу стоило бы насторожиться этим «ну, скажем»!) родственна фамилии статского советника Теляева — персонажа повести графа А. К. Толстого «Упырь». В «Театральном романе» главный герой и повествователь Максудов упоминает «Алексея Константиновича, известного писателя». Его наследие автор комедии «Иван Васильевич» изучал с тщательностью вряд ли меньшей, чем Жорж Милославский, который заучивал толстовские стихи прямо на «рабочем месте» — в обкрадываемой квартире Шпака.

Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати —
Знать не может председатель
Комитета о печати.

Ограничивать так смело
Всесторонность Божьей власти —
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти!
Ведь подобные примеры
Подавать — неосторожно,
И тебя за скудость веры
В Соловки сослать бы можно!

Это вовсе не черновики первой главы «Мастера и Маргариты», не смешные стихи, легко рождавшиеся у Булгакова, вроде «Его превосходительство / Любил домашних птиц...». И упомянутый председатель Миша — не Берлиоз. Перед нами строки из «Послания к М. Н. Лонгинову о дарвинисме», написанного А. К. Толстым в 1872 году. Но ведь это по указке Берлиоза девственно невежественный Бездомный «ограничивает» Божий промысел, спеша провозгласить перед идеологическим противником в лице «иностранца», что, мол, человек сам управляет своей жизнью «и вообще всем распорядком на земле». Ситуация на Патриарших пародийна тексту «Послания...»: именно «скудость веры» Бездомного, точнее, его «атеизм» рождает одиозное предложение поэта «в Соловки сослать»... покойного Иммануила Канта. (Кстати, слово «Соловки» бытовало в квартире Булгаковых на Большой Пироговской: так именовалось... решето, которое ставили на гардероб для кошки.) Отражение богословского спора 1872 года в кривом зеркале года 1929-го (к которому часть булгаковедов относят время действия романа) не могло не привести в восторг Воланда. Ведь он, как и Анатэма, — веселый дьявол...

Алексей Толстой был и одним из соавторов легендарного образа Козьмы Пруткова, а также его «родственников». В «Церемониале погребения тела в бозе усопшего поручика и кавалера Фаддея Козьмича П...», кстати, при жизни Толстого не прошедшем цензуру и полностью опубликованном лишь в 1922 году — уже при Булгакове-журналисте, идейные предки М. А. Берлиоза уверяют:

Кто умрет,
Тот весь обращается в кислород.

Но Воланд, издевательски беседуя на балу с отрезанной головой Берлиоза, заменяет кислород золой, более подобающим атрибутом сатаны: «Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие».

7.

Из дневника М. Булгакова «Под пятой» (запись 5 января 1926 года, незадолго до Рождества Христова): «Когда я бегло проглядел... номера „Безбожника“, был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, ее можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Не трудно понять, чья это работа». Один из постоянных авторов упомянутого журнала, органа Союза воинствующих безбожников, видный деятель ВКП(б) Емельян Ярославский опубликовал там... «Библию для верующих и неверующих», псевдонаучное сочинение, в котором глу-

мился над Священным Писанием.«В поповском библейском учении говорится, что волос с головы человеческой и кирпич с карниза не упадет без воли на то божьей. <...> Если же кирпич с карниза упадет кому-нибудь на голову, то хотя без воли божией он как будто и не мог упасть, но я еще не встречал таких людей, которые стали бы винить в этом бога, а всегда винят домохозяина, который вовремя не произвел ремонта», — остроумничает Е. Ярославский. Ныне едва ли не любой русский читатель при этих словах вспомнит: «Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич...»

Да, словно на потеху насмешнику-сатане Берлиоз, допуская, что его планам на вечер может что-либо помешать, говорит именно о падении кирпича. А в его пропащей голове виновником такого происшествия, видимо, и в самом деле мыслится некий плохой домохозяин (тот же Никанор Иванович Босой). К слову, булгаковский шифр легко взламывается (как, очевидно, и задумано), в фигуре Берлиоза исследователи давно увидели соответствие с «литературным гангстером» (по определению поэта Николая Асеева) Леопольдом Авербахом — председателем Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) и одним из самых лютых гонителей Булгакова. Сам Максим Горький в письме к «еще более самому» Иосифу Сталину от 25 января 1932 года жалел Авербаха: «Он очень перегружен работой, у него невроз сердца и отчаянная неврастения на почве переутомления. <...> Нельзя ли ему дать отпуск месяца на два, до Мая? В Мае у него начинается большая работа, большая работа по съезду писателей». Так и вспоминаются вылетевшие из-под булгаковского пера спутанные мысли председателя МАССОЛИТа Берлиоза в мае, накануне «большой работы»: «Сердце шалит... я переутомился... бросить все к черту и в Кисловодск». Но — подлетает предсказанный тем самым чертом трамвай...

Кстати, о трамвае и о необычной телеграмме в Киев дядьке, в которой Берлиоз, якобы сам, сообщает, что его только что зарезало. Именно такими жуткими подробностями реально сопровождались в 1922 году последние часы давно забытого Сергея Садикова, лидера еще одной литературной группировки — ничевоков. Все его сочинения утеряны, но не может не бросаться в глаза тот факт, что в этом числе была и поэма под названием «Евангелие рук». Совершенно исключено, чтобы она имела благоговейно-религиозное содержание: конечно же, дело обстояло наоборот. Тем не менее современники отзывались о ней как о вещи талантливой. Примерно так же обстояло дело с еще одной канувшей в Лету поэмой — той, которую написал Иван Бездомный. А Сергей Садиков, будучи действительно зарезан трамваем (правда, не московским, а петроградским), прожил еще некоторое время (хотя возможности извлечь его не было) и смог продиктовать окружающим не то телеграммы, не то телефонограммы по ряду адресов — о своей собственной гибели... Кто же сохранил воспоминания о трагедии? Поэт Иван Грузинов, чьи стихи возьмется читать едва ли кто-либо из сегодняшних россиян. Куда занятнее факт, что этот литератор однажды объявил себя... Христом. От фамилии Грузинов, по правилам все того же булгаковского эзопова языка, вполне мог произойти Русаков — юный поэт-кощунник по имени Иван из романа «Белая гвардия» и, разумеется, своеобразный предшественник Ивана Бездомного (как тот находится под губительным воздействием Михаила Берлиоза, так Ивана Русакова толкает на путь богохульства другой Михаил — Шполянский).

Нетрудно вычислить и прототип поэта-халтурщика Александра Рюхина. Странно было встретить в одном из исследовательских материалов предположение, что это Владимир Маяковский (фигура, безусловно уважаемая Михаилом Булгаковым,

что заметно хотя бы по его задумчивому лицу на фотоснимке, сделанном на похоронах поэта-самоубийцы). А ведь рюхи — это подвижная игра, построенная на выбивании костей меткими ударами, и ее ближайшим аналогом являются городки. Городецкий!

В прошлом поэт-акмеист Серебряного века «отмежевался» от этой эпохи настолько, что дошел до рифмованных приветствий партсъездам. Поистине «взвейтесь да развейтесь!», как пародирует писания Рюхина Иван Бездомный. А вот любопытная характеристика: «Человек с монархическим прошлым, дрянь и бездарность, махровый приспособленец». Это не черновик упомянутых слов Бездомного в клинике Стравинского, это наблюдения литератора В. Полонского. Но сразу вспоминаются и «типичный кулачок», и «балбес и бездарность». Сотрудничал Городецкий и в упомянутом «Безбожнике» Е. Ярославского. Едва ли в жизни Сергей Митрофанович именовал Жоржа Дантеса белогвардейцем, зато дантесовский выстрел в Пушкина он и впрямь называл сообразно советской риторике — «провокаторским». Но в жизни как раз сам Городецкий поступил именно провокаторски по отношению к Булгакову, сознательно перекрыл путь на сцену Большого театра опере «Минин и Пожарский» по либретто, написанному Михаилом Афанасьевичем в 1936 — 1938 годах в надежде хоть какого-то литературного заработка. Когда «Минина» уже разучивал дирижер, вдруг, словно чертик из табакерки, в Главреперткоме выскочил Городецкий с новым, идеологически выверенным текстом для хрестоматийного «Ивана Сусанина» М. И. Глинки. Вместо жизни, отданной за царя, возникла жизнь, отданная за народ, и т. д. А ведь в истории остался иной поступок, связанный с этим названием. В 1836 году, за столетие до выходки Городецкого, композитор и директор оперных императорских оркестров Катерино Кавос убрал из афиши Большого театра собственного «Сусанина», признавая творческую победу Михаила Глинки! Над «революционным» либретто Городецкого иронизировал в фельетоне «Нюрнбергские мастера пения» Евгений Петров, работавший с Булгаковым в одной редакции «Гудка»:

«Вы знаете, С. Городецкий написал к „Мейстерзингерам“ новый текст! Ей-богу! Даже в программах написано: „Новый текст С. Городецкого“.

Текста, правда, ни один человек в театре не расслышал, но все-таки льстило сознание, что поют не плохой, старорежимный текст, а новый, вероятно, хороший и, вероятно, революционный».

Но самое поразительное, что немногим ранее злонамеренного поступка С. Городецкого, в сентябре 1936 года, к Булгакову обратился композитор Сергей Потоцкий с просьбой «улучшить» либретто все того же Городецкого (в соавторстве с С. П. Юдиным — оперным певцом и режиссером) к опере «Прорыв» о событиях Гражданской войны. По замечанию булгаковеда Н. Шафера, писатель «отказался переделывать либретто под предлогом, что он не привык коллективно трудиться и тем более вмешиваться в чужую работу». Сразу вспоминается возглас несравненного Шпака: «Я на вас жалобу подам... коллективную!» Правда, в тексте пьесы «Иван Васильевич» реплика персонажа звучит менее комично: «Мы на вас коллективную жалобу подадим!» Но сценаристу фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Владлену Бахнову, несомненно, удалось сделать булгаковский текст еще более булгаковским.

...Да, много еще загадок таят строки романа «Мастер и Маргарита». Даже внимательному читателю стоит применить к себе слова автора: «То, что он видел в верхнем этаже, было не все и далеко еще не все». Но на все возникающие вопросы исследователям не ответить и до следующей юбилейной булгаковской даты. А пока — со 135-летием со дня рождения!



Территория памяти

К 100-летию Бориса Егорова

Анатолий СОБЕННИКОВ

«АКАДЕМИК» И ПОЭТ
(Б. Ф. Егоров о Б. Чичибабине)

Борис Федорович Егоров, выдающийся филолог, культуролог, историк, в представлении не нуждается. Особенно в Санкт-Петербурге, где он окончил филологический факультет ЛГУ, работал на кафедре в университете, позже в Педагогическом институте им. А. И. Герцена. Огромна его роль в становлении Тартуской семиотической школы; в Тартуском университете он заведовал кафедрой, дружил с М. Ю. Лотманом и З. Г. Минц. Но рамки филологии ему казались узкими, в 1978—1993 годах он — главный научный сотрудник Ленинградского (Санкт-Петербургского) отделения Института истории СССР, впоследствии главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института социологии РАН. В Википедии можно найти подробный перечень его мест службы, список основных научных работ.

Но мы хотели бы остановиться на частном эпизоде его биографии, на работах о харьковском поэте Борисе Чичибабине. Вектор интереса — духовная жизнь. В ан-

Анатолий Самуилович Собенников — доктор филологических наук, профессор. Родился в 1952 году в селе Хоринске Бурятской АССР. Окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета (1974), аспирантуру Томского госуниверситета (1985). Автор литературоведческих статей и монографий, сборников стихов «Свет» (Иркутск, 1999), «Sic transit» (Иркутск, 2002), «Помедли, время» (Иркутск, 2010), критических статей. Публиковался в журналах «Русская литература», «Вестник Московского университета. Серия „Филология“», «Байкал», «Сибирские огни», «Сибирь», «Сибирском филологическом журнале», в альманахах «Зеленая лампа», «Иркутское время». Работы опубликованы в Болгарии, Германии, Канаде, Польше, США. В апреле 2024 года вышла монография «Мифы русской литературы: история, поэт, Россия, народ» (СПб.: ООО «Издательство „Росток“», 2024).

кете журнала «Вопросы литературы» 16 ноября 1999 года он, отвечая на вопрос: «Ваш взгляд на собственный творческий путь?», написал: «Так как я интенсивно выбирал свой путь, то считаю выбор верным; приведись прожить жизнь заново — шел бы по той же дороге»[1]. Думается, и Чичибабин ответил бы на этот вопрос так же. В ответе на вопрос «Семейное воспитание» писал: «...сильное в нравственном (внедрение народной, т. е. христианской, этики)»[2]. Однако, и ценностный мир Б. Чичибабина вырос из христианской этики. Она сближала ученого и поэта. Христианская система ценностей — общий фундамент. Общее — и поэзия как вид творчества, как откровение. «Поэзия нужна тем, кто без нее не может жить. Таких людей всегда будет очень и очень мало — во все времена. И сейчас я думаю: слава богу, что это так. Было бы ужасно, если бы поэзию любили, как футбол или песни Аллы Пугачевой»[3], — говорил Б. Чичибабин. Думаю, что под этими словами подписался бы и Б. Ф. Егоров.

Распад государства СССР, рост национального самосознания в бывших союзных республиках, появление новых элит, обнищание миллионов людей вели к обострению трагедийного мироощущения у многих творческих людей. У каждого настоящего читателя настоящей поэзии есть свои имена духовных братьев и сестер. Не случайно, очевидно, в это время у Б. Ф. Егорова пробуждается интерес именно к трагедийным поэтам эпохи: А. Кочеткову, Ю. Кузнецову, Б. Чичибабину. Борис Чичибабин оказался в центре этого интереса[4].

К сожалению, личная встреча поэта и ученого так и не состоялась. Уже после смерти Чичибабина весной 2004 года Б. Ф. Егоров побывал в Харькове, познакомился с вдовой поэта Лилией Семеновной Карась-Чичибабиной[5]. С 2012-го по 2016 год он принял участие в Чичибабинских чтениях в Харькове и в Международных Крымских чтениях, инициировал издание стихов поэта в Литературных памятниках[6], опубликовал монографию[7].

Одна из первых «чичибабинских» публикаций была посвящена раннему творчеству поэта[8]. Вдова поделилась с Егоровым копиями рукописей. Автор статьи цитирует юношеское («совсем взрослое») стихотворение «Политические сонеты»:

> Любой из нас был с отрочества рад
> служить добру, не требуя наград,

---

[1] Егоров Б. Ф. О себе и о времени. Анкета журнала «Вопросы литературы» для литературоведов и критиков» // Егоров Б. Ф. Воспоминания-2. СПб.: Росток, 2013. С. 9.

[2] Указ. соч. С. 8.

[3] Чичибабин Б. Мои шестидесятые. Киев: Днипро, 1990. С. 12. — 278 с.

[4] Публикации Б. Ф. Егорова, выступления на конференциях с докладами, посвященными Б. Чичибабину, собраны А. П. Дмитриевым. См.: Борис Федорович Егоров: К 90-летию со дня рождения: Биобиблиографический указатель. Список научных докладов и оппонированных диссертаций. СПб.: Росток, 2016. — 144 с. Статья Б. Ф. Егорова «Борис Чичибабин и Юрий Кузнецов» была опубликована дважды. См.: Чичибабинские чтения. Сб. мат. Харьков: ТО «Эксклюзив», 2013. С. 114—159; Текст и традиция. Альманах. СПб.: Росток, 2013. С. 201—243.

[5] См.: Карась-Чичибабина Л. С. Невстреча — встреча // Острова любви БорФеда: Сборник к 90-летию Бориса Федоровича Егорова. СПб.: Росток, 2016. С. 952—955.

[6] Чичибабин Б. А. В стихах и прозе. М.: Наука, 2013 — 567 с.

[7] Егоров Б. Ф. Творческая жизнь Бориса Чичибабина. СПб.: Росток, 2016. — 192 с.

[8] Егоров Б. Ф. Раннее творчество Бориса Чичибабина // Современная русская поэзия: традиции и новаторство. Вестник Международных Крымских чтений Б. А. Чичибабина. Вып. 8. Симферополь: Крымский архив, 2012. С. 18—25. Этот материал вошел и в монографию.

жизнь отдавать сполна и не однажды
за лучший мир, в котором был бы каждый
для каждого и каждой друг и брат...[9]

В юношеских стихах Чичибабина есть «цельность мировоззрения»: советскому миру «противостоит мир чужой и враждебный, мир капиталистический»[10]. Естественно, юноша не мог быть свободным от коммунистического мифа, сталинского и ленинского мифов. «Марксистско-ленинская философия» преподавалась в вузах: периодика, радио, киноискусство, живопись способствовали «правильному» воспитанию молодежи. Коммунизма в онтологии, то есть в бытии, не было, это был эйдос (идея) в терминологии Платона. 70 лет советской власти — попытка онтологизировать эйдос.

Но христианская ценностная основа вступала в противоречие с идеологическими мифами эпохи, с практикой «построения социализма в отдельно взятой стране». Репрессии 1937—1938 годов не обошли стороной родных Егорова и Чичибабина[11]. В очерке «Судьба Фесенко» Б. Ф. Егоров пишет: «Вся суть ленинско-сталинского строя была несовместима со свободой учения и творчества, и отпущенная на некоторое время энергия народа еще со свертывания НЭПа и коллективизации все сильнее и сильнее заковывалась в тоталитарные рамки и шоры. А попутно уничтожались самые свободные, т. е. самые выдающиеся и самостоятельные люди»[12].

В этом очерке Егоров рассказывает о муже двоюродной сестры И. А. Фесенко. Не бросая работы, талантливый рабочий паренек учился на рабфаке, окончил вечернее отделение Лисичанского горного института, вступил в комсомол и в партию. Преподаватель, директор горного техникума, начальник рудоуправления — карьерные вехи украинского паренька. Именно ему поручили «организовать» рекорд угледобычи, и забойщик Алексей Стаханов такой рекорд установил. Фесенко был любимцем С. Орджоникидзе и за это поплатился головой. Нашлись нужные люди, были даны нужные для власти показания, и Фесенко расстреляли. Уже в других воспоминаниях ученый скажет: «В моем окружении царила перед Отечественной войной сплошная безотцовщина <...> моя нормальная жизнь при отце была тогда чудом; возможно, товарищи так это и воспринимали, а я, такой-сякой, не понимал, хотя ведь должно было броситься в глаза: что за странный матриархат в семьях? А где же отцы? Нет, не бросилось»[13].

Непростая история была и у Чичибабина. С отцом поэта Иваном Павловичем Авдеевым мать Наталья Николаевна Чичибабина развелась. Бориса воспитывал отчим Алексей Ефимович Полушин и был ему настоящим отцом. Террор 1937—1938 годов наших героев коснулся только косвенно. Ранний Чичибабин войдет в монографию «Творческая жизнь Бориса Чичибабина» (СПб.: Росток, 2016). Как охарактеризовать творческий метод автора монографии? Мне представляется, что он основан на личных пристрастиях, на личном видении материала. Это взгляд человека из 90-х и начала 2000-х. У поэта и ученого общая оптика.

---

[9] Указ. соч. С. 19.

[10] Там же. С. 22.

[11] См.: Егоров Б. Ф. Судьба И. А. Фесенко // Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания. Томск: Водолей, 2001. С. 268—276. См.: также: Егоров Б. Ф. Судьба И. А. Фесенко // Полифоническая культура Украины: Гуманитарная проблематика Донбасса. Луганск: Янтарь, 2007. С. 130—137.

[12] Егоров Б. Ф. Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания. Томск: Водолей, 2001. С. 268.

[13] Егоров Б. Ф. Трагическая судьба ученого, отрицавшего принцип «не высовываться» (Диодор Михайлович Сологуб) // Егоров Б. Ф. Воспоминания-2. СПб.: Росток, 2013. С. 95—96.

«В 1992 году поэт написал чрезвычайно значительное стихотворение „Я родом оттуда, где серп опирался на молот...“, концентрированно отчетное изложение своего представления о минувших за период его личного существования главных чертах советской жизни. Это один из самых контрастных чичибабинских текстов, он весь построен на антиномиях и противоречиях»[14].

Не случайно «Избранные стихотворения» в монографии и «Борис Чичибабин. В стихах и прозе» в Литературных памятниках открываются одним и тем же стихотворением «Я родом оттуда, где серп опирался на молот...». Егоров исполняет волю поэта, который поставил это стихотворение на первое место в сборнике, подготовленном им еще при жизни, «Я родом оттуда, где серп опирался на молот»[15].

Мы все «родом оттуда», мы все были пионерами и комсомольцами, строителями коммунизма. И для Егорова, как мне представляется, это стихотворение — программное у Чичибабина с точки зрения ценностей личных и внеличных, вечных.

Я родом оттуда, где серп опирался на молот,
а разум на чудо, а вождь на бездумие стай,
где старых и малых по селам выкашивал голод,
где стала евангельем «Как закалялася сталь»,

где шли на закланье, но радости не было в жертве,
где милость каралась, а лютости пелась хвала,
где цель потерялась, где низились кроткие церкви
и, рушась, немели громовые колокола.

Историческое событие (голодомор) соседствует с романом Островского «Как закалялась сталь». И для миллионов людей в СССР этот роман действительно заменил Евангелие. Новая религия — атеизм — заменил прежнюю религию, но к чему это вело?

...Где жизнь обрывалась, чудовищной верой исполняясь,
где, нежно прижавшись, прошли нищета и любовь,
где пела Орлова и Чкалов летел через полюс,
а в чертовых ямах никто не считал черепов (с. 23—24).

Чапаев, Максим, Орлова, Чкалов — наше общее достояние, наша история и наша аксиология. И голодомор, черепа в «чертовых ямах» — это тоже наша история, о которой мы узнали позже, с перестройкой и распадом СССР. Борис Чичибабин не отрекается от истории страны, в которой он вырос и жил. Уже в 90-е годы он писал в «Мыслях о главном»: «...сегодня мы все „белые“, да еще и такие, что белее и быть невозможно, поем песни о поручике Голицыне и корнете Оболенском, с умилением поминаем всех без разбора русских царей, возрождаем традиции русского дворянства и любимый герой у нас Столыпин с его идеей „великой России“, а значит, и в свои враги мы зачисляем не только Ленина с большевиками, но всех революционеров и либералов, начиная с Радищева» (с. 14).

Его ценностную позицию можно охарактеризовать как «между». Вспомним А. П. Чехова: «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, кото-

[14] Егоров Б. Ф. Творческая жизнь Бориса Чичибабина. СПб.: Росток, 2016. С. 126.

[15] См.: Чичибабин Б. В стихах и прозе. Харьков: СП «Каравелла» : Фолио, 1995. — 463 с. Здесь и далее цитаты приводятся в тексте по: Чичибабин Б. В стихах и прозе. М.: Наука, 2013, за исключением особо оговоренных случаев.

рое с большим трудом проходит истинный мудрец. Русский же человек знает одну из двух крайностей...» Речь не только о вере, речь о крайностях и о том, что им можно и должно противопоставить. Сделаю небольшое лирическое отступление. На международном фестивале поэзии на Байкале в 2015 году я разговорился с Еленой Игнатовой, выпускницей филологического факультета ЛГУ, проживавшей в Израиле (кстати, ученицей Б. Ф. Егорова). Она рассказала, что читала лекции о Российской империи офицерам НАТО. И когда сказала, что не надо демонизировать Российскую империю, что когда империя сильна, в ней порядок, нет крови, увидела на многих лицах недовольство. На следующий год ее уже не пригласили. Многие сейчас демонизируют СССР, но мое поколение тоже «вышло оттуда». И Борис Чичибабин писал: «Для нас сегодня что Сталин, что Ленин, что Маркс — во всех них мы видим виновников нашей русской беды, вряд ли это может быть правдой» (с. 15). Отдельный человек не в силах изменить историческое время, единственное, что он может ему противопоставить, — личное неучастие в его преступлениях. И Егоров, и Чичибабин, и многие другие люди шли этим путем.

Лирический герой любого поэта всегда индивидуален, неповторим, но как субъект лирического повествования он близок у Чичибабина в ценностном аспекте каждому рожденному в СССР. Был он близок и Егорову.

Еще один момент сходства наших героев — Великая Отечественная война и послевоенное время. Поэт был старше ученого на три года, был призван в армию, работал авиамехаником в военных частях на территории Азербайджана. После войны поступил на филологический факультет Харьковского университета. По словам ученого, после войны «благополучный довоенный советский пейзаж, выросший в душе поэта, стал давать большие трещины»[16]. Бориса Чичибабина посадили за стихотворение «Мать моя посадница». «Явно намекая на легендарную Марфу-посадницу, возглавившую в Древней Руси народное восстание за свободу Новгорода, поэт призывает ко всеобщему восстанию:

Паразитов сгоряча
досыта попотчуем:
бюрократ и офицер,
спекулянтка-жадница —
всех их купно на прицел,
мать моя посадница!»[17]

Еще одно лирическое отступление. В октябре 1969 года на филологическом факультете Иркутского государственного университета проходил вечер поэзии, на котором я прочитал два очень пессимистических стихотворения. В одном говорилось: «Пусть будет так, я все приемлю, / пусть будет так, я говорю, / Земля не рай и раем землю / не сделать даже октябрю». Сибирский паренек не видел яблочных садов и решил, что время сбора — это месяц октябрь. На другой день ко мне подошел однокурсник и признался, что он сексот, что представитель известной организации, бывший на вечере, попросил принести подборку моих стихов. Очевидно, и Борис Чичибабин читал свои стихи однокурсникам, и кто-то «стуканул».

В 1946 году поэт был арестован и осужден на пять лет лагерей. Срок он отбывал в Вятлаге. В «Воспоминаниях и очерках» Б. Ф. Егорова есть рассказ о листовках, которые автор писал в первое послевоенное время. «Уже закончились варвар-

[16] Егоров Б. Ф. Творческая жизнь Бориса Чичибабина. СПб.: Росток, 2016. С. 33.
[17] Указ. соч. с. 33—34.

ские высылки в азиатскую часть страны народов Кавказа, крымских татар, калмыков, начинались антисемитские кампании. Я, с детства чувствовавший себя русским, любивший и гордившийся Россией, особенно тяжело переживал тот позор: ведь получалось, что именем моего народа, руками моего народа вершатся расистские акции. Я только что (1948 год) окончил университет, мечтал о создании подпольной революционной организации и решил распространить листовки»[18]. Слава богу, что эти листовки, очевидно, не попали руки каких-нибудь ретивых сотрудников МГБ.

Общее поле у поэта и ученого — отсутствие ксенофобии. «Поэт был близок к судьбе и чаяниям евреев — его любимая была еврейка; он уже фактически входил в быт ее семьи. <...> Но ведь когда он, будучи солдатом, писал о страданиях армян Нагорного Карабаха, а позднее — об изгнании татар их Крыма, то там у него не было никаких, кроме, может быть, самых элементарных, контактов с представителями страдающих народов»[19]. Но любая тема у крупного поэта противится однозначному прочтению. И Егоров обращает внимание на «пунктирность» «еврейской темы», ее неоднозначность. Стихотворение «Еврейскому народу» он тоже включил в «Избранные стихотворения».

Ничего, что нету надо лбами нимбов, —
Всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
Не водись я с грустью золотой и горькой,

Не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
Не войди я навек частью безымянной

В русские трясины, в пажити и в реки, —
Я б хотел быть сыном матери-еврейки (с. 26).

Стихотворение было написано в 1946 году, когда еще не было гонений и не было обвинений в космополитизме.

В воспоминаниях самого Б. Ф. Егорова есть интересный эпизод тартуского периода: «...обо мне уже в Тарту шла недобрая слава как о не очень марксистском литературоведе (занимался сомнительными литературными критиками вроде Ап. Григорьева и В. Боткина), а главное, как о пригревателе евреев (при моем негласном, а потом и реальном заведовании тартуской кафедрой русской литературы пришли супруги Лотманы, Я. С. Билинкис, И. С. Правдина, почасовиком работал П. С. Рейфман)»[20].

Еще одна особенность лирики Чичибабина лагерного и послелагерного периодов, отмеченная в монографии, — мифологичность и «представление о Боге»[21]. «Кроме „матери-посадницы“ поэт в своей мифологии создал четыре обобщенных образа Матери: в раннем его творчестве находим первый („2 гимн Матери-Материи“), второй („Мать — земля родная“ в стихотворении „Лермонтов“), в 1974 году появит-

[18] Егоров Б. Ф..Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания. Томск: Водолей, 2001. С. 288.
[19] Указ. соч. С. 45.
[20] Указ. соч. С. 388.
[21] См.: Указ соч. С. 52.

ся Мать-Вечность („Судакские элегии“, 1), но они абсолютно не трагедийны. Матерь-Смерть 1967 года — самый страшный образ у Б. Ч., разверстка повествования все больше нагнетает трагедию»[22].

Еще одна общая болевая точка наших героев — Россия и Украина. В упоминавшейся анкете журнала «Вопросы литературы» был пункт: «Ваша оценка таких исторических вех, как революция, культ личности, Великая Отечественная война, „оттепель“, „перестройка“, распад СССР с точки зрения влияния на судьбу страны». Ответ: «Все эти вехи исторически обусловлены; причины, скажем, революции и тоталитаризма уходят чуть ли не в русское средневековье; конечно же, все эти вехи судьбоносны. Распад СССР — закономерное следствие всех наших предшествующих завоеваний. Трагическая судьба русских, не слившихся с местными нациями, — историческое возмездие, плата за наши завоевания. Очень жалко тысяч обездоленных, но в их судьбе больше виновата история России, чем ненависть освободившихся народов, ибо последняя — тоже плод истории»[23].

Политика — не всегда и не только идеология, в ней есть мифологическая составляющая. Термин «миф» мы берем здесь в аспекте феноменологии: есть феномен, и есть понимание, интерпретация этого явления. История России в этом смысле мифологична, история Украины тоже. Когда правители, виновные в геноциде собственного народа, становятся «героями» и им ставят памятники — это мифология. Россия и Украина связаны не только географически, но и культурно, исторически. Позиция поэта и ученого — опять «между». Борис Чичибабин писал:

У меня такой уклон:
я на юге — россиянин,
а под северным сияньем
сразу делаюсь хохлом (с. 34).

Украина не была чужой и Б. Ф. Егорову, несколько детских лет прошли на Донбассе, потом семья переехала в город Старый Оскол. У Егорова есть очерк, который называется «Степи детства и Н. В. Гоголь». «Для меня лично степь — как неотъемлемая часть души, знакомая и незабываемая: несколько раз в Донбассе ездил с отцом на телеге за деревенским медом, на запад от города Лисичанска километров за тридцать, куда-то на север Донецкой области»[24], — писал он. Родина — это прежде всего место, где ты родился, ибо самые сильные естественные наши впечатления от жизни — место и время детства. Оба наши героя родились в СССР, частью которого были и Украина, и Россия. «Когда вечером 9 декабря возбужденные дикторы телевизионной службы новостей радостно сообщили, что Советский Союз прекратил существование, мало кто осознал подлинные масштабы и трагизм происшедшего»[25], — писал современник. «Плач по утраченной Родине», пожалуй, самое сильное и самое трагедийное стихотворение поэта.

Судьбе не крикнешь: «Чур-чура,
не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.

[22] Указ. соч. С. 68.

[23] Егоров Б. Ф. Воспоминания-2. СПб.: Изд-во «Росток», 2013. С.10.

[24] Там же. С. 291.

[25] Фризман Л. Г. Ходос А. Э. Борис Чичибабин. Жизнь и поэзия. Харьков: Консум, 1999. С. 78.

Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла,

но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь. <...>

Ее просторов широта
была спиртов пьяней...
Теперь я круглый сирота —
по маме и по ней.

Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
Бог собирал в один народ,
но божий враг силен.

И чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет (с. 261—263).

И Б. Ф. Егоров и Б. Чичибабин знали, что народы разделяют правители, а культура объединяет. В стихотворении «А я живу на Украине» лирический герой, максимально близкий автору аксиологически и биографически, говорит:

У тех и тех — одни святыни,
один Христос, одна душа, —
и я живу на Украине,
двойным причастием дыша... <...>

И днем с огнем во мне гордыни
национальной не найдешь,
но я живу на Украине,
да и зароете в нее ж.

Дал Бог на ней укорениться,
все беды с родиной деля.
У русского и украинца
одна судьба, одна земля (с. 264—265).

«Чичибабину было глубоко чуждо то, что происходило и происходит в Украине. А ведь он любил ее не меньше и уж во всяком случае глубже и разумнее, чем нынешние ретивые поборники ее независимости»[26], — справедливо писал известный харьковский исследователь.

В этом же, 1992 году было написано стихотворение «Россия, будь!».

Во всю сегодняшнюю жуть,
в пустыни городские
и днем шепчу: Россия, будь —
и ночью: будь, Россия. <...>

[26] Фризман Л. Г. Ходос А. Э. Борис Чичибабин. Жизнь и поэзия. Харьков: Консум, 1999. С. 80.

В трудах отмывшись добела
и разобравшись в проке,
Россия, будь, как ты была
при Пушкине и Блоке.

Твое обличье — снег и лед,
внутри таится пламя ж.
И Сергий Радонежский ждет,
что ты с креста воспрянешь.

Земля небес, не обессудь,
что, грусти не осиля,
весь мир к тебе — Россия, будь! —
взывает: будь, Россия!

Б. Ф. Егоров писал в своей монографии: «Поэт демонстрирует трагедию народов и свою личную трагедию. <...> Изумительно, что в последнее десятилетие своей жизни Б. Ч. не только создает трагические картины судьбы своего отечества, но он еще по-христиански постоянно чувствует и свою личную вину за все беды, которые нам преподносит политическая история. Да еще соединяет вину с неизбывной любовью к родине»[27]. Эти стихотворения были написаны не с идеологических или мифологических позиций, а с позиции человека Русской Культуры, ее ценностей.

И еще одно лирическое отступление, на этот раз последнее. Разбирая на днях завалы в книжных шкафах, я наткнулся на забытый мною сборник стихов «Итака» харьковского приятеля-чеховеда Игоря Лосиевского. В нем было письмо. Игорь благодарил за отзыв на диссертацию, сообщал, что ждет еще от Б. Егорова и Ж. Нива. А в сборнике я обнаружил стихотворение с посвящением Л. С. Чичибабиной. Оно было написано на смерть Чичибабина.

О смерти есть множество врак,
что так мол и этак,
но время срывается в такт
с качнувшихся веток.
Как сердце поэта согреть? —
Укутался в брови,
осталось ему на земле —
две капельки крови... <...>

Когда же зима пропадет
и зелень нахлынет,
уже с невесомых высот
он землю окинет
мальчишеским взглядом своим,
восторженным взглядом,
единый — с дыханьем земным,
с любимою рядом.

[27] Егоров Б. Ф. Творческая жизнь Бориса Чичибабина. СПб.: Росток, 2016. С. 136—137.

И будет глазеть, как дитя,
на вешнюю птицу,
и в капле слепого дождя
душой отразится[28].

Редакторами сборника были харьковские поэты Ирина Евса и Станислав Минаков. И. Евса сейчас в Европе, а С. Минаков в Белгороде. Слава богу, что ни Б. Ф. Егоров, ни Б. Чичибабин не дожили до 24 февраля 2022 года.

И в завершение вернемся к заглавию. Б. Ф. Егоров не был академиком, хотя по объему и по качеству сделанного в науке должен был им быть. Выскажем спорное предположение. В русской культуре есть явление, корни которого — в православии. Называется оно кенозис. Суть его в том, что святой должен жить так, как учил Христос. Он должен считать себя самым грешным, это люди должны сказать, что он — святой. *Самоуничижение* в случае с Б. Ф. Егоровым и Б. Чичибабиным — метафора, ни один, ни другой не думали о себе в категориях святости.

Однако Б. Чичибабин писал в «Мыслях о главном»: «...мир в своем существовании, вся наша жизнь подчинены высшим нравственным законам, более естественным, могущественным и постоянным, чем все экономические, политические, правовые, государственные и прочие законы, придуманные человеческим своеволием» (с. 9). Долгие годы после освобождения из лагеря он писал стихи в стол, не имея возможности их опубликовать. В СП СССР он был принят только в 1966 году, в 1973 году был исключен, восстановлен в 1987 году. Долгожданное признание пришло на закате перестройки. А сколько посредственных поэтов не только являлись членами СП, но и возглавляли региональные отделения! И Б. Ф. Егоров, как мне представляется, никаких шагов к выдвижению своей кандидатуры в Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук не предпринимал. Но в памяти филологов, культурологов, историков он — АКАДЕМИК!

Рецензии

В ЖЕРНОВАХ ИСТОРИИ

Элеонора Панкратова. Мой отец Леонид Павлович Панкратов. Частная жизнь — мгновенья истории. СПб.: Гйоль, 2025

Каждый, кто возьмет в руки эту книгу, просто на физическом уровне почувствует, как вращаются эти безжалостные жернова. «Ход времен нельзя остановить», «в них живут и умирают...» Эти истины, блистательно сформулированные нашими поэтами, ощущаются весьма зримо при знакомстве с книгой, написанной дочерью героя столь трепетно и проникновенно, с любовью и благодарностью к своим родителям. Бережно сохраненный семейный архив, в котором уцелели бесценные документы эпохи, тщательно воспроизведен на ее страницах и помогает полностью погрузить читателя в атмосферу времени. И очень личное в какой-то момент начинает восприниматься и ощущаться как часть общей судьбы; ибо, как совершенно справедливо замечает автор книги, «из мгновений частной жизни и складывается ход истории».

[28] Лосиевский И. Итака. Харьков: Крок, 1997. С. 19.

Крона и корни

По мере взросления любой человек проявляет интерес к вопросу своего происхождения, хочет знать как можно больше о своих предках, о том, как складывалась их жизнь, о дорогах, которые они выбирали. Но далеко не у каждого хватает терпения и настойчивости, чтобы отыскать и кропотливо систематизировать все документы, сохраненные в недрах семейного архива, и — главное — дать им оценку с позиций сегодняшнего дня. У Элеоноры Панкратовой, переводчицы, литературоведа и прозаика, кандидата филологических наук, требуемых качеств оказалось в избытке. В результате сложилась чудесная, теплая, эмоциональная книга воспоминаний с прочной опорой на документальную основу. Мы слышим не только взволнованный, эмоциональный голос рассказчицы, но и своими глазами видим характеристики, справки, фотографии, страницы справочников, публикации, отчеты и даже... самую настоящую ревизскую сказку. Правда, она в семейном архиве не уцелела, зато удалось получить ее копию и, конечно, взглянуть на нее, известную еще с гоголевских и щедринских времен, очень любопытно. А воспроизведена она в книге, разумеется, не случайно: в ней упоминается будущий дед Э. Панкратовой по отцу, Павел, выходец из крестьян Тверской губернии, деревни Кузнецовка Старицкого района, которому к моменту составления документа исполнился ровно год от роду. Такие уникальные свидетельства придают повествованию особую достоверность, позволяют проникнуться духом истории и почувствовать себя если не участником, то хотя бы непосредственным наблюдателем описываемых событий. Особая скрупулезность, обстоятельность и тщательность, свойственные автору, помогают воскресить время и «дойти до самой сути», докопаться до глубин. «С годами человек все больше стремится к своим корням», — резонно замечает Элеонора Панкратова.

Труженики моря

Эту книгу можно не колеблясь назвать памятником благодарной дочерней любви к отцу. Леонид Павлович Панкратов был центром маленькой семейной вселенной, в которой, окруженная родительской заботой и лаской, подрастала будущая писательница. Его жизнь, как и у большинства современников, была сложной, нередко драматичной, но он сумел пройти свой путь с редким достоинством.

Л. П. Панкратов родился в 1910 году в Санкт-Петербурге и в дальнейшем был прочно связан с городом на Неве, с Балтийским флотом. Уже в тяжелые, полуголодные годы отрочества он внезапно остро почувствовал зов моря, осознал, что его предназначение — служба на корабле. Благодаря поддержке верного друга и его семьи, а еще больше — собственному трудолюбию и упорству он смог осуществить свою заветную мечту. Сначала юноша плавал юнгой на корабле, не пугаясь и не чураясь никакой черной работы, затем сумел окончить мореходное училище. Постепенно его терпение и преданность морю, закалка и дисциплина сделали свое дело: он прошел нелегкий путь от матроса второго класса до капитана корабля. Ему довелось плавать и на географических, и на рыболовецких, и на торговых судах, удалось повидать белый свет, дальние страны... Одним словом, как говорил любимый герой Александра Грина, капитан Грэй, «чудеса надо делать своими руками», и Леонид Панкратов на этом тернистом пути весьма преуспел. Однако вскоре грянула война.

Морские пахари

С наступлением врага уже опытный капитан торгового флота стал командиром боевого корабля-тральщика, а затем и целого дивизиона таких судов. Это была тя-

желая, ответственная и опасная работа. Ведь тральщик, или корабль противоминной обороны, предназначен для поиска и уничтожения морских мин и проводки судов через минные заграждения, а также обеспечения высадки морских десантов. Одним словом, на плечи моряков легла вся тяжесть настоящих будней войны. Недаром поэт Михаил Кульчицкий, тоже участник великой битвы, писал: «Война — совсем не фейерверк, а просто трудная работа...»

Осенью 1941 года Леонид Панкратов принимал участие в высадке петергофского десанта, безнадежной попытке прорвать кольцо ленинградской блокады. Для него эта операция была драматична вдвойне: ведь в родном для него городе оставались близкие люди. Множество трагедий пришлось пережить за годы войны, тяжелейшей ценой досталась победа. «Картина гибнущего судна, стоны раненых людей, палуба, обагренная кровью...» — напишет позднее в своих воспоминаниях капитан первого ранга Панкратов. Сам он был ранен, награжден восемью орденами и медалями, среди которых — орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны всех трех степеней.

А сердцу так хотелось мира...

Жестокий парадокс судьбы заключался в том, что командир флагманского корабля-тральщика совсем не был человеком войны. Напротив, он скорее миролюбив по натуре и словно создан для спокойного будничного труда. Панкратов любил море, ветер дальних странствий и привычную работу на корабле. И конечно, мечтал о счастливой, размеренной жизни в кругу семьи, с милой супругой и дорогой дочуркой. Но суровая реальность военных лет вновь и вновь отрывала его от дома, сталкивая со смертельной опасностью, не давая насладиться самым простым и желанным: покоем, уютом и любовью близких ему людей. И тогда на помощь приходили письма. Удивительно теплые и проникновенные, они полны любви, заботы, желания защитить, оградить от жестокости мира свою любимую и ребенка. Сегодня, когда культура переписки и так называемый эпистолярный стиль нами практически утрачены, они приобрели особую ценность.

Отражаются в письмах и бытовые трудности семьи капитана Панкратова, и жутковатые «будни нашей коммуналки», и опасности, которые тогда дамокловым мечом нависали над каждым советским человеком, включая доносы. И словно над всем этим — высокие духовные интересы, впечатления от просмотренного фильма, радость от прочитанной книги...

Стоит отметить, что Леонид Павлович писал много и охотно, и не только письма к любимой. Сохранились его воспоминания, дневниковые записи, заметки, опубликованные «Краснофлотской газетой». Многие из них бережно воспроизведены в книге и свидетельствуют о романтической искре и несомненных литературных способностях автора. Видимо, не случайно именно литература стала основным призванием Элеоноры Панкратовой, «папиной дочки» в самом лучшем и высоком смысле этого слова.

* * *

Расставаться с этой весьма примечательной книгой не хочется, возникает желание вновь и вновь возвращаться ко многим ее страницам. Основной ее пафос в том, что каждый из нас уникален, с одной стороны, один из многих — с другой, и в любой личной биографии и судьбе всегда отдается тяжелая поступь века. И главное, эта книга — о противоестественности войны.

Елена ПЕЧЕРСКАЯ

К 800-летию со дня кончины Франциска Ассизского

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ И РОССИЯ

Часть 2

Начало 1990-х годов было отмечено изданием в России еще одной книги западного автора, рассказывающего о монашеских орденах. Речь идет о сочинении Леонарда Хольца (ОФМ)[1] «История христианского монашества» (издательство «Святой Крест», СПб., 1993). В предисловии к русскому изданию сообщалось, что эта работа выполнена по инициативе провинциалата францисканцев и Дома Франциска в Верле, а справочную литературу предоставили учебные библиотеки Менхенгладбаха и Мюнстера. Впервые эта книга была издана в 1986 году на немецком языке в Цюрихе, а в 1993 году в Санкт-Петербурге увидело свет второе дополненное издание. В этой книге св. Франциску посвящена 18-я глава «Папа и нищий — или богатство Церкви и „евангельская нищета“»[2].

Повествуя о взаимоотношениях папы Иннокентия III (1198—1216) и св. Франциска Ассизского, Л. Хольц пишет: «Папа и нищий: встреча воплощенной власти и абсолютного безвластия, огромного богатства и принципиально добровольной нищеты. Предстоятель, хранитель богатства и могущества Церкви и нищенствующий Христа ради из Ассизи — какой исторический момент!»[3]

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии. Автор около 1000 статей и более 30 книг, в основном на тему связей РПЦ со странами Востока и Запада. Публиковался в журналах «Нева», «Байкал», «Символ» (Париж), «Русское возрождение» (Нью-Йорк—Москва—Париж), «Вокруг света», «Новый мир», «Русская мысль» (Париж), «Новая Европа» (Милан—Москва) и других. Действительный член Российского географического общества, участвовал во многих паломнических экспедициях, посетил более 100 стран мира. Лауреат премии журнала «Нева» (2003).

---

[1] Ordo Fratrum Minorum — орден францисканцев (Меньшие братья).

[2] Хольц Л. История христианского монашества. СПб., 1993. С. 117—127.

[3] Там же. С. 118.

В 1994 году в переводе на русский язык была издана книга Джордана Омэнна[4] «Христианская духовность в католической традиции» (Рим; Люблин: Издательство Святого Креста, 1994). Шестая глава этой монографии («Духовность средних веков») содержит краткий раздел «Св. Франциск и меньшие братья».

Большим подспорьем для отечественной францисканистики явилась деятельность миланского издательства «Христианская Россия». В 1990 году в этом издательстве вышло на русском языке 240-страничное сочинение «Святой Франциск Ассизский», автором которого является Мария Стикко[5].

Монография Марии Стикко о жизни св. Франциска явилась настолько исчерпывающей, что последующие издания на францисканскую тематику выглядели довольно скромно. В 1996 году журнал «Страницы» — печатный орган Библейского богословского института Св. апостола Андрея (Москва) опубликовал статью Саймона Тагуэлла «Франциск Ассизский»[6]. Саймон Тагуэлл (Simon Tagwell) — католический священник, член ордена проповедников — преподавал в Оксфорде, работал в Папском институте Св. Фомы Аквинского. Житие св. Франциска Ассизского было изложено им на основе «Фиоретти» («Цветочки» св. Франциска).

В 1997 году была переиздана книга Э. Жебара «Мистическая Италия» (Томск: Водолей, 1997). (Первое издание на русском языке увидело свет в далеком 1900 году.)

Краткое житие подвижника из Ассизи было помещено в книге Жака Бросса «Духовные учителя», вышедшей первым изданием в Париже в 1988 году, а через 10 лет появившейся и в русском переводе[7]. Глава под названием «Поверелло — Маленький нищий» состоит из четырех разделов: «Младшие братья или миноориты», «Наследие», «Учение» и «Францисканцы».

В эти годы молитвы св. Франциска (или приписываемые ему) включались в литургические сборники и в книги для домашнего чтения. Так, в «Молитвеннике для католиков латинского обряда» (Брюссель; СПб., 1994) был помещен чин Божественной литургии римского обряда[8]. Чинопоследование мессы предваряла «Молитва св. Франциска Ассизского»:

> Приобщи меня, Господи, к воле Твоей,
> К любви Твоей, к миру Твоему!
> Даруй мне заронить любовь в сердца злобствующих,
> Принести благодать прощения ненавидящим,
> Примирить враждующих...[9]

Своеобразным дополнением к «Молитвеннику для католиков латинского обряда» является книга священника Пьера Дюмулена «Чтобы лучше понять мессу» (СПб., 1999). В своем сочинении автор упоминает об особенности новогодней литургии (мессы), посвященной Марии Матери Божией, и приводит текст древнего благословения, включенного в книгу Чисел (6-я глава):

---

[4] Джордан Омэнн, О. Р., директор Института духовности Папского университета Св. Фомы Аквинского в Риме, советник Священной конгрегации по делам духовенства и катехизации, а также Священной конгрегации по делам евангелизации.

[5] Стикко Мария. Святой Франциск Ассизский. Милан, 1990.

[6] Тагуэлл С. Франциск Ассизский // Страницы. 1996. № 4. С. 128—132.

[7] Бросс Жак. Духовные учителя. СПб., 1998. С. 288—291.

[8] Молитвенник для католиков латинского обряда. Брюссель; СПб., 1994. С. 142—168.

[9] Там же. С. 140—141.

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицем
Своим и помилует тебя!
Да обратит Господь лице Свое на тебя и
Даст тебе мир!
Так пусть призывают имя Мое на сынов
Израилевых, и Я благословлю их (Числа, 6, 24—27).

Отец Пьер отмечает, что этот текст возник более чем за тысячу лет до Христа, его знали наизусть и устно передавали из поколения в поколение. Даже в переводах на наши современные языки это благословение сохраняет красоту и силу. «Оно настолько прекрасно, — пишет французский священник, — что святой Франциск, склонный к поэзии, особенно любил его повторять. Многие так и называют его — „благословение святого Франциска“. Фома де Челано и св. Бонавентура рассказывают, что Франциск записал его сразу после того, как получил стигматы, — для утешения брата Льва в день искушения»[10].

В 1996 году в Омске был издан сборник «Сокровенные молитвы»; его составитель — немецкий католический священник А.-М. Вайгль. На его страницах была помещена «Солнечная молитва св. Франциска» в переводе Э. Ю. Соловьева; вот начальные ее строки:

Святый Боже,
Святый Господи,
Ты всеединое
Божество, что
Совершает деяния чудные...[11]

Еще одна молитва (приписывается св. Франциску) была помещена в этом же сборнике под заглавием «Дай мне нести любовь!».

Боже, сделай меня орудием мира,
Чтобы нес я любовь туда, где ненависть;
Чтобы прощал я там, где вина;
И воссоединял там, где господствуют раздоры...

Далее на страницах этого сборника встречаем гимн в честь св. Франциска, принадлежащий перу папы Льва XIII[12]. Францисканская тема сборника «Сокровенные молитвы» завершается «Благословением св. Франциска»[13].

Заметным явлением в истории зарубежной и отечественной францисканистики было издание на русском языке книги Романа Брандштеттера (1906—1987) «Ассизские хроники» (Издательство Францисканцев, М., 1999). Книга выдающегося польского автора — первая, напечатанная в России. (Если учесть, что большинство созданных им произведений имеет религиозный характер, то отсутствие должного

[10] Дюмулен Пьер, свящ. Чтобы лучше понять мессу. СПб., 1999. С. 52.
[11] Сокровенные молитвы / Сост. свящ. А.-М. Вайгль. Омск, 1996. С. 14—15.
[12] Там же. С. 254—255.
[13] Там же. С. 315.

внимания к ним со стороны переводчиков в «эпоху коммунизма» представляется вполне естественным.)

Жизненный путь Брандштеттера удивительным образом пересекся с Ассизи — родиной св. Франциска. Во время Второй мировой войны он потерял почти всех своих близких, а сам был вынужден уехать в Иерусалим. Там писатель прожил несколько лет, прежде чем у него появилась возможность вернуться обратно в Польшу. Незадолго до этого произошло его обращение ко Христу. Путь на родину лежал через Рим. Потом — через Ассизи, город, чье название неразрывно связано с именем св. Франциска. «В этом городе душа человека остается наедине с небом, и, если ей удается услышать его музыку, она чувствует биение сердца Ассизи, — пишет в предисловии книги ее переводчик Игорь Баранов. — „Ассизские хроники“ можно назвать духовным паломничеством Брандштеттера в город музыки, которую он был не в силах позабыть...

Трагикомична судьба „Ассизских хроник“ после их выхода в свет. Официальные польские власти, которые отнюдь не питали к Брандштеттеру христианской любви, изъяли весь тираж книги и отправили его на склад. Впоследствии на стене в кабинете писателя висел вставленный в рамку документ от 23 января 1953 года, уведомлявший гражданина Брандштеттера в том, что по распоряжению Министерства просвещения Польской Народной Республики книга под названием „Ассизские хроники“ передана в центральное хранилище вторсырья. Спустя несколько лет после этого распоряжения книга выдержала несколько переизданий и переводов...»[14]

В книге Романа Брандштеттера повествуется о драматических эпизодах, связанных с судьбой Ассизи в годы Второй мировой войны.

> Доподлинно известно (и несомненно, это будет записано в ассизских хрониках), что баварец полковник Мюллер, практикующий католик, военный комендант Ассизи, во время немецкой оккупации оберегал благословенный город, не давал солдатне грабить дома и притеснять местных жителей. Украденное имущество он возвращал законным владельцам. Когда немцы покидали Ассизи под напором приближающихся войск союзников, саперы подложили часовую бомбу под Конвитто Национале[15]. Эту бомбу полковник Мюллер собственноручно обезвредил и отдал приказ, запрещавший отступающим немецким войскам поджигать и громить ассизские дома. Этот горячий поклонник святого Франциска утверждал, что если переживет войну, то вернется в Ассизи и поселится там навсегда. Говорят, что немецкие офицеры из мести за спасение города от разрушения застрелили полковника по дороге во Флоренцию. Иоганнес Йоргенсен в разговоре со мной высказался против этой версии о насильственной смерти Мюллера, зато полностью подтвердил сведения о поведении немецкого полковника, которому Ассизи, несомненно, обязан своим спасением. Как это могло произойти? Как будто много лет назад святой Франциск приручил волка из Губбио в маленьком баварском городке, сделав душу немца неуязвимой для яда антихриста и очистив ее от ненависти и зла для того, чтобы впоследствии она в облике полковника вермахта стала орудием высшей воли.
>
> Английские летчики, которые прибыли в Ассизи, единодушно утверждали, что они троекратно вылетали с Мальты с приказом бомбить францисканский городок и три раза над городом Фолиньо, расположенным по соседству с Ассизи, получали по рации приказ оставить в неприкосновенности столицу святого Франциска и возвращаться на базу. В последний раз бомбить Ассизи полетели

[14] Брандштеттер Роман. Ассизские хроники. М., 1999. С. 4—6.

[15] Convitto Nazionale — интернат для юношей в Ассизи, построенный в начале XX века.

пять мощных отрядов, и вновь от Фолиньо все самолеты были возвращены обратно. Ни одна бомба не упала на Ассизи[16].

Конец второго тысячелетия от Р. Х. ознаменовался выходом в свет книги Ф. Реати «Франциск учитель молитвы» (М., 2000). Отец Фьоренцо Эмилио Реати (OFM) — итальянский католический священник и францисканский монах. Он окончил Католический университет в Милане (Италия), где сформировался как философ неотомистской школы. Отец Фьоренцо преподавал философию в университетах Италии, а в конце 1990-х годов стал профессором католической семинарии «Мария Царица Апостолов» и директором Санкт-Петербургского колледжа философии, теологии и истории им. Св. Фомы Аквинского[17]. Его книга состоит из двух частей; в первой излагается житие св. Франциска, а во второй части приводятся тексты молитв святого подвижника.

Паломников, все чаще прибывавших в Ассизи из России, здесь ожидал приятный сюрприз. В 1996 году издательство «Bonechi» (Флоренция) выпустило на русском языке книгу о. Никола Джандоменико «Искусство и история Ассизи» (перевод Михаила Талалая). Прекрасное издание украшено цветными фотографиями, выполненными о. Джерардо Руфа. Св. Франциск — главный герой этой книги.

В 1997 году в издательстве «Мирт» вышла книга протестантского автора Тони Лейна «Христианские мыслители» (пер. с англ. — СПб., 1997. 352 с). Этот справочник предоставляет возможность познакомиться с биографиями свыше 100 христианских богословов и писателей, представителей западной культуры. В третьей части книги — «Средневековый Запад (500—1500 гг.)» несколько страниц уделено св. Франциску Ассизскому.

В 2000 году в московском издательстве францисканцев вышла книга Илии Леклерка «Мудрость Ассизского бедняка: [Повесть о Франциске Ассизском]». М., 2000.

Илия Леклерк (имя при рождении — Анри Леклерк) (1921—2016) — французский францисканский священник и писатель. В 1939 году он поступил во францисканское послушничество в Амьене, где выбрал себе имя брат Илия. Отправленный в Германию в сентябре 1943 года, он работал курьером. Гестапо арестовало его в июле 1944 года вместе с шестьюдесятью другими семинаристами и священниками по обвинению в антинацистской пропаганде. Он был отправлен в концлагерь Бухенвальд. В апреле 1945 года лагерь был эвакуирован в Дахау в связи с приближением союзных войск. Леклерк был освобожден после прибытия в Дахау американских войск 29 апреля 1945 года. В 1948 году Леклерк был рукоположен в священники, учился в Католическом институте Парижа. Он начал писать в конце 1950-х годов, в основном о святом Франциске Ассизском. В 1980-х годах он провел несколько лет в скиту Беллефонтен (Мэн-и-Луар), а в 1989 году перебрался к Малым сестрам бедности в Сен-Серван, где и умер 13 мая 2016 года[18].

В краткой аннотации к книге читаем: «Братство, объединившееся вокруг Франциска, в ходе своего развития склонялось к тому, чтобы принять форму существовавших ранее орденов. Франциск, видя, что его идеал может быть искажен, пережил тяжелый внутренний кризис. Книга повествует о том, как Франциск преодолел его, осознав в своих мучительных размышлениях, что „Бог существует, и этого до-

[16] Брандштеттер Роман. Указ. соч. С. 61—62.

[17] Биографические данные в: Фьоренцо Эмилио Реати. Религия как освобождающая сила в философии XX века. СПб., 2001.

[18] https://www.livelib.ru/author/2349405-brat-iliya-leklerk. Дата посещения: 01.12.24.

статочно“»[19]. К началу 2000-х годов эта книга выдержала двенадцать итальянских переизданий и столько же переводов на другие языки. В 2003 году она была переиздана на русском языке. А в 2002 году московское издательство францисканцев опубликовало книгу «Францисканская харизма» (М., 2002).

В 2000 году на русском языке была опубликована книга францисканского священника Августина Джемелли[20] «Францисканство» (М.: Духовная библиотека, 2000). В предисловии этого издания, в частности, говорилось: «Выбор этой книги для русскоязычных читателей обусловлен тем, что „Францисканство“ является классическим трудом, переведенным на английский, немецкий, французский, испанский, польский, словацкий, китайский языки, и, кроме того, тем, что отец Джемелли — человек, думающий сердцем, как и русский народ, и влюбленный в святого Франциска и его взгляд на жизнь. Цель этого перевода — познакомить русскую культуру и духовность с этим движением, занимающим особое место в католичестве»[21].

В 2003 году в Москве была издана книга Анаклето Яковелли «Святой Франциск Ассизский» (пер. с итал., Издательство францисканцев). «Книга написана в форме древних легенд, без излишних размышлений, поскольку события жизни святого Франциска говорят сами за себя, а наши размышления над ними могли бы затмить их красноречие»[22] — так охарактеризовал свою книгу Анаклето Яковелли.

В 2005 году минское издательство «Про Христо» опубликовало книгу Л. Майер-Скуманц «Франциск Ассизский и его спутники». Известная австрийская писательница Ленэ Майер-Скуманц пересказывает для детей истории из жизни святого Франциска — о его первых спутниках, о жизни братьев меньших, о святой Кларе, о любви святого Франциска к Богу и творениями, о чудесах, которые происходили благодаря его молитве.

...А в Ассизи время словно остановилось; город противится мирской суете. Незадолго до своей кончины св. Франциск благословил Ассизи прекраснейшими словами, которыми прежде еще не благословляли ни один в мире город: «Да благословит тебя Бог, о святой город. Благодаря тебе много душ будет спасено, и много слуг Божиих будут в тебе жить, и многие из твоих сынов будут избраны для жизни вечной»[23].

О стигматах св. Франциска

В житии св. Франциска говорится о его молитве перед Распятием в течение 40 дней. В 1224 году, за два года до кончины, Франциск отправился с ближайшими сподвижниками на вершину Альверно, в верховьях Арно, и стал проводить время в посте и уединенной молитве. Стремясь уподобиться Спасителю не только внутренне, но и внешним образом, подвижник из Ассизи обрел стигматы (греч. — стигма — клеймо) — пять ран, подобных ранам распятого Христа:

---

[19] https://www.livelib.ru/book/424653/editions. Дата посещения: 01.12.24.

[20] Священник Августин Джемелли (в миру — Эдуардо Джемелли; 1878—1959). В 1903 году в францисканском монастыре Реззато, в Брешии, принял постриг под именем Августина, а в сан священника рукоположен в 1908 году. Специалист в области теологии, медицины и психологии. Член ордена францисканцев, основатель Католического университета Святого Сердца в Милане и светского института миссионеров Царства Христа.

[21] Джемелли Августин. Францисканство. М.: Духовная библиотека, 2000. С. 6—7. Автор предисловия — о. Коррадо Трабукки OFM. Новосибирск, монастырь Воздвижения Святого Креста.

[22] Анаклето Яковелли. Святой Франциск Ассизский. М., 2003. С. 2. (Переиздана в 2018 году.)

[23] Брандштеттер Роман. Указ. соч. С. 60.

Принял Христа последние печати,
Он их носил два года на земле[24].

Данте, «Рай», 11-я песнь

Что касается православных авторов, писавших о стигматах св. Франциска, то их отношение к этому феномену отличается взвешенностью. На страницах православного журнала «Странник» (1882) читаем: «Св. Франциск всю жизнь мечтал о таинственных видениях и чудесах, мечтал о полном уподоблении Христу и в упоении этой сладкой мечтой доходил до того, что видел на своих руках и ногах язвы Спасителя. Этот оригинальный образ отлично воспроизведен на одной из картин Корреджо (Мадонна св. Франциска)[25] в Дрезденской картинной галерее и стал любимым предметом многих художников Запада»[26].

Вот что говорит об этом З. А. Венгерова: «Последние годы жизни Франциска ознаменовались величавшим торжеством религиозного экстаза. На теле его вследствие вечных дум о страданиях Христа, выступили стигматы ран Христа. Факт этот, объясняемый в настоящее время всякими научными данными из области самовнушения, никем не оспаривается и во всяком случае свидетельствует о глубине мистических настроений Франциска»[27].

Публицист и богослов М. А. Новоселов (1864—1928) так оценивал это «чудо при Альверно»: «Не может не поразить здесь всякого прежде всего эта удивительная сложность видения Франциска. На одно видение серафима, сошедшего внезапно для Франциска с небес, был как бы наложен силою воображения Франциска, образ распятого Иисуса Христа. Характерно и то, что Франциск в представлении об Иисусе Христе воспринимал прежде всего впечатление от земной жизни Спасителя, был поглощаем Его внешним страдальческим образом. Впечатление это на Франциска шло как бы извне, и Франциск стремился всеми силами своей души подражать Иисусу Христу. Для него Иисус Христос был внешним предметом, и исходя от образа Иисуса Христа и Его страданий, и развивалась мистика Франциска»[28].

---

[24] Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 423 («Рай», песнь 11-я, ст. 107—108).

[25] Антонио Аллегри по прозвищу Корреджо (1490—1534). Мадонна со святым Франциском (1514—1515). Эта картина была написана для францисканского монастыря миноритов в городке Корреджо, близ Пармы (Эмилия-Романья), чья церковь была посвящена святому Франциску. Слева изображены св. Франциск Ассизский со стигматами, простирающийся ниц перед восседающей на троне Мадонной с младенцем, и св. Антоний Падуанский; справа — св. Иоанн Креститель и св. Екатерина. Незадолго до 1638 года картина была конфискована Франческо I д'Эсте и доставлена в Палаццо Дукале в Модене, где она висела вместе с пятью другими Корреджио, захваченными на территории герцогства. В 1746 году обедневший Франческо III д'Эсте продал сотни самых известных работ в Галерее Эстенсе, включая шесть Корреджио, Августу III Саксонскому. Ныне находится в Дрезденской галерее.

[26] Журнал «Странник», 1882. Т. III. Отд. Иностранная церковная жизнь. С. 645.

[27] Венгерова З. А. Литературные характеристики. Кн. 1. СПб., 1897. С. 322.

[28] Новоселов М. А. Догмат и мистика в православии, католичестве и протестантстве. М., 2003. Часть II. Характерные черты из жизни и учения католических святых. Франциск Ассизский. С. 334—335.

Contents

They Were Fighting for Victory

Authors of the Neva magazine, participants of the Great Patriotic War • 3

Universe of Childhood

Anatoly Valevsky. The Time of the Severed Halves. *Novel* • 5

Prose and Poetry

Sergey Soloukh. Six More Pieces. *Poems* • 81
Vladimir Delba. Mourning in Adzubzha. Huap Off-road. *Short stories* • 84
Evgeny Stepanov. We are United. *Poems* • 100
Ekaterina Polyanskaya. Travel Notes. Comrades in Misfortune. Gloria. Raven. Smile. Protest. *Short stories* • 104
Dmitry Ivanov. An Old Friend. *Play* • 111

Non-Capital Russia

Alexander Ryzhkov. Poems • 139
Evgeny Kuznetsov. Essay. *Short story* • 145
Vladimir Kochnev. About the Black Cat. The First and the Second. *Short stories* • 148
Stanislav Goldfarb. „Somewhere in the city, above the white river...“ *Cursory notes on the Irkutsk period of Yuri Levitansky* • 156

Favorite Corners of Russia

Tatiana Tikunova. Walking Along the Spit of Vasilyevsky Island • 174

Publicistic Writings

Mikhail Kuraev. A Funny Tragedy. Witness's notes. *Afterword by A. Melikhov* • 198

Criticism and essays

On the 135th anniversary of Mikhail Bulgakov. **Pavel Ryzhkov.** „A Highly Educated Man“. *About some reminiscences in M. A. Bulgakov's novel „The Master and Margarita“* • 227

Petersburg Bookman

The Territory of Memory. *On the 100th anniversary of Boris Egorov. Anatoly Sobennikov.* The „Academician“ and the Poet (B. F. Egorov about B. Chichibabin). **Reviews.** *Elena Pecherskaya.* In the Millstones of History • 236

Pilgrim

On the 800th anniversary of the death of Francis of Assisi. **Archimandrite Augustine (Nikitin).** St. Francis of Assisi and Russia. *Part 2* • 248

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Рукописи принимаются только в электронном формате
по адресу nevaredaction@mail.ru

Сайт «Невы»: neva-journal.ru
По вопросам, связанным с интернет-сайтом, обращайтесь
по адресу web@neva-journal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежий номер журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 19.03.2025. Подписано в печать 21.04.2026.
Выход в свет 12.05.2026. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 650 экз. Свободная цена. Заказ № 22

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43

Дорогие друзья и читатели! К нашему большому сожалению, финансовое положение журнала остается сложным. Мы старались справиться своими силами, но рост стоимости печати и коммунальных расходов создал критическую ситуацию. Мы верим в наше общее дело и надеемся на ваше участие. От всей души благодарим за любую помощь!

Реквизиты для банковского перевода:
Наименование — название организации: ООО «Журнал «Нева»
ИНН: 7810328498
КПП: 784101001
Расчетный счет: 40702 810 6 5500 0029700
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корсчет: 30101 810 5 0000 0000653
В графе «Назначение платежа»
важно написать «финансовая помощь»

Еще проще помочь нам переводом по QR-коду

Благодарим вас, дорогие друзья!

Журнал «Нева» выходит с периодичностью
1 раз в месяц и распространяется по подписке

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ
осуществляет **АО «Почта России»,** индекс П1743

Объединенный каталог «Пресса России», индекс 73276

Агентство подписки «Урал-Пресс», индекс 73276

Интернет — neva-journal.ru

ISSN 0130-741X
14006
9 770130 741005 >